опустошитель

[иверсния курутьлы]

#22
хронос

Журнал «Опустошитель»
#22. Хронос
Москва, июль 2017
256 страниц

Главный редактор Вадим Климов

Древнегреческий философ закрепощает время, подстраивает его под филистерский образец, пользуясь бесконечной математической делимостью. Перешагнуть через дурную бесконечность Зенона есть первый шаг на пути к настоящим событиям, настоящей жизни и настоящему времени.

Вместе с Опустошителем #22. Хронос мы покидаем пределы внутренней бесконечности, словно склеп с давно забытыми покойниками, причем забытыми вполне заслуженно. Сальвадор Дали, Витольд Гомбрович, Бертран Рассел, Эдуард Лимонов, Юлиус Эвола, Жан Парвулеско, Миша Вербицкий и прочие крупицы в сломанных песочных часах напомнят вам об упущенных возможностях. Чтобы вы больше не забывали о них никогда.

В оформлении обложки использованы работы Otto Rapp и Federica Erra.

ISSN 2219-5424

Опустошитель, 2017
http://pustoshit.com

журнал
Опустошитель

#22. Хронос

Николай Болошнев
Миша Вербицкий
Кнут Гамсун
Витольд Гомбрович
Максим Горюнов
Сальвадор Дали
Александр Дугин
Валерий Кислов
Вадим Климов
Алексей Лапшин
Эдуард Лимонов
Фариза Муртазалиева
Алекс Но
Жан Парвулеско
Нестор Пилявский
Екатерина Писарева
Егорий Простоспичкин
Адам Ранджелович
Бертран Рассел
Жюли Реше
В.Ч.
Юлиус Эвола

Москва
Июль 2017

За пределы внутренней бесконечности

We are time
from Moses to Muhammad,
from Kapital to NATO,
Acropolis to Opus Dei,
from Marx and back to Plato…
— Laibach -

Время обычно представляют невосполнимым ресурсом, не поддающимся (или почти не поддающимся) влиянию со стороны субъекта. Каким бы могуществом ни обладал человек, он всегда в распоряжении времени. Оно — над ним, а не наоборот.

В этой интерпретации время хоть и всевластно, но слишком тривиально: оно линейно, однонаправлено и равномерно. Жизнь в нем предстает прогулкой к эшафоту. Вас ведут по прямой дорожке, вы уже видите место казни и можете приблизительно оценить, когда она случится. Ваша экзистенция умещается в наборе событий, что произойдут с вами на этой дорожке к эшафоту.

Школьные учителя математики настаивают на том, чтобы во время решения задачи ученики сначала брались за

простые подзадачи и только после — за сложные. Так пытаются бороться с забывчивостью.

Что же из этого выходит? Формализм оценок и хитрые способы под него подстроиться приводят к тому, что вчерашние школьники растрачивают свои жизни на нескончаемый поток мелких проблем, так и не добираясь до чего-то значимого.

Только в школьной математике достаточно разбить задачу на несколько подзадач, одолеть их — сначала простые, затем сложные — и тем самым получить общее решение. Но жизнь не сводится к учебнику по элементарной алгебре. Она будет швырять в вас мелкими камушками, и вы, как прилежный школяр, станете разбираться с каждым из них, пропуская нечто гораздо более значимое, но незаметное в тумане пустяков.

Выигрывая в малом, филистер всегда проигрывает в крупном. Чтобы выйти из хмари повседневности, придется забыть школьные уроки с их ориентацией на постепенность — от малого к большому. Малое никогда не исчерпается, если вы готовы уделять ему время.

Именно об этом апория Зенона про Ахиллеса и черепаху. Безжалостно дробя пространство, Ахиллес увязает в его внутренней бесконечности и понимает, что никогда не догонит черепаху.

Таков путь малых задач, укорачивающихся шагов.

Но ведь можно, оттолкнувшись от черепашьего панциря, легко перепрыгнуть ее, не обращая внимания на нескончаемую вереницу все уменьшающихся дистанций, что отделяет ее от вас. Забыть про них и сделать всего один шаг, но настоящий.

Древнегреческий философ закрепощает время, подстраивает его под филистерский образец, пользуясь бесконечной математической делимостью. Перешагнуть через дурную бесконечность Зенона есть первый шаг на пути к настоящим событиям, настоящей жизни и настоящему времени.

Вместе с Опустошителем #22. Хронос мы покидаем пределы внутренней бесконечности, словно склеп с давно забытыми покойниками, причем забытыми вполне заслуженно. Сальвадор Дали, Витольд Гомбрович, Бертран Рассел, Эдуард Лимонов, Юлиус Эвола, Жан Парвулеско, Миша Вербицкий и прочие крупицы в сломанных песочных часах напомнят вам об упущенных возможностях. Чтобы вы больше не забывали о них никогда.

микро

Екатерина Писарева
Мы — теряющие настоящее[1]

Мы постареем тогда, когда нам нечего будет носить в сердце и мыслях. А пока мы молоды и живы — поразительно молоды и одновременно поразительно стары. Мы — новое поколение людей, впитавших, заключивших в собственном «Я», прошлое и будущее.

Мы — с каждым вдохом теряющие настоящее.

Мы разучились дышать — легкие постоянно пусты. Мы разучились любить, только потреблять — во главе угла комфорт и безболезненность. Мало что удивляет, люди, как и время, проходят сквозь пальцы. Следующий, следующий, следующий — это конвейер, в котором ни у кого нет имен, только порядковый номер. Этот — первый, та — двадцать пятая. Редко происходит возгорание — всем хочется любить, но так, чтобы не обжигаться. Страшно потерять контроль, продемонстрировать слабость. Внутри нас — постоянная боязнь ошибиться, сделать что-то не так, заслужить презрение окружающих… Всем хочется казаться умнее и значимее, сильнее и хладнокровнее, но за всем этим — разъедающая пустота.

Мы оставляем за бортом своей жизни самых искренних людей, надеясь на то, что они не утонут. Плывем к эфемерным горизонтам, чтобы заблудиться. Намечаем вектор движения, которому не следуем. Говорим о том, что в спонтанностях — сила и жизнь. Но спонтанность = незнание. Мы постоянно утверждаем, что мы — лучшие, уникальные, неповторимые; мы кичимся деньгами, образованиями и достижениями, а ночами рыдаем от того, что болеем бесчувствием.

Мужья уходят от нас, чтобы загореться в чужих объятиях. Мы уходим от них, чтобы снова почувствовать себя заманчивыми и желанными. Наши дети становятся лекарст-

[1] Первая публикация на сайте журнала «Сноб» (www.snob.ru).

вом от невозвращений. Посторонние завидуют нашим совместным фотографиям в соцсетях — мы же так счастливы напоказ. И неважно, что улыбки на фото — всего лишь игра, и засыпаем мы, отвернувшись в разные стороны. Мы живем по отложному сценарию, но почему нужно всегда откладывать счастье на потом? Мы верим, что «все будет, все впереди, все наладится».

Мы такие красивые — загорелые, выхолощенные, идеальные. Снимаем друг друга, не пытаясь понять, что же внутри, мы дарим взаимно тела, чтобы согреться. Мы не интересуемся, когда раним кого-то словами, отбираем чью-то надежду. Мы такие молодые, и нам простительно. Простительно заблуждаться.

Мы читаем умные книги и смотрим модные фильмы, сидим на форумах, до хрипоты отстаивая заимствованное, но кажущееся собственным мнение, встречаемся со случайными людьми, чтобы понять себя. Но зачем смотреть по сторонам, если нужно — вглубь? Нам очень сложно поверить в себя, но мы верим другим.

Есть ли у нас еще запал, чтобы загореться? Можем ли мы изменить правила игры? И что же убивает людей — безоглядная вера или ее отсутствие?

Валерий Кислов и Вадим Климов
Эпистолярные приключения запятой[2]

В.К.: «Да, пошел ты на этот самый, чтобы тебе или тебя это самое, но не куда-нибудь, а именно туда» — первая запятая лишняя же?

В.К.: Да. Совершенно верно. Первая запятая лишняя.

В.К.: Текст без нее выйдет в июльском «Опустошителе», тема которого еще не определена.

В.К.: Прекрасно! Вырезанную запятую можно будет вставить в следующий номер…

В.К.: А что если заполнить ею пробелы в готовящемся номере?

В.К.: Хорошая идея, но запятая ведь одна, и ее хватит только на один пробел…

В.К.: Ну, на клавиатуре она ведь тоже всего одна, а оказывается в стольких местах.

[2] Выдержки из переписки относительно текста В.Ч. «Мухо¨бы», опубликованном в этом же номере на странице 228.

проза

Алекс Но
New model

— Вот, очередной образец на доработку, — сказал Посетитель, криво улыбнувшись. Я почему-то не сомневался в том, что скоро снова его увижу, и не ошибся: он вернулся. Сегодня.

И его появление ничем не отличалось от прошлого раза. И от позапрошлого. И от предыдущего. И от всех остальных.

Посетитель стоял в темном прямоугольнике дверного проема неподвижно; тот же потертый кожаный плащ, ручной работы ботинки, дорогие часы. Лицо, несмотря на чрезмерную жесткость черт, почему-то казалось бесполым; колючие глаза человека, привыкшего держать круговую оборону, мочка уха некогда было порвана.

На руках он держал безжизненное тело мальчика: обнаженное, иссиня-белое от смерти, оно контрастно выделялось на фоне черной одежды. Краем глаза я заметил легкую ссадину на узкой ступне, запрокинутую голову, свесившиеся далеко вниз длинные волосы, недавно еще покачивавшиеся в такт шагам Посетителя.

По опыту я знал, что это тело почти невесомо, что оно безупречно, подобно сложному механизму, одновременно являющемуся и произведением искусства.

Я отошел в сторону и Посетитель знакомым движением положил тело на металлический стол; затем облокотился о ближайшую стену и, приняв расслабленную позу, с удовольствием закурил; его красивые руки с остро отточенными ногтями и элегантная матовая зажигалка почему-то вызвали у меня прилив отвращения.

Я знал, что вскрытие не покажет ничего нового: следы насилия, ссадины, ушибы и крайнюю степень истощения.

— Вы должны заполнить соответствующие бланки; дать письменные ответы на все предложенные вопросы. Процедура вам знакома.

Я усадил Посетителя за стол в соседней комнате и оставил наедине с бумагами.

Мне казалось, что я чувствую его ненависть через взгляд, которым он смотрит на стену, отделяющую прозекторскую от приемной, в которой доктор оставил меня. Он сейчас там, рядом с мертвым телом.

Может быть, стоило сказать, что у меня нет ручки, что я просто ничего не хочу писать.

Я знаю, он смотрит на стену. Сквозь нее — на меня. Взгляд не может преодолеть препятствие, но ненависти это под силу: она упирается мне в спину, подобно металлическому прессу, которым меня хотят раздавить. Уверен, что врач сейчас с тоской смотрит на мертвеца, одевая резиновые перчатки, привычным жестом включая лампы, — он думает, что я мог бы завернуть тело во что-нибудь: в шелковую простынь, легкое покрывало, старое пальто — во что-нибудь, а не нести вот так, с улицы по всем коридорам и кабинетам.

Я думаю. Ничего не пишу.

В один из прошлых моих визитов, ничем не отличающихся от этого, доктор спросил, понимаю ли я, от чего они умирают. Я сказал, что ведь все равно они не настоящие, почти не отличающиеся друг от друга игрушки, — возвращаясь обратно, я даже не вижу разницы после обмена; если бы не осмотр дома, незнание что и где лежит, я бы считал, что вообще ничего не случилось — просто очередной обман чувств, расстройство памяти, сердечное затмение. Медик невесело улыбнулся и, неприязненно глядя на меня, спросил, удалось ли мне найти хоть одну искусственную деталь, хотя бы одно отличие от настоящего человека. Не задумываясь, я ответил, что, по-моему, они слишком милы и влюбчивы, чтобы быть настоящими. Слишком.

Понимаю ли я, от чего они умирают…

Я делаю все, что необходимо; в конце концов, они и сами в состоянии позаботиться о себе: у меня нет замка на холодильнике и решеток на окнах. Но доктор перебил меня, сказав, что не стоит паясничать, ведь я прекрасно понимаю, что речь идет не об этом. Их надо кормить, но по-другому, ведь влюбляются и привязываются они по-настоящему и их нужно подпитывать, как это назвал врач кормить взаимностью; недостаточно просто спать с ними — нужно улыбаться

в ответ, хотя бы иногда; ласкать; говорить, как они нужны и любимы. Врать. Иначе они просто умирают.

Услышав это, я решил, что сходство с людьми и правда очень большое…

Иногда одиночество становится невыносимым, нет сил оставаться дома, мысли растрепаны настолько, что придумать маршрут побега я не в состоянии — остается только сидеть на месте и бессмысленно переставлять предметы, глядя в окно, просто впадая в прострацию. Ничего особенного — просто в доме очередной труп.

«Господи», — думаю я, глядя на заостряющийся профиль, касаясь пальцами синяков и шрамов. Я отношу тело в ванную, погружаю в теплую, ароматную воду — ему нравилась пена с запахом тропических фруктов — убираю его волосы, чтобы не намокли, пока вода остывает, расцвечивая мертвую кожу световыми полосами, я изучаю — глазами, руками, чем-то неназываемым, мучительным — хрупкие ключицы, тонкую шею, темные линии бровей; если бы не закрытые глаза, твое лицо напоминало бы посмертную египетскую маску; едва заметный золотистый оттенок твоего тела стремительно выветривается, как запах палой листвы при первых заморозках. Я обхожу большую медную ванну с заметной прозеленью на узорчатых ножках, капли воды на полу, медленно перебираю свисающие вниз волосы — на концах они собираются в крутые волны; я нахожу контрастные седые нити, медленно распрямляю их в ладонях, рассматриваю; хочется спрятать лицо, не знаю, как это сказать, в тебе — и плакать.

Каждый раз, когда ты исчезал из поля моего зрения, отсутствовал под тем или иным предлогом, клянусь, я думал только о тебе; я закрывал глаза и мне казалось, что я улавливаю твой запах, витающий в подвижных слоях воздуха, на поверхности тканей, на кончиках пальцев — очень тонкий, нежный: молодая кожа, ветер в волосах и немного дыма, потому что ты часто куришь; и еще нечто совершенно неопределенное — чистая одежда или легкий парфюм, может быть нечто еще, не поддающийся разложению на компоненты косметический аромат. Я произношу про себя твое имя — не губами, одними мыслями. Когда ты войдешь, я скажу, как безупречны твои шрамы, как совершенны твои бедра и синие вены на руках; я задыхаюсь от изгиба твоей поясницы, твой несчастливый рот лишает меня сна…

Голые деревья в окне. Я чувствую, как дрожат мои ноги, как пульсирует кровь в висках — если попытаюсь встать — непременно упаду — ты виновник этого. Какие мысли владеют тобой — мысли о ком? Я знаю, как ты думаешь, но я не знаю, что ты думаешь.

Когда ты приходишь, я не могу ответить на твою улыбку, слова рассыпаются подобно горящей бумаге, я каменею. Я не знаю, чего ты ждешь, а время стремительно уходит от меня. Я барахтаюсь в собственном молчании, зная, что разговаривая остаюсь нем. Я не вижу выхода.

Ты продолжаешь ждать.

Когда вода в ванной совсем остывает, я несу тебя в спальню, вытираю каждый сантиметр твоего тела и ложусь рядом.

— Я хотел бы кормить тебя из рук темным виноградом и спелыми грушами, подобно существу из книги мифологических животных; подводить глаза и целовать хрупкие колени, — шепчу я, засыпая, в твое мертвое ухо.

Утром я должен буду отдать тебя, положить на металлический стол далеко отсюда; сейчас твоя неподвижность пугает меня, я все еще не верю, что ты не можешь читать внутри моей головы, не знаешь этих слов, разрывающих мое сердце, дрейфующих во мне, как летающие города.

Я обнимаю тебя и пытаюсь заснуть.

Доктор возвращается и оценивающе смотрит на меня. Теряя терпение, демонстративно складываю листы и бросаю их в мусорную корзину, — все равно я не заполнил бланки до конца.
Так дальше продолжаться не может.

Спрашиваю, что происходит с телами. Доктор не отвечает.

Для него я — большая бессмысленная вещь, занимающая слишком много места, наполненная изнутри чем-то холодным и вязким, похожим на Смерть. Наконец, он спрашивает, что я намерен делать — на самом деле он хочет знать, потребую ли я очередного обмена или исчезну из его владений навсегда, избавив нас обоих от всех, сопряженных с нашими встречами тягостных процедур. Долго молчу, отчетливо понимая, что никому ничего не смогу объяснить: мне не по силам рассказать черную наготу деревьев за моими окнами, унылое, бессмысленное небо, похожее на рисунок на мокрой бумаге, острую, почти непереносимую боль, которую я проживаю мгновение за мгновением, упорно толкая себя

сквозь плотное время в молчании, замкнутый в коконе бесполезных слов, внутри которого — тишина и терзающий меня призрак твоего запаха, витающий где-то на самой границе ощущений, отсутствие которого заставляет меня задыхаться.

Мы спускаемся в подвал — доктор говорит, что я должен осмотреть единственный, имеющийся в наличии экземпляр; даже чувствуя подвох, я согласен на все — мысль об одиноком возвращении вселяет в меня ужас. Замки и запоры, толстая железная дверь, монолитные стены без окон, болезненный зеленоватый свет — комната-сейф, совершенно пустая, если не считать ее обитателя. Он сидит, поджав ноги, прямо на полу, играет петушьим пером — я не мог не узнать эти шрамы и то, как привычно рассыпаются волосы по бледным плечам — хочется прикоснуться, вдохнуть их запах, прижавшись лицом к хрупкой шее, на которой бьется синяя вена, но твои странные механические движения настораживают меня, расфокусированный взгляд на знакомом лице заставляет похолодеть: я чувствую, как воздух превращается в воду внутри моих легких и замерзает в альвеолах красивыми ледяными кристаллами, я не могу понять, куда ты смотришь, невольно разглядываю грубый рубец, идущий вдоль твоего позвоночника, делающий тебя похожим на гибкую, антропоморфную ящерицу. На мгновение я представил, как ты потягиваешься, а потом сворачиваешься клубком, засыпая на гигантском, нагретом солнцем камне.

Я слежу за тем, с какой осторожностью доктор снимает с тебя ошейник, крепящийся к стене длинной тонкой цепью; кажется, что ты ничего не замечаешь…

— Это настоящий? — полувопросительно произнес я, рассматривая существо и пытаясь угадать его истинную природу.

Доктор не ответил и неожиданно грубо толкнул тебя ко мне.

Я снял пальто, осторожно завернул тебя в него и понес наружу.

24.04.05

Николай Болошнев
Жатва

«В едином горне за единый раз
Жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз,
А из тебя, сожжённый Мной народ,
Я ныне новый выплавляю род!»

М.А. Волошин «Благословенье»

Иван развернулся под водой и оттолкнулся ногами от бортика. Распрямившееся тело резко рассекло воду, он сделал несколько гребков и выплыл на середину бассейна. Легкие жадно вдохнули пропитанный хлоркой воздух. Проникавшие сквозь огромные окна лучи августовского солнца отражались от поверхности воды, заставляя ее блестеть словно слюду. Иван продолжил грести и вскоре доплыл до конца дорожки. Вынырнув, он оперся о бортик и поднял на лоб плавательные очки. Хотелось отдышаться.

Разлетавшиеся от воды блики преломлялись и переливались в каплях на его руках и плечах. Иван смотрел на них отстраненно, словно руки были вовсе не его, а он был лишь наблюдателем, и видел их на экране в замедленной съемке. Звуков почти не было — сквозь беруши проникал только тихий плеск воды, и шепчущий голос тренера, обучавшего детей в дальнем конце бассейна.

Неожиданно перед глазами Ивана возникла пара стройных девичьих ног. Он поднял взгляд и осмотрел их обладательницу: нависая над ним, стояла и готовилась к прыжку юная девушка. Стройное, до худобы, тело, красивое, почти детское лицо. Длинные темные волосы убраны в хвост, закрытый черный купальник облепил затвердевшую от воды и холода небольшую грудь. Серые глаза сосредоточенно вглядывались вдаль дорожки.

«Студентка, — подумал Иван, — возможно даже школьница, старшеклассница».

Девушка сжалась, оттолкнулась от бортика и, распрямившись в прыжке, бесшумно вошла в воду. Иван надел очки и поплыл вслед за ней. Девушка плыла грациозно, ныряя

и выгибая спину под водой, как будто в полете. Волосы повторяли ее движения черной волной. Иван плыл за ней словно зачарованный. Ему казалось, что в движениях девушки сквозила какая-то неуловимая скромность. Она будто бы стеснялась собственной красоты, старалась скрыть ее. Ивану хотелось наблюдать за ней вечно, однако, проплыв всего несколько бассейнов, девушка остановилась, легко вытолкнула себя из воды на бортик и ушла в раздевалку. Иван проводил ее взглядом.

Казалось, что-то ушло вместе с ней. Плавать больше не хотелось. От досады Иван набрал в легкие побольше воздуха и нырнул на дно бассейна. Вдруг откуда-то сверху раздался приглушенный вой сирены. Через несколько секунд звук повторился, и Иван вынырнул на поверхность, чтобы понять, не послышался ли он ему.

Сирена взвыла в третий раз, теперь гораздо громче, почти сразу же после того, как голова Ивана показалась над водой. Затем динамик издал скрипящий звук и затих. Иван увидел, как немногочисленные посетители стали спешно выбираться из бассейна. Доплыв до конца дорожки, он последовал их примеру и прошел в раздевалку. Его наполняло приятное волнение: «Только бы это был *тот самый* сигнал, а не обычная авиатревога!».

Наскоро приняв душ и одевшись среди десятка других встревоженных и молчаливых мужчин, Иван вышел на улицу. Жаркий московский день мгновенно обволок его, лег пылью на мокрые волосы. Улица была полна спешащих куда-то людей. Кто-то из них улыбался, кто-то, наоборот, был нахмурен. Люди торопливо шагали к метро, проносились мимо автомобили. Заполняя пространство шумом своих лопастей, в небе летали вертолеты. Где-то вдалеке со стороны центра слышался странный повторяющийся сигнал, напоминавший призывную трель пионерского горна. Иван прислушался: ошибки быть не могло: это именно то, чего он так долго ждал! Он улыбнулся, устало и счастливо, поправил на плече рюкзак со спортивной формой и пошел на звук.

Пройдя мимо обугленных руин мечети, Иван вскоре дошел до замершего в пробке Садового Кольца. Многие водители бросали машины и чуть ли не бегом устремлялись к ближайшей станции подземки. Теперь горн звучал ближе.

Происходящее не удивляло Ивана, он ожидал, что в один прекрасный день все будет именно так. Проходя мимо гудящих клаксонами автомобилей, он вспоминал новости, которые смотрел за завтраком. Впрочем, в них не было ничего

нового. Дикторша в темно-сером костюме отрепетированным строгим голосом рассказывала о ситуации на фронтах. Хороших вестей было мало. Уже третью неделю полыхали восточные рубежи, и пылающая, пульсирующая линия фронта прогибалась все дальше вглубь территории страны, туда, где вокруг лишь тайга и болота. В отчаянной попытке защитить родные берега тонули корабли и подлодки, и вместе с ними гордо встречали на мостиках свою смерть не желающие покидать свои суда капитаны. Стремительными кометами сгорали в воздухе боевые самолеты, плавились от жара битвы и навсегда останавливали свой ход мощные танки и коренастые БТРы. Не лучше была ситуация и на западе, где рубежи страны попирало многоязыкое войско Европы. С юга волна за волной внахлест шли под зелеными знаменами варварские орды. Спокойный до поры север также застыл в тревожном ожидании удара.

Неделю назад в семью Ивана пришла похоронка — в долине под слепящим кавказским солнцем, шальная пуля остановила жизнь его младшего брата. Он был одним из многих. Скупые официальные письма, извещающие о смерти родных и близких, тысячами разлетались по стране, принося горе и во дворцы, и в деревенские избы. Самого Ивана не призвали — он был инженером на оборонном заводе. Сегодня был его первый выходной за месяц.

Иван продолжал двигаться в сторону центра. Пройдя насквозь Цветной бульвар, он пересек Трубную площадь и теперь шел по Неглинной мимо обезлюдевших магазинов и ресторанов. Кое-где в окнах еще мелькали скучающие лица продавцов и официантов, другие же заведения были закрыты и заколочены.

Иван дошел до конца улицы, пересек Театральный проезд и, пройдя мимо «Принцессы Грезы», направился к Красной Площади. Людей вокруг становилось все больше, и вскоре Иван уже шел в плотной толпе. Лица окружающих были преисполнены какого-то светлого ожидания. В то же время никто ни с кем не заговаривал, все шагали молча, и лишь приближающийся звук сирены нарушал многолюдную тишину.

В плотном потоке Иван обогнул здание бывшей городской думы и через Воскресенские ворота протиснулся на Красную площадь. Здесь толпа немного рассеялась, но ненадолго — с флангов в нее вливались все новые и новые люди, идущие с Никольской и со стороны Александровского сада. Площадь, насколько хватало взгляда, была заполнена муж-

скими и женскими головами: лысыми и кучерявыми, светлыми и темными, рыжими и седыми. Люди стекались к Собору Василия Блаженного. У многих в руках были букеты, кто-то напевал себе под нос что-то веселое, счастливые дети восседали на плечах у отцов. Со стороны набережной навстречу толпе также двигалась стена радостных лиц. Рюкзак на спине цеплялся за шедших рядом людей и мешал идти, Иван снял его и бросил на землю. Толпа, тем временем, продвигалась все медленнее и, сомкнувшись со встречным людским потоком в районе Лобного места, остановилась.

За спинами не было видно, что происходит впереди. Иван встал на цыпочки, подпрыгнул — все тщетно. Он оглядеался по сторонам: кругом сплошной стеной стояли люди, и пройти вперед ближе к центру толпы не представлялось возможным. Вдруг взгляд Ивана остановился на лице девушки, которая стояла чуть в стороне и тоже пыталась разглядеть, что происходит. Маленькое, стройное тело в темно-синем летнем платье, влажные черные волосы — ошибки быть не могло, это была незнакомка из бассейна! Повинуясь внезапному порыву, Иван устремился к ней через толпу.

Площадь была заполнена настолько плотно, что ему пришлось буквально протискиваться между людьми. Казалось, прошла вечность, пока он преодолел те десять-пятнадцать метров, что отделяли его от девушки. Наконец он продрался через толпу и оказался рядом с ней. Незнакомка заметила его и, после секундного замешательства, улыбнулась — она тоже его узнала. Иван внезапно понял, что пока пробирался к девушке через толпу совсем не подумал о том, что ему нужно будет что-то ей сказать. К тому же ее улыбка была такой простой и искренней… Не придумав ничего лучше, он растерянно улыбнулся в ответ. Девушка рассмеялась. Она вдруг сделала полшага вперед и протянула ему руку. «Аня», — сказала она, Иван также представился. Держась за руки, они молча стояли и смотрели друг на друга. В возникшей паузе не было тяжести и напряжения, только легкость и ощущение близкого счастья.

Неожиданно, словно по какому-то скрытому сигналу, площадь пришла в движение. Люди сдвигались в сторону, и вскоре в толпе образовался коридор от Спасской Башни до Лобного места. Все взгляды были теперь направлены в сторону Кремля. На несколько секунд на площади воцарилась тишина. Такая, что стали слышны крики чаек у реки. Невидимый горн, созвавший людей на площадь, в последний раз протяжно прозвучал над толпой и, отразившись от кремлев-

ских стен, замолк где-то в Замоскворечье. Раздался густой срежет дверного механизма и Спасские ворота стали медленно раскрываться. Иван обнял Аню за плечо, она прижалась к нему. Ворота издали последний лязг и застыли. В тишине послышался звук чеканных шагов. В воротах, под иконой Спасителя, показалась тень, затем силуэт. Мгновение, еще одно, и во всем своем величии и блеске перед толпой предстал Царь. Трехметровый, широкоплечий, в расшитых золотом светлых одеждах, он словно заполнил собой все пространство ворот. Лицо Царя было укрыто белоснежной бородой, из-под густых бровей сверкали сапфиры глаз. На украшенном рубинами поясе его был пристегнут огромный меч в драгоценных ножнах. Правой рукой Царь сжимал золотой посох увенчанный крупным алмазом.

Царь обвел окружившую его толпу отеческим взором, и все стоявшие на площади склонили головы. Оглашая площадь своей поступью, он медленно прошел к Лобному месту, остановился и развернулся лицом к Кремлю. Толпа тем временем замкнулась, и площадь вновь оказалась полностью заполненной людьми. Лишь небольшой пятачок возле Лобного места, где стоял Царь, оставался свободным.

Он вновь оглядел замершую в ожидании толпу. Тысячи глаз смотрели на него со всех концов площади, восхищенные и одновременно боящиеся поймать его взгляд. На лице Царя появилась едва заметная под бородой улыбка. Неожиданно он поднял драгоценный посох и с кажущейся легкостью опустил его на землю. Брусчатка под посохом разлетелась осколками, словно стекло. Площадь заходила, завибрировала под ногами. Кто-то вскрикнул от неожиданности. Аня крепче прижалась к Ивану. Плиты Лобного места потрескались, затем вспучились, сквозь щели показалось что-то красное. Из недр площади на поверхность выползал рубиновый конус. Он излучал матовый красный свет и пульсировал, словно огромное сердце. Сравнявшись с верхушкой ограды Лобного места, конус остановился. Царь поднялся по ступеням и провел по нему своей огромной ладонью.

— Хотите ли вы, что бы свершилось Предназначение? — спросил Царь, и голос его был подобен грому.

— Да! Хотим! Конечно! — нестройно ответила толпа.

— Я спрашиваю, готовы ли вы свершить то, что предначертано?! — слова Царя чугунным звоном заполнили площадь. Поднялся сильный ветер, возникшие ниоткуда тучи закрыли солнце. Сделалось вдруг темно, как в сумерках.

-Да!! — взревела площадь.

Царь улыбнулся уголками глаз.

— Кто хочет исполнить всеобщую волю?

Воздух над площадью проткнули тысячи рук. Люди кричали наперебой.

— Дети, подойдите ко мне.

С десяток мальчиков и девочек, стоявших ближе всех к Лобному месту, устремились к Царю и через мгновение окружили его. Здесь были и подростки, и совсем маленькие дети лет восьми-десяти. Царь ласково погладил каждого из них по голове и жестом предложил подняться по ступеням к красному конусу. Дети послушно взобрались на Лобное место. В тишине было слышно, как под их ногами хрустели осколки плит, звенели накиданные туристами монеты. Равномерно окружив конус, дети взялись за руки, сковав его живой цепью. Пульсирующий свет конуса окрасил красным их счастливые лица. Царь повернулся к детям.

— Нажимайте, — сказал он еле слышно.

Разжав цепь, дети положили правые руки на конус и одновременно надавили на него. Он перестал мерцать и загорелся алым. Медленно конус стал вновь опускаться под землю, пока полностью не скрылся в недрах Лобного места. Теперь лишь исходящий из провала еле заметный красный свет напоминал о его существовании.

Толпа замерла в ожидании. Казалось, люди боялись сделать лишний вздох. Прошла минута, две, три — ничего не происходило. Кто-то тихо кашлянул, кто-то пробормотал другому короткую булькающую фразу. Постепенно площадь наполнилась шорохами, шепотом и обрывками слов. Иван почувствовал, как вдруг задрожала от нервного напряжения Аня. Он оглядел толпу — на лицах людей застыло выражение растерянности и отчаянья. Дети на Лобном месте уже не радовались своему везению, а крутили головами и искали встревоженными взглядами в толпе своих родителей. Те махали им руками, стараясь привлечь внимание. Лишь один Царь стоял невозмутим.

Вдруг Иван почувствовал под ногами легкий толчок. Буквально через секунду за ним последовал второй, куда более сильный. Он вывернул из земли утрамбованную миллионами ног брусчатку и со звоном осыпал витрины ГУМа. Часть людей попадала на землю. Аня так сильно вцепилась в Ивана, что он едва удержался на ногах. От третьего толчка затрещали кремлевские стены, с грохотом обвалились гранитные блоки мавзолея. Сорванная яростным ветром, упала и разбилась вдребезги рубиновая звезда Спасской Башни. Небо ок-

расилось в багряно-красный свет. В быстро увеличивающихся темных кучевых облаках, словно лисьи хвосты мелькали оранжевые всполохи огня. Иван и Аня упали на землю и лежали, прижавшись друг к другу, посреди толпы.

Царь стоял посреди площади и хохотал. Его смех, громкий и звучный, заглушал вой закрутившихся над площадью порывов ветра. Иван подумал, что никогда не слышал ничего великолепнее этого смеха, он был словно звон хрустальных колокольцев, словно забытая мелодия из детства.... Нет, лучше. Ни одно сравнение не было ему под стать — прекраснее всего на свете был этот смех.

Внезапно, откуда-то из-под земли раздался гул. Сначала едва различимый, он стремительно нарастал и вскоре стал оглушительным. Площадь вся зашаталась, заходила из стороны в сторону, вздыбилась, и, издав глухой звук, похожий на вздох, вдруг треснула и разломилась пополам. Стоявшие рядом люди десятками падали в образовавшийся провал, бесшумно раскрывая рты, словно выброшенные на берег рыбы — гул заглушал их крики.

Все вокруг трескалось, распадалось на части. Огромный город рассыпался и превращался в груду камней и щебня. Сползали в реку и тонули вместе с жителями прибрежные дома, словно карточные домики складывались бетонные многоэтажки, ушел под землю конфетно-купольный Покровский собор…

А потом был свет. Ослепляющий, сжигающий волосы, испепеляющий кожу. И все бывшие на площади склонились перед этим светом, не в силах поднять взгляда. Лишь Царь продолжал стоять посреди умирающего города, повернувшись лицом к разгорающемуся небу. Золотые одежды Царя плавились и сияющим потоком стекали к его ногам, сверкал на золотом посохе алмаз. Меж тем, Царь оставался невредим, и все так же стоял неподвижно, окруженный пламенем, и плечи его содрогались от беззвучного смеха.

Люди на площади, постепенно теряли форму. Плавясь словно воск, проливали растаявшую свою кожу на раскаленную брусчатку. Иван почувствовал, как лопнули от жара и, выкипая, потекли по тлеющим щекам его глаза. Боли не было. Как не было ее ни у одного из тех, кто живым факелом горел сейчас на площади. Все что чувствовал Иван, это безудержный восторг. Посреди испепеляющего зноя его бил озноб предвкушения — как если бы он стоял на пороге двери в неизведанное, такое, чему еще даже не придумали человеческого имени, и уже занес ногу, чтобы сделать этот последний

и одновременно самый первый шаг. Наверное, что-то подобное испытывали конкистадоры, ступая после месяцев изнурительных странствий на чужеродные земли, которых нет на картах, или советские конструкторы, наблюдающие первый старт своей ракеты. Невероятное чувство, что больше никогда ничто не будет так, как прежде.

Иван с трудом поднял безглазое, обугленное лицо к свету. Он не мог видеть, но знал, что все люди на площади поступили также. В небе, завывая, словно метель, носились огненные вихри. Иван нащупал рядом с собой Аню. По ее прерывистому горячему дыханию он понял, что она еще жива. Из последних сил он приблизил к себе ее лицо и поцеловал. Их обожженные губы сомкнулись и сплавились в одно целое. На долю секунды Иван почувствовал, как их накрывает огненная волна, и тут все кончилось.

На миг.

Спустя мгновение мир вдруг заходил ходуном, завертелся, скрутился в спираль и взорвался миллионом красок. Ярко красные пласты теснили темно-синие, как на картинах Франца Марка. Желтое смешивалось с зеленым, черное с рыжим. Все это крутилось, прыгало, раздувалось до невероятных размеров и тут же сжималось в микроскопическую точку. В жаре испепеляющего света, в свистопляске форм и цветов, рождалось что-то абсолютно новое, невиданное доселе. Иван чувствовал, как его тело распадалось на атомы и сливалось с Аниным телом и другими телами вокруг в единое целое, некую массу, которая словно тесто бродила и раздувалась, норовя поглотить все вокруг и сорвать крышку с каменной кастрюли площади. Он вдруг явственно ощутил, что весь мир — огромный котел супа, сваренный Богом, а он лишь крупица соли в щепоти, брошенной в этот котел рукой праотца. И вся его жизнь, которой он так дорожил, над которой так трясся все эти годы — лишь мгновение, которое соль летит до бурлящей воды.

Иван будто отделился от тела и поднялся над площадью. Несмотря на то, что у него больше не было глаз, его взору предстали картины происходящего за много сотен и тысяч километров от Кремля. Он увидел, как где-то на далеком бескрайнем золотом поле маленький мальчик прищурился и, зажав пальцами солнце, раздавил его словно жука. И как тут же из земли огненным грибом выросло второе солнце, в десятки раз большее, и охватило поле пожаром. Как где-то в горах отломилась и устремилась в бездну огромная скала, спеша вместе с тысячами тонн снега и льда накрыть собою

долину и распластавшийся в ней город. Как всплыли со вспучившегося дна затонувшие на черноморском рейде корабли, и как орел на колонне накрыл их своими бронзовыми крылами. Как покачнулся и упал в Днепр Святой Владимир. Как исчезали, сметаемые огненной волной, древние города. Как, моля о быстрой гибели, горели заживо в своих роскошных бетонных бункерах-пещерах бывшие хозяева жизни и властители человеческих судеб. Как реки обратились в кровь. Как прошли по полям бесчисленные темные орды. Как ангел, сотканный из огня, собрал огромным мечом кровавую жатву…

Все новые и новые образы возникали перед взором Ивана, сплетаясь в бесконечную пляску смерти. Однако он не испытывал страха, наоборот, все что осталось от его естества было заполнено абсолютным счастьем. Иван чувствовал, что наконец все стало именно так, как должно было быть. Что его жизнь, которую он мог потратить на суету и никчемные развлечения, послужила великому делу и помогла осуществить Предназначение.

От тела Ивана уже ничего не осталось. Сгорели люди и животные, истлели леса, высохли моря. В остатках умирающего под огненным саваном мира летал лишь раскаленный прах. И в этом прахе Иван вдруг узрел знакомый образ. Аня все еще была в его объятиях, их губы не разорвали поцелуя. Их бесплотные естества навеки слились воедино и закружились над площадью в стремительном танце под аккомпанемент огненного вихря. Все вокруг было заполнено танцующими парами, семьями, женщинами, мужчинами, детьми.

Хаотичный, этот танец постепенно обретал порядок. Разрозненные группы соединялись в причудливые фигуры, то сливаясь воедино, то на мгновение вновь разъединяясь. Ивана и Аню засосало в большую группу танцующих, и он почувствовал, как их невесомые естества начали крепнуть, вновь обретать форму. Только теперь это уже не была форма их тел, они становились частью чего-то большего. Это новое естество стремительно увеличивалось в размерах и вскоре стало всеобъемлющим. На свете не осталось ничего, что не было бы его частью. Перебродив и раздувшись, оно вдруг стало твердеть и обретать форму. Сгоревшие тела соединялись в плоскости, формируя грани, последние танцующие естества вливались в общий рой, и вскоре над раскаленным добела миром воссиял огромный кристалл. В его центре, нетронутый огнем, стоял Царь и сжимал в руке посох. На миг он застыл, озирая свое творение, и было слышно, как поют

внутри алмаза огненные ветры. Пауза эта длилась лишь мгновение — занеся посох высоко над головой, Царь ударил им по грани кристалла. Тончайший звон прорезал воздух, и не сдерживаемые более ничем, вырвались наружу вихри пламени.

И был взрыв.

И времени больше не было.

Вадим Климов
Помечтай со мной

В этих переходах от одного душевного состояния к другому замечаются промежуточные ступени, настолько незаметные, что ненаблюдательному человеку кажется, будто сон и безумие наступают внезапно.

Николай Вавулин «Безумие, его смысл и ценность»

Краткое содержание

0. Краткое содержание
а. Прикосновение ночи
б. Философствующие черви
в. Еще немного о червях
г. Пятьдесят негритянок
д. Рандеву с пушкинологом
е. Объятья
ж. Покойник покойника
з. Перед пробуждением
и. Анонимное множество
к. Punctum caecum
л. Привет из подсознания
м. Между мраком и рассветом

а. Прикосновение ночи

Я встретился с ним в коридоре, пробираясь на кухню. В кромешной темноте я только услышал чье-то шипение. Сам не осознавая что делаю, выбросил ногу вперед и попал во что-то твердое. Костяшки пальцев шлепнули кота по пасти с неприятным чавкающим звуком. Я услышал, как он заме-

тался, а потом прошмыгнул мимо меня. Я же включил наконец свет на кухне и зашел внутрь.

Какая отвратительная сцена… Я присел на табуретку. Пальцы на ногах еще ощущали столкновение с кошачьей мордой. Я ведь довольно сильно его ударил. Еще и с таким противным хлюпаньем. А вдруг я выбил ему зубы, этому нелепому животному, которое вот уже месяц не может меня запомнить и перестать шипеть, как только увидит?..

Я попытался вспомнить, что мне было нужно на кухне. Как будто и ничего. Зачем же я пришел? Неужели ради этого нелепого ночного столкновения?.. Дичь какая!.. Ну правда… А может быть, так и есть?.. Я пришел ради прикосновение к глупой кошачьей морде?

Всего-то…

Утром я узнал, что с котом все в порядке. Я видел, как он жует свой завтрак полным набором зубов. Более того, кот даже позволил мне пройти мимо, как будто перестав остерегаться. Раньше в таких ситуациях он шипел и уносился, переворачивая миски.

Но мы уже сближались не один раз. Кот крутился рядом со мной, давал себя погладить и даже норовил сам пристроиться так, чтобы моя рука как бы сама ложилась ему на спину. Признаться, подобная манера поведения меня раздражала, но это было лучше дикого, ничем не обоснованного ужаса, с которым кот шарахался от меня спустя несколько дней.

Столь резкие перемены в кошачьем настроении оставались для меня загадкой. Как и судьба его зубов, два из которых я все-таки совсем скоро обнаружил…

б. Философствующие черви

В тот день мы встретились с Нестором. Он ждал меня на улице: в метро гуляют сквозняки, а он еще не до конца выздоровел.

Нестору хотелось кофе, и мы сразу приступили к поискам подходящего места. Первые две кофейни были забракованы Нестором, даже не входя внутрь. В третью мы зашли, но когда узнали, что у них самообслуживание, мой спутник сразу направился к выходу.

Уже на улице он объяснил свое решение так:

— В кафе вас должны обслуживать, иначе все это теряет смысл.

Нельзя сказать, что я согласился с его безапелляционностью, но спорить не стал, и буквально через пару минут мы нашли подходящее заведение. Официант положил на столик два меню и отошел. Мы с Нестором раскрыли их и уставились друг на друга.

— Чем меньше спишь, тем острее чувствуешь реальность, — неожиданно изрек я.

Нестор кивнул.

— Когда я болею, я практически не сплю, — подхватил он. — Хотя, я, можно сказать, всегда болею. Быть полностью здоровым для поэта и мыслителя… просто невозможно, форменный скандал.

Я улыбнулся. Нестор остроумен, с ним приятно беседовать о чем угодно.

— Мышление и фантазия болезненны, — продолжил я. — Они словно горячечный бред, в который так приятно погружаться и так сложно из него выползать. Поэты и мыслители — инвалиды с рождения, которые только выглядят обыкновенными людьми, причем исключительно для настоящих обыкновенных людей. Все остальные видят их хроническую болезненность насквозь.

— Вот именно, — согласился собеседник.

К столику вернулся официант, который сразу обнаружил свою осведомленность нашим разговором.

— Важно не утратить трудоспособность при этой инвалидности, — заметил он. — Вы готовы сделать заказ?

С горем пополам мы нашли в меню кофейную страничку. Пока Нестор уточнял, что имеется в виду под разными экзотическими названиями, я наблюдал за официантом. Высокий молодой человек хрупкого сложения, производящий скорее негативное, нежели нейтральное впечатление. По всей видимости, студент. Словом, ничего особенного… Но как ловко он вклинился в нашу беседу.

Я продолжил, когда официант отправился выполнять заказ.

— А ведь болезненность всего лишь сопровождает мышление. Она возникает из неуверенности в уже полученном знании, но может иметь совсем иную природу. Сколько молодых людей вроде этого юноши, не способные ни на фантазию, ни на мысль, испытывают неуверенность при столкновении с реальностью. Вероятно, им кажется, что это роднит их с творцами, но их болезнь бесконечно далека от тревоги творца. Это сумасшествие без Сальвадора Дали, поэтическое истощение без таланта.

Официант вернулся с подносом. Поставил перед нами две чашки кофе, сахарницу и блюдце с нехитрыми сладостями. Напоследок одарил меня порцией легкой неприязни, настолько обворожительной, что я усомнился, не поторопился ли с выводами на его счет. Один лишь интерес к нашей беседе выдавал в нем человека ищущего. Впрочем, поиски это еще далеко не всё.

— Конечно, это огромная проблема, — сказал Нестор, — болезнь имитирует болезнь, в то время как их ни в коем случае нельзя смешивать. Чезаре Ламброзо находил много общего между гениальностью и помешательством, но мы-то с вами говорим о гениальности и заурядности, а это совсем другая дилемма. Вообще, мне здесь уже надоело. Может быть, уйдем?

Стоило нам выбраться на улицу, как пошел дождь. Не такой сильный, чтобы прятаться или куда-то бежать, но все же… прогулку пришлось отложить и мы направились обратно к метро.

— А помните, как Жюли определяла философа? — спросил Нестор.

Жюли это наша общая подруга, к которой мы привязались, словно вершины равностороннего треугольника. Перешагивая через мое молчание, Нестор продолжил:

— Она обозначила философа мыслящим существом, от которого жизнь постоянно отрывает тот или иной фрагмент. Философ страдает всегда, просто его боль вызвана не конкретным событием, но общим расхождением с миром. Он корежится от боли, перенося свои переживания в область размышлений.

В памяти неожиданно всплыл тот разговор. Была уже ночь, и мы катались втроем на детской карусели, играя в *умное дуракаваляние*. Кто-то, Нестор или я, сравнил философа с дождевым червем. Его можно разрезать на десять кусочков и получить десять извивающихся философов.

— Помню-помню, — оживился я. — Дождевые черви.

Нестор рассмеялся. А вместе с ним рассмеялся и я. Потому что тротуар перед нами кишел выползшими не пойми откуда червями. Они ждали, когда их начнут давить и кромсать, то есть, в сущности, делать из них философов.

— Черви выползли к людям, чтобы те вложили в них мудрость, — подытожил мой спутник и скользнул в раскрывшуюся пасть метрополитена.

Я остался снаружи, потому что собирался пройтись еще.

в. Еще немного о червях

Но остаться в одиночестве не получилось. Буквально в следующую минуту после расставания с Нестором ко мне подошел юноша, в котором я узнал недавнего официанта. Он неловко улыбался, с каким-то застенчивым вызовом.

Минут пять мы прошли, не обменявшись ни единой фразой. Затем он заговорил. Вначале полезла какая-то невнятная чепуха о том, зачем он устроился официантом. Юноша стыдился, считал свое занятие недостойным, одновременно отстаивая свой выбор, абстрактное право на ошибку.

В его туманные рассуждения совсем не хотелось вникать. А чего же мне хотелось?..

Внезапно Юноша переменил тему. Невероятно: он подслушивал нас не только в кофейне, но и на улице.

— Не я один, оказывается, думаю о дождевых червях, — признался он. — О том, что их заставляет выползать на верную гибель.

— Удивительно натыкаться на родственные души? — ехидно спросил я.

— Кому — червям?

— И червям в том числе. — Представьте, что вам взбрела в голову идея выскочить на оживленную магистраль, и внезапно вы обнаруживаете, что вашему примеру последовали остальные прохожие. Каково?

Официант шмыгнул носом.

— Взбредает же такое в голову… — И после недолгого молчания. — Обычно я стараюсь не наступить на червей. От меня им не перепадет мудрости.

— Кому-то приходится довольствоваться милосердием.

— По-вашему, там, где есть милосердие, нет философии?

— Для философии нужны страдания, — сказал я, — а если вас их милосердно лишают, откуда взяться философии.

— Но милосердие приходит не сразу, — парировал официант. — Его может вызвать вид уже истерзанных мудростью тел.

— Может, конечно, — согласился я. — Однако вы перешагиваете через целых или уже офилософленных червей?

— Через всяких, я не присматриваюсь. Но вы правы. Теперь буду выискивать целых и здоровых червей, чтобы сделать из них философов. Правда… — Юноша помедлил. — Червям это может не понравиться.

— Им придется выбирать между любовью к жизни и любовью к мудрости.

— В том-то и дело, что пока они не офилософленны… — начал было мой спутник, но я оборвал его намеренным враньем.

— Вот мой дом. Я отправляюсь спать. Спокойной ночи. Надеюсь, во сне ни я, ни вы не увидим философствующих червей.

— Спокойной ночи, — пожелал мне юноша и протянул руку, словно для пожатия.

Но в ней была салфетка. А внутри… Я развернул желтые лепестки бумаги и обнаружил внутри два белоснежных продолговатых камушка.

— Что это? — удивился я.

— Мой подарок, — конфузливо признался юноша.

— Подарок… Какие-то необычные камушки?

— Это кошачьи зубы… — сказал он. — Вы оставили их в чашках, вы и ваш приятель, каждый по зубу. Я отмыл их от кофейной гущи и решил вернуть. Они снова ваши.

После этого официант оставил меня одного. Точнее, с двумя кошачьими зубами и желтой салфеткой, в которую они так удобно заворачивались.

г. Пятьдесят негритянок

Когда я убеждал официанта, что мы рядом с моим домом, я совсем не догадывался где мы. И только после его ухода я вдруг узнал это место. Как-то совершенно незаметно мы оказались у дома Жюли.

Стоило прийти озарению, как я заметил и саму Жюли, направлявшуюся в мою сторону. Какая череда совпадений!.. Времени оставалось только убрать салфетку с кошачьими зубами в карман, и вот Жюли уже сталкивается со мной… Буквально врезается, едва не сбивая с ног!..

…Девушка поднимает глаза, встречается с моими. Вот так встреча, мелькает на ее лице, но уже в следующее мгновение оно снова бесстрастно. Как будто Жюли только этого и ждала.

— Вадим, — говорит она. Я слегка ей улыбаюсь. — Как я рада, что это именно вы. Сколько мы не виделись? Неделю? Две? Ладно, это не имеет никакого значения…

Мы уже куда-то идем. Жюли придерживает меня за локоть, чтобы я не угодил под машину.

— Только что со мной произошел удивительный случай, — продолжает она. — Давно такого не случалось. Я выходила из дома и наткнулась в закутке между двумя дверьми, вход-

ной и общей с соседями, на голубя. Прямо как у Зюскинда. Птица наблюдала, как я закрываю свою дверь. А я долго не могла вставить замок в ключ, вернее, наоборот. Когда я наконец закрыла дверь и направилась к следующей, голубь заметался, безуспешно пытаясь взлететь. В какой-то момент ему удалось протиснуться между прутьями решетки, и он опустился на пролет ниже. Я вызвала лифт, обернулась… Окно было открыто на пролет выше. А голубь — наоборот — ниже. Мне представилось, как я ловлю его, чтобы выпустить на улицу. Просто ужас! Нет, я не стала гоняться за голубем. Да и лифт уже подошел. Глупая птица снова пялилась на меня. Знаете, у них такой бессмысленный взгляд, меня от него тошнит. Я юркнула в лифт и сразу столкнулась с вами. Так здорово, что я даже подумала, не вас ли, Вадим, принес мне этот кошмарный голубь.

Рассказ Жюли, словно вихрь, проносится перед глазами. Мне как будто все это знакомо: и нерасторопный голубь, и замочная скважина, в которую никак не попадает ключ, и окно, открытое не на том этаже. Я сам переживаю это вместо подруги. Сплошное дежавю, в придачу переползшее с другого человека.

А мы все идем и идем, я даже не представляю куда.

— Куда мы направляемся?

Жюли мне подмигивает.

— Куда захотим, — отвечает она. — Весь мир в нашем распоряжении.

Нам так нравится строить из себя философов, но еще больше валять дурака. «Умное дуракаваляние» — так окрестил наши встречи Нестор, с которым мы совсем недавно обсуждали дождевых червей.

Но ведь у меня есть и более серьезная тема для разговора!.. Опять какие-то голуби, летающие по подъезду в поисках раскрытых дверей… Я машинально сую руку в карман и натыкаюсь на сверток. Достаю какую-то салфетку, разворачиваю. Ах да! Этот идиотский анекдот с кошачьими зубами… он совсем вылетел у меня из головы.

— Что это?

— Зубы моего кота. Я их нечаянно ему выбил, а официант из кофейни, куда мы сегодня заходили с Нестором, нашел и вернул мне.

— Очаровательно!

Девушка берет один зуб, чтобы лучше рассмотреть. Только сейчас мне приходит в голову, а не шутка ли все это? Официант мог запросто меня разыграть, возможно, даже в

сговоре с Нестором. Только вот зачем? Значит, самое главное еще впереди. А тут и Жюли сбивает меня с ног. Ведь это официант привел меня к ее дому, воспользовавшись неразберихой.

— А вы не думали, что это совсем не то, чем кажется? — спрашивает подруга.

Вопрос пролетает мимо, минуя сознание. Я слышу, но не реагирую. Не догадываюсь, кто говорит и кому. Жюли приходится повторить.

— А ты не думал, что это совсем не то… чем кажется?

Я с удивлением смотрю на нее.

— Что ты имеешь в виду?

Она подносит зуб к моим глазам.

— Что ты видишь?

— Кошачий зуб, — уверенно отвечаю я и наконец понимаю, что здесь не так. О том, что это именно кошачий зуб, мне сообщил официант. Но разве сам я знаю, как выглядят кошачьи зубы? Я с трудом представляю себе человечьи, а уж зубы других млекопитающих мне и вовсе неизвестны. Я ими никогда не интересовался.

Жюли улыбается. Она как будто читает мои мысли и уже торжествует. Мне делается неприятно, неудобно, что я такой простофиля, причем перед всеми сразу: Жюли, официантом, Нестором, котом и даже фальшивыми зубами.

— Давай наконец остановимся и присядем, — прошу я. — Мне нужно кое о чем с тобой поговорить.

Девушка пожимает плечами.

— Но мы и так говорим. Мы ведь всегда беседуем на ходу, если не сидим в кафе.

Она права. Не знаю, почему, но я испытываю острую потребность присесть. То, о чем я хочу сейчас сообщить, нуждается в размеренности.

К счастью, девушка не упирается, и мы находим скамейку.

Садимся.

Я молча гляжу перед собой. Жюли ждет, тоже молча. В ней вдруг появляется деликатность. Она что-то почувствовала. Нечто, отдающее серьезностью, так не свойственной нашим прогулкам.

Проблема в том, что я не знаю с чего начать. Просто не представляю…

— Хочется влюбиться сразу в пятьдесят негритянок, — вдруг выпаливаю я и чувствую, что краснею.

Снова молчание. Необходимо сказать что-то еще, дополнить — пока ведь совсем ничего непонятно. Я лихорадочно пытаюсь выстроить следующую фразу, но внезапно слышу голос Жюли. Она спрашивает:

— Вы расстались?

Я не сразу понимаю, о чем речь. Казалось бы, только об этом я и должен сейчас думать, но…

— Да, — говорю я, кивая головой.

Жюли кладет свою руку на мою и осторожно сжимает. Мы конечно многое себе позволяем в нашем «умном дуракавалянии», это совсем пустяк, но сейчас все по-другому. Не могу подобрать нужных выражений… Все совсем иначе.

А нужно продолжать — сообщить подробности. Жюли знакома с моей супругой лишь по моим лаконичным рассказам. Не рассказам даже — неряшливым миниатюрам. Ни Жюли, ни Нестора моя жена нисколько не интересует. Да и сейчас…

И все-таки я начинаю… Первые предложения даются трудно, а потом меня словно прорывает, и я уже стремительно перескакиваю с одного на другое, приближаясь к главному — расставанию.

Я заканчиваю. Жюли, которая все так же сжимает мою руку (может быть, поэтому мне далось признание так легко?), замечает, что я ни разу не назвал «ее» по имени, пользовался одними заменителями.

— Как же ее зовут? — настаивает подруга, но сама запутывается. — Звали… — Опять не то. — Зовут!

Я молчу. Но не из-за того, что не хочу отвечать, а потому что вопрос ставит меня в тупик. Оказывается, я и сам этого не помню… Кажется, Варя… Да, Варя Мячек.

— Варя, — говорю я.

— Варя, — повторяет Жюли, и ее пальцы слегка разжимаются.

д. Рандеву с пушкинологом

Прежде чем вернуться в кофейню, официант решает заглянуть в маленький книжный магазинчик. Почему бы и нет, в самом деле. Причем ему почти по пути.

Юноша сворачивает в арку и словно попадает в другой мир. Крохотный внутренний дворик с задними выходами респектабельных заведений. Сюда выходит персонал поболтать в сигаретных клубах, снуют рабочие, беспрестанно что-то ремонтирующие. Мощные вентиляторы наполняют про-

странство шумом и сотней запахов еды. Перемешавшись, они вызывают головокружение. С непривычки можно упасть в обморок.

В еще более необычное место можно попасть, пройдя через дворик и спустившись в подвальное помещение. Там — крохотная книжная лавка с вывеской на картонке. Сюда официант и направляется.

Он пересекает двор, спускается по ступенькам, дверь открыта, и в магазине не работает свет. Все происходит практически в кромешной тьме. Включив фонарик, продавщица занимается бухгалтерией.

Кроме нее, в лавке только солидный, предпенсионного возраста, мужчина. Он сидит на чемодане и спрашивает официанта:

— Как вы считаете, Пушкина убили на дуэли? Да или нет?

История с дуэлью интересует юношу исключительно как литературный миф, что происходило на самом деле, ему безразлично.

— Вот-вот, — соглашается мужчина. — Вы и не можете знать исторической правды. Дантес не убивал Пушкина на дуэли, потому что не было никой дуэли. Николай I строго-настрого запретил Пушкину участвовать в фатальной схватке. Поэт вынужден был дать слово императору и сдержал его. Затем Дантес вернулся во Францию, а вместе с ним поехал и Пушкин. Он вел там разгульную жизнь, от которой в конце концов умер. А Дантес еще долго колобродил, окочурился лишь под занавес XIX века. Я все это описываю в своем исследовании «Тайная парижская жизнь Пушкина». Но дается работа с огромным трудом: нужен доступ к секретным архивам, вся информация там. Как вы думаете, кто-нибудь захочет опубликовать мое исследование отдельной книгой? Страниц 60-80 уже набирается.

Официант не совсем понимает, что здесь происходит. Почему нет света? Почему продавщица не замечает их? Кто этот странный человек на чемодане, рассказывающий про Пушкина? Юноша ведь пришел сюда посмотреть книги, возможно, что-то купить…

Но несмотря на все вопросы он ощущает себя раскованно. Вальяжно сунув руку в карман, прислонившись спиной к книжному стеллажу, официант рассказывает пушкинологу, что тот слегка опоздал.

— Несколько лет назад с безумным апломбом отмечался юбилей Пушкина. Я тогда заканчивал школу, и мне подари-

ли томик его стихов, поэтому даже я знаю этого великого поэта. Однако в Петербурге нашлась горстка мерзавцев, которая в пику пушкинистской истерии стала издавать журнал «Дантес» с критикой трагически погибшего гения. Вот им бы, наверно, подошло ваше исследование. Как вы сказали? «Тайная парижская жизнь Пушкина»? Жаль только, что все это осталось в прошлом.

Пушкинолог записывает в блокнот название журнала.

— Обязательно найду его, — говорит он. — «Дантес»… Неплохо придумано. Для дальнейшей работы мне необходимы любые материалы…

Мужчина тяжело поднимается, открывает чемодан и начинает копаться внутри. Официант пугается, что сейчас его вовлекут во что-то более обстоятельное, от чего не отделаешься парой фраз. Не дожидаясь, когда пушкинолог поднимется с четвереньек, хотя бы высунет голову из чемодана, юноша объявляет, что ему пора и спешно выскакивает из лавки.

В звенящем всеми съедобными запахами дворике официант глядит на часы. Бог мой! Он давно опаздывает. Среди этого пыльного книжного безумия время течет совсем иначе. Нужно скорее бежать в кофейню, пока его не уволили.

А как же безумный пушкинолог? Возможно, в чемодане он ищет номера «Дантеса». Так вот, он их уже почти нашел.

е. Объятья

— Один приятель рассказал мне забавную историю, произошедшую с ним в доме отдыха, — говорю я Жюли. — Вечером он переборщил с алкоголем и уснул вдребезги пьяный. А проснулся в кабинке туалета, причем абсолютно голый. Вначале приятель не мог понять где он. Затем, выяснив это, недоумевал, как оказался здесь без одежды. Он вышел из кабинки, выглянул в коридор. Удостоверившись, что никого нет (к счастью, все еще спали), короткими перебежками, прячась в углублениях дверей номеров, пробрался к лестнице. Поднимаясь на этаж выше, приятель нашел на ступеньках свои трусы. Быстро надел их и, слегка успокоившись, вернулся в свой номер.

Жюли смешно. Заметно, с каким усилием она пытается сохранить серьезный вид.

— Не буду вдаваться в объяснения, как получилось, что трусы остались на лестнице, а приятель уснул прямо в кабинке туалета, сейчас это не имеет значения. Важно, что

после разрыва с Варей я ощущаю себя именно так — проснувшимся абсолютно обнаженным и непонятно где. Вам знакомо это чувство?

Взгляд девушки съезжает в сторону, теряя меня из виду: Жюли вспоминает. Ее память срабатывает почти мгновенно, быстрее любого компьютера.

— Знакомо, — уверенно говорит подруга. — Я тоже расставалась с близким человеком. Я представляю, о чем вы говорите и что вы чувствуете. И мне приятно, что сейчас я вместе с вами, что вам хочется говорить обо всем этом со мной.

Моя рука высвобождается из руки Жюли, поворачивается. Теперь наши кисти повернуты ладонями, чем они незамедлительно пользуются, прижавшись и скрепившись пальцами. Какое еще дуракаваляние?..

Дальнейшее выходит само собой. Я не говорю, а шепчу на ухо девушке. Не ожидал, что посвящу кого-нибудь в такие интимные подробности.

— В какой-то момент мое состояние вроде начало нормализовываться. День ото дня становилось все лучше. Я надеялся, что меня наконец отпускает, временами это буквально окрыляло, я чувствовал эйфорию. И тут вдруг, словно удар в солнечное сплетение, причем со стороны, откуда я совсем его не ожидал. Оглушительный привет из подсознания. Мне снится сон, в котором я встречаюсь с Варей. Мы снова вместе, но уже после разрыва. В сновидческом мире нам обоим известно, что мы расстались, но парадоксальным образом снова вдвоем и нам почти хорошо. Я проснулся успокоенный, ощущая, что нечто крайне болезненное наконец исчезло. Минут пять лежал в кровати, смакуя блаженство, пока не вспомнил, что все совсем не так. Какое разочарование!.. Меня снова накрыло… Словно палкой ткнули в прозрачный ручей и разворотили тину со дна. Рану опять расковыряли, приходится начинать все сначала.

Жюли всматривается в мое лицо… Или это я всматриваюсь в нее?.. Она едва заметно улыбается, кончики губ подрагивают, а из левого глаза выползает слезинка, которая медленно стекает по щеке с моим отраженным недоумением. Я перестаю понимать кто где в нашем вглядывании друг в друга. Из кого выпадает слеза, а кто всего лишь улыбается подрагивающей улыбкой…

— Я так хочу, чтобы у вас все было в порядке, — после долгого молчания шепчет Жюли. — Только вот помочь я вам ничем не могу. Таким, как вы, нельзя помогать: они должны

пережить все свалившееся на голову, это пища для их мыслей и фантазий. Главное, не упасть замертво и продолжать писать. Вы пишете сейчас?

— Пишу… — отвечаю я, пожимая плечами. — Что еще остается?.. Разумеется, я стараюсь фиксировать все яркие переживания. И нынешнее в том числе. Причем… знаете, Жюли, — я молниеносно оживляюсь, забывая драматичный контекст, — После записи события оно остается в памяти в том виде, в котором его записали, а не так, как происходило в реальности. Я могу по своему произволу деформировать переживание в художественное повествование, подменив слепок реальности. Воображение живее застывшей действительности, особенно если удается ухватить его на бумаге.

Жюли улыбается. И я улыбаюсь вместе с ней.

ж. Покойник покойника

Нестор прогуливается по бульвару, не подозревая, что мы с Жюли движемся ему навстречу. Нестор замечает афишу кинотеатра. На ней фильм Вячеслава Криштофовича с интригующим названием «Приятель покойника». Вот бы сходить, думает Нестор. Но идти одному ему не хочется. Мало ли что может произойти в зале, когда выключат свет. Еще и на такой картине.

Нестор проходит мимо обнимающихся парочек, мимо детей, кормящих хлебом чистопрудных уток, мимо студентов с вином и воплями под гитару. Нестор проходит мимо отдыхающих бездомных, мимо менеджеров в строгих костюмах и с бутылками пива в руках, мимо немощной старухи, которую две дочери чуть помладше вывели прогуляться. Словно «Двое со шкафом» вспоминает Нестор короткометражку Романа Поланского.

Мимом, мимо, мимо… Нестор проходит мимо всех них, окидывая равнодушным взглядом, но, на самом деле, занятый исключительно собой. Вокруг — всего лишь декорации, под которые приятно или, напротив, противно думать и мечтать. Как вдруг…

Он видит своих друзей — Жюли и Вадима. Вадим присел рядом со скамейкой, Жюли стоит рядом и, похоже, фотографирует его. Нестор подходит еще ближе и замечает на скамейке спящего пьяницу. Вот, оказывается, чем они здесь занимаются.

Действительно, минутой раньше мы с Жюли натыкаемся на интеллигентного вида пьяный труп. Он мирно посапыва-

ет на лавке и одновременно над лужей. Не знаю уж, откуда она натекла, но соседство любопытное.

Жюли предлагает сфотографироваться на память: не каждый день встречаешься с мертвецами. Сначала Жюли щелкает меня, затем я щелкаю ее. Девушка садится так близко к незнакомцу, что обнаруживает холод, который тот источает.

— Да вы замерзли, — восклицает Жюли. — Вам нужно домой.

Труп начинает шевелиться, губы его дрожат.

— На кладбище, — поправляет он. И повторяет, на всякий случай, еще раз. — На кладбище.

В этот момент к нам присоединяется Нестор, который без всякого вступления поясняет слова покойника:

— Мертвецы знают больше живых. Поэтому не нам судить об их местонахождении.

Не слишком ли много случайных встреч в один день? Но труп пьяницы уже задал направление наших дальнейших перемещений — на кладбище. И ликующий Нестор ведет нас в кинотеатр на фильм Криштофовича.

«Приятель покойника» оказывается украинской картиной о столкновении человека с зарождающейся пиявкой капитализма. От безработного главного героя уходит жена, сам он превращается в подставного свидетеля на бракоразводных процессах. Роль постыдная, но позволяющая беспомощному герою заработать хоть какие-то деньги.

На эти средства он нанимает киллера, в качестве мишени отправляя ему свою фотографию. Спустя пару дней спохватывается и хочет отменить задание. Однако отменить не удается — фатальный механизм запущен. Ближе к финалу киллера приходится убить, и его молодая жена с маленьким ребенком остаются без поддержки.

Герой отправляется навестить жену киллера и возвратить будто бы взятый у покойного долг (сэкономленные на киллере деньги). Вдова влюбляется в героя и постепенно затягивает его в объятия осиротевшей семьи. Теперь он займет место изъятого по его вине мужа и отца.

Я посмотрел фильм скорее за компанию, сам я подобное кино не люблю. Гораздо больше закрученного сюжета привлекло другое — типаж главного героя, даже не его самого, а актера, который его сыграл. Он показался мне до зевоты знакомым: невероятно распространенный актерский тип. Были подобные персонажи и в компании моего дяди, театрального актера, да я и сам с такими общался.

— Похоже, это какой-то штамп актерской школы, — говорю я друзьям, когда мы выходим из кинотеатра. — Актеров учат перевоплощаться не в разные типажи, а в один и тот же — типаж актера. Зритель видит его на экране или на сцене и понимает, что это актер, а то, что происходит вокруг него — фильм или театральная постановка. Тот же эффект, как при полноценном перевоплощении, только достигнутый меньшими усилиями.

— А как же тот пьяница на скамейке? — спрашивает Жюли. — Ведь он как две капли воды походит на главного героя «Приятеля покойника»?

— Неужели? — удивляюсь я.

— А ведь его скамейка совсем недалеко, давайте сходим посмотрим, — предлагает Нестор.

Но идти никуда не нужно — пьяный уже здесь. Он стоит в нескольких шагах и молча за нами наблюдает. Это действительно он. Пьяный неотличим от приятеля покойника из фильма. Вдобавок он тоже покойник… Покойник покойника.

3. Перед пробуждением

— Жюли учит нас уважению к собственным травмам, — декларирует Нестор, встав перед нами — Жюли, трупом и мной. — С ними не нужно носиться, словно с маленькими детьми (это не уважение), как не нужно бежать к специалисту, который скорейшим образом избавит вас от переживаний (и это тоже не уважение).

Труп растерянно переводит взгляд с Жюли на меня, потом на оратора. Он не понимает, о чем речь, но сейчас не время для просвещения.

— Смиритесь с тем, что любая травма оставляет отпечаток, — продолжает Нестор. — Личность, в этой оптике, предстает узором из царапин и шрамов, которые совсем несложно укрыть под одеждой, то есть надеть личину, однако этот узор, в сущности, и есть вы. Так, по крайней мере, считают постструктуралисты, изымающие из современности понятие глубины — все теперь плавает на поверхности.

Воспользовавшись трупом как ширмой, Жюли берет меня за руку. И едва заметно подается в мою сторону. Совсем чуть-чуть — так, чтобы слегка коснуться плечом моего плеча.

— Вы знаете, как растут мышцы? — вопрошает Нестор. — Они растут из-за серийных нагрузок, близких к предельным. Мышечные волокна рвутся (так называемые микро-

травмы), потом снова срастаются, становясь толще и крепче. В этом процессе, целиком состоящем из травмирования своего организма, и заключается становление атлета. Поэтому, если вы хотите стать хоть немного сильнее, относитесь к своим травмам уважительно. Так говорят Фридрих Ницше, Жюли, а вместе с ними и я.

Нестор закончил и теперь ждет нашей реакции. Почему он затронул эту тему? Неужели Жюли уже рассказала, что со мной случилось? Но когда она успела?

Труп отходит в сторону, обнажая наши слипшиеся ладони. Точнее, не так. Прежде чем Нестору открывается наш секрет, мы успеваем оторваться друг от друга, девушка буквально отталкивает мою руку, и вот — мы словно ни при чем, каждый сам по себе.

— Любая близость это травма, — неожиданно произносит труп.

— Еще бы, — фыркает Нестор.

— Травма тем более глубокая, чем мы ближе, — добавляет Жюли.

Пока я раздумываю, участвовать ли в этом многоголосье, все решительно меняется. Еще секунду назад мы стояли у входа в кинотеатр, а теперь уже несемся в автомобиле. Я сижу сзади между Жюли и Нестором. За рулем некто неизвестный, на экране отсчитывается стоимость поездки. Похоже, это такси.

Рядом с водителем кто-то знакомый, только я никак не могу понять, кто именно. Это вроде как труп со скамейки и в то же время официант. И оба напоминают главного героя «Приятеля покойника».

Мы останавливаемся у многоквартирного дома. Мертвый официант (из-за неопределенности буду пока называть его так) роется в карманах, но не находит денег. Более того, ни у кого из нас их тоже нет.

— Сейчас сбегаю за гонораром, — говорит мертвый официант и вылезает из машины.

В следующее мгновение он уже в подъезде, и что-то подсказывает мне, что обратно официант не выйдет. Можно ждать хоть всю ночь. Следом за ним из такси вылезает Нестор.

— Пойду потороплю его, — успокаивает он водителя. И тоже исчезает в подъезде.

Напоследок уходим мы.

— Не переживайте, он скоро спустится, — заверяет водителя Жюли.

— Мерзавцы! — кричит нам вслед таксист и резко трогается с места. Ночной двор наполняется визгом стираемых об асфальт покрышек.

В подъезде мы встречаемся с Нестором. Он не в курсе, где искать официанта. Не обходить же все квартиры, мы ведь даже не знаем его имени. Ничего о нем неизвестно, даже того, кто он на самом деле — официант или мертвый пьяница со скамейки.

Ни на что не рассчитывая, поднимаемся по лестнице. Всего пять этажей — может быть, наткнемся на что-нибудь интересное. И в самом деле натыкаемся. Уже на третьем этаже дверь приоткрывается, в щели показывается голова женщины.

— Вы с Зенкиным приехали?

— Да! Да! — воодушевленно подтверждаем мы.

И эта добрая душа пускает нас внутрь.

— Разувайтесь. Я провожу вас в его комнату.

Женщина ведет нас по узким, заваленным коробками коридорам, разделенным комнатами — никогда бы не подумал, что мы окажемся в такой большой квартире — и наконец отворяет нужную дверь.

— Он здесь, — говорит она и включает в комнате свет.

— Но это же склад, — восклицает Жюли. — Здесь нельзя жить.

— Можно, — отрезает женщина. — Ищите — ваш друг где-то здесь.

Мы осторожно протискиваемся между башнями из книг, боясь нарушить их шаткое равновесие. Вдоль стен тянутся стеллажи с книгами, но и пространство между стен не свободно — оно тоже заполнено книгами, громоздящимися высоченными стопками. Кое-что даже не распаковано — целые баррикады пачек в крафтовой бумаге.

— Впечатляет! — резюмирует Нестор.

— Но где же сам жилец?

В комнате только стеллажи и книги. В углу притаился крохотный столик с компьютером и табуретка под ним. Где здесь можно спрятаться?

— Ау! — зовет Жюли.

Мы прислушиваемся. В полной тишине раздается чье-то ровное дыхание. Кроме нас, здесь есть еще кто-то, причем он спит.

— Все это так странно, — замечает Жюли, — что я не удивлюсь, если окажется, что мы всего лишь кому-то снимся.

— Почему же «всего лишь»? — спрашивает Нестор.

— Да вот же он! — Жюли подскакивает к проему между двумя стенками из пачек и показывает нам кровать с мертвым официантом. Он лежит поверх покрывала в одежде и ботинках — спит. — Вот он!

Что ж, мы хотя бы нашли его. Только что нам делать дальше? Зачем мы здесь?

— Давайте его разбудим, — предлагает Нестор и уже тянется к юноше, но Жюли хватает его за руку.

— Вы с ума сошли, Нестор. Если мы разбудим его, сновидение рассыплется — мы исчезнем и никогда больше не увидимся.

— С чего вы это взяли, Жюли?

Жюли садится на кровать рядом с кроссовками мертвого официанта. Он их расшнуровал, но не снял. Девушка поправляет очки. У нее обиженный вид. Она не знает, как ответить.

— Разве вы не помните, — продолжает Нестор, — мы встретились раньше, чем обнаружили здесь официанта. В такси он, по крайней мере, не спал. Да и до этого… мы с Вадимом заходили в кафе, и он нас обслуживал. Вряд ли молодой человек делал это во сне.

— Вы правы, — соглашается девушка. — Но мне все равно не по себе. Нельзя ли обойтись без пробуждения?

Мы с Нестором переглядываемся. Что случилось с нашей Жюли? Она всегда была такой рациональной, бесстрашной ниспровергательницей предрассудков, а тут вдруг…

— Скажите честно, Жюли, чего вы боитесь?

Она молчит, отвернувшись в сторону. Потом поворачивает голову к мертвому официанту. Затем бросает взгляд на меня. И наконец на Нестора.

— Официант не просто так обложился книгами, — говорит наша подруга. — Он считает, что во время сна они проникают в его сознание, оседая в памяти и мышлении. Сейчас он проходит интенсивнейший курс обучения.

— Но это же какой-то бред, — Нестор улыбается. — Нонсенс, нелепость и суеверие.

— А вы что думаете? — спрашивает Жюли у меня.

— Я… — начинаю я, но вижу, как у официанта медленно открываются глаза, поворачивается голова… Он приподнимается на локте и спросонья глядит на нас. Кажется, он все еще спит, хоть и раскрыл глаза.

— Неужели я все-таки проснулся? — хрипло говорит юноша, хлопая глазами.

и. Анонимное множество

— Работа… какое противное слово, — говорит Нестор. — Но другого я пока не подберу, поэтому отбросим лишние коннотации и временно воспользуемся им. Работа писателя держится на двух китах. Или черепахах, как вам больше нравится. Эти киты (или черепахи) — несчастное детство и бессонница. Из первого писатель черпает вдохновение и сюжеты, второе высвобождает время для письма.

Нестор сидит напротив меня в кабине колеса обозрения. Мы неспешно поднимаемся, оставляя землю под собой.

— У вас было несчастное детство? — спрашиваю я.

Губы Нестора растягиваются в улыбке.

— Тем, кому не довелось встретиться с несчастьем в самом начале, приходится латать эту прореху всю оставшуюся жизнь. Ее восполняют фантазией, интеллектом, стилистическим мастерством. Словом, всем чем угодно, что отвлекло бы читателя от главного — отсутствия глубинной внутренней драмы.

Нестор замечает что-то внизу и высовывается из кабинки. Он свешивается настолько безрассудно… кажется, еще немного, и он вывалится наружу.

— Осторожнее, — предостерегаю я. — Что вы там увидели?

— Внизу, в четвертой от нас кабинке, Жюли с официантом.

Наши встречи уже переходят все границы — мы словно шарики, катающиеся по поверхности воронки. Рано или поздно нам все равно суждено столкнуться.

— Возможно, вам покажется это диким, но я тоже осведомлен о вашем разрыве с Варей, — осторожно продолжает Нестор.

— Жюли вам рассказала?

Он мотает головой.

— Нет. Официант. Он, кажется, совсем потерял голову и жаждет проводить с нами все свое время. Может быть, поэтому мы и встречаемся совершенно немыслимым образом. Скажем, как сейчас. Эй, Жюли! Зенкин! — Нестор кричит, высунувшись из кабинки, но ветер, который все усиливается, сносит его слова в анонимное *множество*.

— Так вы точно свалитесь, — говорю я и втаскиваю Нестора обратно в кабину.

Он вроде как успокаивается и больше не высовывается.

— Так что же с Варей? Расскажете мне?

Я молчу, размышляя над его предложением. Потом сам выглядываю из кабинки. В самом деле, Жюли под нами вместе с мертвым официантом. Ветер такой сильный, что, даже если бы они кричали друг другу, я бы все равно ничего не услышал.

— Уж извините, Нестор, но мне совсем не хочется говорить с вами о Варе. Давайте лучше вернемся к писательским черепахам. Ричард Сеннет писал, что крысы спят, сбившись в кучу, как можно ближе друг к другу. Одинокие крысы, которые не могут прижиматься к другим, страдают бессонницей. Есть ли у них шанс стать писателями?

— Это было бы любопытно. По крайней мере, всем тем, кому надоела литературная белиберда, производимая людьми. Неужели вам не хотелось бы прочитать роман, написанный крысой?

— Я бы не отказался. Особенно, если учесть, что крыса писала его по ночам вдали от сородичей, практически в полном одиночестве. И вдобавок у нее было трудное детство. Несчастное настолько, насколько это возможно для грызунов.

Разговор вдруг обрывается. Нестор не комментирует мою мысль, а мне не приходит в голову больше ничего сверх сказанного. Мы молча поднимаемся к высшей точке колеса обозрения под оглушительный вой ветра.

Когда мы ее достигаем, оказываемся в высшей точке траектории, Нестор прерывает молчание.

— Жюли права, — говорит он. — Мы всего лишь персонажи из сновидений мертвого официанта. Стоит ему проснуться, и от нас ничего не останется. Я хотел прекратить все еще в его комнате, но… Мне кажется, ничего интересного нас уже не ждет. Можно смело прыгать вниз — конец все равно слишком близок, и нам его не избежать.

— Но ведь нас связывают еще и реальные отношения, — замечаю я. — Вы помните их?

— Довольно смутно. Выражаясь языком авторского права, сновидение можно назвать плагиатом реальности, причем плагиатом контрафактным. И из этой иллюзорной фелонии вы предлагаете перебросить мостик в действительность? Ничего у вас не выйдет. Пора все это заканчивать. Увидимся в анонимном множестве.

Нестор встает на скамейку и выпрыгивает из кабины. Я слежу, как его тело несется вниз. Поток воздуха прибивает его к конструкции Чертова колеса, Нестор бьется о перекладины и отскакивает обратно. Не особо приятное зрелище. В

конце концов тело шмякается о землю. Отсюда оно кажется таким маленьким… Деталей не разобрать, да они и не нужны.

Все что остается, так это достать из кармана салфетку с кошачьими зубами и бросить вслед за Нестором.

Зачем?..

А вы как думаете?

к. Punctum caecum[3]

Мертвый официант просыпается. Он лежит в кровати, вспоминая необычный сон. Может быть, записать, пока он полностью не выветрился из памяти? Молодому человеку не хочется сейчас этим заниматься. Вначале он должен окончательно проснуться.

Юноша одевается и идет в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. В кухне его перехватывает мама, которая просит вынести мусор. Официант с ведром выходит из квартиры, спускается по ступенькам к мусоропроводу и слышит, как дверь за ним закрывается на замок.

Обескураженный, юноша возвращается к двери, звонит, стучит, зовет маму, но ничего не происходит. Дверь так и остается запертой, а жилище, в котором он только что проснулся, — недосягаемым.

В домашних тапочках, с полным мусорным ведром в руке, растерянный, официант выходит на улицу. Кто-то стреляет в него из пневматической винтовки. Пуля попадает в ведро, пробивая его навылет. Одна, затем вторая, третья, четвертая… Когда ведро уже изрешечено, стрелок начинает целиться в самого официанта.

Пуля попадает ему в плечо. Молодой человек убегает, прячась в кустах, но и там его находят жала невидимого возмездия. Он пытается вспомнить, что такого натворил, из-за чего все это происходит. Пули выгоняют официанта из кустов, он бежит дальше, пытаясь не растерять мусор и тапочки.

Мертвый официант убегает все дальше и дальше. Он еще не знает куда именно.

Куда-нибудь, где не придется прятаться от невидимого стрелка.

В слепое пятно социальной паутины.

---

[3] Слепое пятно (*лат.*).

л. Привет из подсознания

«Варя шла рядом со мной. Под курткой она держала нашу кошку. Иногда та высовывала голову, но ни разу на меня так и не взглянула. Кошка только показывалась миру, не желая ничего видеть, ни на кого смотреть. Тем более, на меня.

Мы шли по заброшенной дороге в окружении грязной промзоны. Иногда нам попадались разваливающиеся полузаброшенные дома, напоминающие сараи. В один из них мы зашли. Я удивился, но смутно припомнил, что мы с самого начала именно сюда и направлялись. Только вот зачем?

Наше общение с Варей строилось не словесно, а с помощью жестов, мимики, взглядов. Удивительно, но мы прекрасно друг друга понимали, как, наверное, никогда раньше. Правда, самого главного — зачем мы здесь — я так и не узнал.

Мы оказались в длинных темных коридорах, переходящих один в другой, а затем внезапно изламывающихся в запутанные лабиринты с кучей разветвлений под немыслимыми углами. К этой паутине добавлялись еще и двери в крохотные лавки, торгующие пуговицами, скрепками, стельками и тому подобной мелочью.

Варя заходила в магазинчики, осматривалась в течение двух-трех секунд и немедленно выходила, сталкиваясь со мной. Однажды она оказалась у зеркала, и я ненароком взглянул на ее отражение. В зеркале была не Варя, а совершенно незнакомая девушка. Я напрягся, но как только мы двинулись дальше, эпизод вылетел из головы.

Мы еще долго бродили по комнаткам. И занимались бы этим целую вечность, если бы мне не осточертело. И как ни приятно было следовать за подругой, обмениваясь молчаливыми, но такими волнительными взглядами, я не выдержал.

Варя отворила очередную дверь, а я спешно направился к выходу. В этом чудовищно разросшемся лабиринте я вдруг интуитивно почувствовал лазейку наружу. И не ошибся — уже через минуту я прохаживался перед покосившемся зданием, в котором осталась Варя. Удивительно, но снаружи оно казалось таким компактным, совсем не предполагающим всей этой разветвленной паутины.

Стоять на месте было скучно, да и противно в запомоенной промзоне. Поэтому я не спеша направился в сторону, откуда мы пришли. Обходя лужи, перепрыгивая горы мусора — или наоборот — постоянно оборачиваясь в поисках Вари. Не вышла ли она из этого мерзкого заведения?

И когда я отошел уже достаточно далеко, я наконец заметил ее. Нас разделяла металлическая сетка забора, но это была… Варя. Я только сейчас вспомнил, что мы же расстались с ней, рассорились в пух и прах, решили больше никогда не видеться… Но увиделись же. И как приятно провели время в этой богом забытой дыре…

Варя шла с видом человека, который кого-то ищет. Я двинулся навстречу, но между нами было не открытое пространство, а забор и куча других препятствий, обходя которые приходилось вначале удаляться друг от друга, сближение предполагалось только потом, в самом конце.

Стремясь к Варе, я уходил от нее все дальше и дальше. Но постоянно оборачиваясь и следя, чтобы наши траектории не разминулись. Когда я обернулся к девушке в очередной раз, то увидел, что она развернулась и пошла обратно. Нас разделяло еще порядочное расстояние, хотя и можно было позвать ее, крикнуть изо всех сил.

Я этого не сделал. Понадеялся, что успею догнать. Ускорил шаг, хотя и до этого двигался быстро. Обогнул проклятый забор, чуть не упал в глубокую лужу, но вот наконец я снова добрался до покосившегося здания. Вари здесь уже не было. И вообще нигде, куда мог упасть мой взгляд.

Ее не было ни здесь, ни вообще. Девушка растворилась в тошнотворной тоске.

Я взглянул на облупившуюся дверь из сгнивших досок. Может быть, Варя внутри? И мне тоже нужно быть там? Мысль меня поразила, и я долго стоял, не в силах пошевелиться.

Нет!.. Я не хотел снова туда заходить…

Что-то во мне отчаянно сопротивлялось.

Чепуха, казалось бы, но не в том месте и не в том состоянии. Иногда тонкие нюансы настолько завладевают тобой, что выворачивают душу наизнанку. Пространство мутирует, а вместе с ним мутируют и люди. Кто-то растворяется в лабиринте иголок, а кого-то пронзает настолько невыносимый ужас, что он не может сдвинуться с места.

Хотя бы закрыть глаза…

Пошевелить рукой…

Проснуться…»

м. Между мраком и рассветом

Я дописываю последнее предложение и откидываюсь на спинку кресла. Чувство облегчения растекается по телу, и я

даже ощущаю легкое опьянение, словно после пары рюмок коньяка. Давно забытое мною умиротворение.

В окне справа закатывается за горизонт крупная белая луна. А в окне слева, выходящее на другую сторону, уже брезжит рассвет. Как непривычно оказаться между закатом и восходом, в беззвучном промежутке между ночью и утром, сном и пробуждением.

Я подхожу к окну слева и несколько минут наблюдаю небесные изменения. Солнце, как мне кажется, должно появиться между двух высоток. И это тоже красиво. Пейзажная эстетика в стеклобетонных *струнах* урбанизма.

На подоконнике спит тот самый кот, которому я выбил или не выбил два зуба. Он напряженно следит за мной: страшно убежать, обнаружив себя, но еще страшнее оставаться на месте: вдруг его пришли убивать на рассвете.

Я подношу к коту руку, он весь сжимается и воспринимает мои поглаживания как изощренную пытку. Он не шипит, но издает какие-то булькающие, квакающие, хрюкающие звуки, словно вышедший из строя механизм. После десятка поглаживаний кот все-таки приходит в себя и немного расслабляется.

А потом и вовсе разваливается на подоконнике, обнажая самую незащищенную часть тела — живот. Если это не предложение дружбы, но я отказываюсь что-нибудь понимать в его поведении.

Я треплю кота за ухом, провожу тыльной стороной пальцев по шерсти на его животе и, когда между высотками показывается огненное марево утреннего солнца, шепчу коту, слегка наклонившись:

— Помечтай со мной…

И немедленно замечаю на улице, прямо под моими окнами, этих двоих… Жюли и Нестора. Как приятно, что они снова здесь.

Значит ли это, что мертвый официант до сих пор не проснулся?

Москва, июнь 2017

Адам Ранджелович
Групповой портрет с петлей

здесь, так же как и где бы то ни было ещё, мы пишем истории болезней, суть сами истории наиразличнейших заболеваний и болячек, при этом не только не являясь врачами, но и в существование одного такого и не веря.

не способные его представить, без возможности его придумать.

**

она звала нас прийти и лечь с *ней*, требовала неоднократно, чтобы мы посвятили себя *ей*, как хонигманн посвящал себя своей упрощённой философии, или же как оппенхаймер скрупулёзно писал нам свои письма.

кранц советовал, чтобы мы посвятили себя *ей самоубийственно*, но что знал, что знает кранц?

мы видели, как он, полуслепой, ползёт по улице, словно пёс.

кранц был похож на кота, который объелся, и по мостовой тащит своё мерзкое пузо.

кранц, наполовину сумасшедший, стал единственным бродячим псом в том ядовитом месте, хотя он и сам по себе был для того смертоносного места, вне всяких сомнений, чем-то превышающим всякую меру.

**

врач с времени не время советовал нам не вставать слишком часто из кровати (что, надо сказать, идеально корреспондировало с некими нашими *намерениями по жизни*) и бросить сигареты, так как они убьют нас быстрее, чем что-либо ещё (конечно же, имеется в виду в идеальном случае).

паннекук считал врача явным *типично-дебилом*, но не настаивал.

запрещать сигареты в любой ситуации — это могут лишь *типично-дебилы*, говорил паннекук.

**

оказалось, что оппенхаймер всему своему, правда, не слишком многолюдному, окружению, написал напутственные письма перед самоубийством.

в них он делился советами, в том числе, что есть, куда отправляться в отпуск, как беречь нервы и тому подобное. особое внимание он уделил уходу за ногами, так как ноги в его жизни, перед самой кончиной, занимали непосредственное место, или, по-крайней мере, так ему казалось. одна лишь глава *ступня* содержит список ужасающих опасностей, к которым ступни проявляют слабость, практически склонность, словно волей амура, среди которых оппенхаймер выделил: мозоль, спазм, обморожение, волдырь, изогнутый палец, вросший ноготь, гнойничок, хромота, утячья ступня, гусья ступня, голубиная ступня, солдатская ступня. он завещал, чтобы ступни, в первую очередь, не терялись, ни в коем случае.

письмо хонигманну, в сравнении с нашим, чуточку длиннее, исключительно из-за инструкцию по тому, как избежать язву на желудке.

**

из улицы в которой мы тогда жили выходило несколько трамваев и автобусов.

скажем, трамвай номер пять вёл прямо к кладбищу, это и была его последняя остановка (где он так грузно, пошатываясь, поворачивался и начинал своё круговое движение сначала), а автобус номер пять умел даже добросить до церквушки, где, как говорили, когда-то витражи были расписаны лично марком шагаллом, вплоть до того момента, когда кто-то их, как добавляют, безвозвратно украл, как думается, даже и не подозревая, что те витражи расписал собственноручно и собственной персоной марк шагалл, а скорее, как веруется, только лишь потому, что этому некоему вору эти витражи слишком понравились.

**

однажды, в одно мгновенье, мы поняли, что не имеем математический инстинкт (хоть математику и видели своим профильным предметом), в отличие от нашего приятеля оппенхаймера, насчёт которого мы были уверены, что математический инстинкт он имеет, в связи с чем её, то есть, математику, предоставили ему, оппенхаймеру, и обратились чему-то, в чём полностью могли бы раствориться, исчезнуть.

мы, тем самым, искали ту дисциплину, которая для нас стала бы искусством исчезания.

**

ретроспективно, все желания, когда предоставляется возможным получше их рассмотреть, вели к крайне специфическому виду стирания, который без сомнений наступит, когда уже будет поздно, ведь это та точка, о которой чаще всего говорится, хоть она и входит в те безоговорочные договорённости, которые исключают всякую возможность отступления.

**

крайне осторожная встреча ладони и чего-то раскалённого от теплоты.

запах горелого и (неубедительный в своём появлении) вскрик, всё то, что мы тогда освидетельствовали и, более того, всё то, что мы сейчас передали, хоть мы и, быть может, в состоянии по этому вопросу вынести некое более широкое суждение.

пренебречь диверсиями памяти и предаться её отстранённо, подчёркивая это решение.

**

это как раз то, о чём мы говорили (о чём мы говорили о чём мы молчали как раз именно то о чём мы писали о чём мы говорили как раз именно то о чём как раз тогда пока говорили молчали разговаривали писали именно это)

**

отстранение в живописный безликий пейзаж

**

на улице мы видели мужчину, у которого случился излив крови в мозг.

весь этот случай на нас оставил такое сильное впечатление по той причине, что мы, вне всяких сомнений, излив той крови в той мозг головы того человека видели в том смысле, в каком можно увидеть вспарывание живота бритвой.

смотрели, как он падает на тротуар, а кровь в его голове имитирует волны в каком-то идиллическом океанском пейзаже.

это случилось на улице долгое время именованной нашей, которую мы всё ещё хорошо помним, в основном из-за

того, что через неё не проходили ни трамваи, ни автобусы, где каждая витрина была разбита, а на пешеходной лежали лужицы бензина, которые сверкали, без сомнений, крайне красиво, переливаясь всем спектром цветов, если бы только солнце когда-либо просвечивалось над теми краями.

двери некоторых домов, в основном двухэтажных и кривобоких, были помечены красной краской, то был даже не конкретный символ, чья цель, меж тем, сколь неясная, столь, всё же, в своей таинственности умела пробуждать как раз самые мучительные сомнения.

безмерно ценно, что мы сохранили некоторые фотографии из тех времён, на некоторых можно увидеть:

тело человека, вызывающее в нас уверенность, что на этом снимке он уже мёртв, убит излитием крови в мозг;

бензиновые лужи;

разбитые витрины;

помеченные двери (фотографии чёрно-белые, поэтому тяжело разглядеть, что это за цвет, красный, коричневый, чёрный);

густые облака, которые непрестанно покрывают небо в этих краях, мы верим, и до сих пор;

вот и мы, скрываемся от фотоаппарата в телефонной будке, и не дышим;

да, если не конкретно в тот день, то уж точно в один из тех дней мы практически не дышали.

**

когда кранц умер от туберкулёза, слепой, толстый и сумасшедший, оппенхаймер (который не пришёл на похороны, затравленный некими старыми разногласиями, в первую очередь, между собой и самим собой) записал в дневник всего два слова: «самоубийственный пёс».

случайно подумали как-то про ту женщину, которая нас, ещё с тех пор, больше не звала.

как скучно.

**

отец скончался в полном безумии.

все те годы, что он постепенно терял разум, и для нас самих он всё меньше и меньше имел *смысла*.

мы никогда не навестили его в доме для с ума сошедших, да он и сам никогда не артикулировал такое пожелание (в редких случаях ясности, как нам доводилось услышать,

отец стал бы зачитывать вслух отрывок из монолога робеспьера, тот о «врагах свободы»).

эта ментальная обморочность нашего отца (который, в неких, для себя, лучших временах, был, несомненно, настроен на долгую и выверенную жизнь, несомненно, всего лишь очередной груз, который с такой лёгкостью позволяется себе за счёт других).

**

паннекук, если подумать получше, целых несколько раз выражал желание написать портрет нашего отца в виде здорового человека, который «сидит в саду, под черешней, и умирает затраханной смертью старости».

каждый раз, судя по всему, мы нечто такое отвергали, по одной единственной причине, да потому, что своего отца мы давным-давно схоронили, в его случае, весьма достойно, путём безболезненных преимуществ забытия.

**

неблагодарная это работа — надумать, что детские болезни человечества излечимы — было выцарапано на круглом дорожном знаке, красном, с горизонтальной белой линией посередине.

**

всегда слишком поздно было.

всегда мы остановились бы в каждом мгновении и подумали: вот, уже слишком поздно.

всегда слишком поздно.

всегда ли так было?

**

в театре представление «*круг: террор*».

это, что бы там ни было, отличное название для пьесы.

**

отцы?

слово — не более того.

матери?

для нас существуют только матери наших скук.

**

себя мы познали на самом деле только в скуке, из которой мы выходили бы в такую темень, что её ничтожный

свет, который осветлял исключительно нас самих и ничего более, служил последним бастионом любой осмысленности; найти смысл в себе самих, возвышаясь, или превзойти всё и свет назвать мраком, а мрак — светом?

записал хонигманн.

**

оппенхаймер несколько дней назад полностью потерял зрение, как это случилось и с кранцем, не первым, а и не последним.

оппенхаймер однажды заметил две чёрные точки на белках левого и правого глаза, а несколько дней назад полностью потерял зрение, и, вероятно, навсегда, как это случилось и с кранцем, среди прочих.

**

хонигманн занимался исключительно переписыванием книг вручную, сперва в намерении стать писателем, он наказал себя ручным переписыванием — от первого до последнего слова — своих любимых книг, пока не проснулся как-то и понял, что ему совсем достаточно и предельно удовлетворительно просто переписывать книги.

когда он переписал все те, которые любил, он занялся теми, которые любил чуть меньше.

**

первый сборник стихотворений, который кранц написал, сдутый ветром (во время одной из *тех* стихий) в окно его так называемого рабочего кабинета (гостиной, доведённой до филигранного хаоса), промокший на тротуаре и бесчисленное количество раз истоптанный невнимательными и лишёнными какой-либо чувственности прохожими, сам кранц описал как катастрофу, в связи с чем всё произошедшее описал как не более чем ожидаемое — всего лишь на первую вскидку ничуть не раздавленный.

**

касательно *тех* вещей, их мы распознаём как нечистоплотные, как симптомы беспорядка, по которым не трудно заключить: да, вот это есть человеческая жизнь.

и что-то такое, чаще всего, бывает верным суждением, и лишь изредка мы даём себе право заявить: да, это свинарник, при этом, никому и ничего на самом деле и не разъясняя, более того, многие, и не без веских на то веских причин,

посвящают себя тут же определённому анализу понятия *свинарник* в данном контексте, ввиду чего приходят к неким, иногда ничуть не тривиальным, выводам.

**

хонигманн никогда не хотел стать писателем, его всегда и в полной мере удовлетворяло переписывание вручную его любимых книг.

хонигманн, который жил сам в маленькой вилле недалеко от маленького города (или, если быть предельно точными, большой деревни), всегда имел в своём распоряжении книги для разогрева зимой, так как остался без земельного участка, без одного-единственного деревца (раньше ему принадлежало множество сосен и стройных берёзок, теперь же он просто был ими окружён), а испуганный от самой мысли, что нужно выйти *наружу* и говорить с теми *извне* (заниматься с ними делами, заниматься делами вообще), которые в нём вызывали такое отвращение, от которого он отходил по нескольку дней, то оглушённый, то лихорадочный.

единственное, что нам не известно, так это сжигал ли он *чужие* книги или только *свои*.

**

некоторые события, которые сбываются в пространстве фикции, позднее бывают предвосхищены реальностью.

читать в газете о самоубийстве девушки, которая бросилась под поезд, тем самым смутив железнодорожное сообщение, меж тем, позднее, когда поезд и впрямь останавливается, оказывается, что девушке помешали осуществить попытку самоубийства, так как полиция прочла про её бросание под поезд как раз в той газете, с помощью чего предотвратив невзгоду, а поезд, не взирая на всё это, был остановлен в связи с арестом.

один из пассажиров по этому поводу дал комментарий, в котором сообщил, что его жена ни за что не поверит в то, что поезд остановили без какой бы то ни было пристойной причины, в связи с чем, как он добавил тут же, этой, для него крайне неумелой игрой фикции, он будет вынужден наврать своей жене о том, что некая девушка покончила с собой, бросившись под поезд, в котором он, к своему несчастью, находился.

«*моя проблема, видите ли, в том, что я не умею выдумывать. легко описать ситуацию вокруг самого обездвиживания поезда, остановки движения, я мог бы изобразить ей*

полицейских, пассажиров, всё — только не труп. я, знаете ли, никогда в жизни не видел труп человека, тем самым, никогда не смог бы его и описать. а она потребует, поверьте, она потребует труп!», стоит в конце анонимного комментария.

**

оппенхаймер выдумывал бесконечные комбинации номеров, которые не только ничего не значили, но и само такое намерение — смысловое — никогда за собой и не имели.

это и есть номера оппенхаймера.

**

в дверях была установлена коричневая кожаная туфля (нам трудно с уверенностью сказать *настоящая* ли это кожа или имитация, так как в таких вещах мы ничего не понимаем, да и поразмыслив получше, как будто вспоминаем, а может как раз и выдумываем в то же мгновение, как, скажем, в случае с кожаным диваном легко узнать органическое происхождение кожного покрытия элементарным экспериментом: к природной коже вы приклеиваетесь, садясь, а более-менее громко отклеиваетесь, вставая, хоть мы и не могли бы, по сути, сказать, не наоборот ли совсем всё это должно звучать, если и вообще какого-либо смысла имеет, а что, в конце концов, крайне сложно проверить в случае с туфлей), со стороны приходящего это была та её часть, которую предназначена для обувания, а с *той* стороны, если вы убрали бы подошву, у вас получился бы так званый *глазок*.

**

полон рот плевков, в пепельнице кровавые окурки, черепушки на дыму под окнами, двери — полуоткрыты, поляна у дома — после дождя, обычная грязь, непроходимость.

сервированные крысы, их пять, определённо мёртвые, хвостов сплетённых в прочный узел.

окна разбиты, стены состоят из портретов знаменитых и незнаменитых людей, так что ни одно конкретное лицо больше не различимо.

проткнутая софа, лестница без ступеней, на кухне — шланг, вместо крана над разбитой раковиной, кольцами свернулся по красно-чёрных кубиках плитки пола, похожих на охотничьи ловушки.

все животные слепые (как кранц, как оппехаймер), выходят ночью, бредут по тем местам, на которых должны были бы находиться люди, которых здесь нет.

(этим доказано что, кроме всего прочего, нет того пространства, на котором присутствие человека было бы в кой бы то ни было мере необходимо или оправданно)

мушки в поту, впитавшая влагу бумага в коридоре, исписанная, ясная в случае потребности, не открывает ничего, в определённом смысле, *нового*, как и, впрочем, обычно.

**

в квартире, значит, всё ещё течёт газ, так что внутри запрещено курение, стрельба или щёлканье пальцев, хоть этот запрет нигде и не прописан, и нет никого кто бы, скажем, эти правила подчеркнул вербально, даже нет того, быть может, кому этот запрет мог бы быть в какой-либо форме сообщён.

счета за газ, тем не менее, всё ещё приходят, шрифт на конверте становится всё больше, толще и краснее, и больше ничего.

внутри квартиры, с левой стороны, отражение правой, идентичной как потолку, так и полу, по всему идентичные стороны любой комнаты любой квартиры в целом доме, квартале, городе, а может даже и того дальше, если это хоть сколь нибудь значимо(, а нет)

квартира, с времени на время, интенсивно сужалась, словно пульсируя, но всего лишь на уровне ощущения, что в такие мгновения размеры комнаты не допускали ничего кроме разве что как просунуть в неё голову.

**

на одной из остановок посреди ничего (так как для нас не имеет никакого значения), обыденная пауза в 15 минут, заранее уговорённая; телефонный разговор о последних событиях (и знакомых, точнее говоря, близких, именах), опосредованный шумом и типичной нервозностью, с которой наблюдается каждая активность поезда, хоть и страх от его неожиданного отхода бледен по сравнению с неожиданно данными обещаниями в этом телефонном разговоре, насчёт которого существовали оправданные предчувствия лёгкой катастрофы, с оправданием, неизбежной.

больше уже не важно, что будет с поездом, так как с этого момента он больше не отвечает нашим дальнейшим намерениям.

таксисты спят на парковке рядом с железнодорожной станцией, вдруг оказывается (как случайное обнаружение банальных чёрных точек на белках левого и правого глаза), что это раннее утро, в связи с чем, становится холоднее.

**

звук из радиоприёмника посреди тишины, такси на дороге среди ничего (всё ещё ничего не значит для нас, всё ещё это всё ничего, даже для нас), молчание как последствие прерванного сна и обоюдного осознания того, что нечего сказать, стыд от вони изо рта. знак у дороги объявляет autobahnkierche через две сотни метров.

беззвучный, субтильный дождь.

**

хонигманн не только имел существенные проблемы с бытием per se, но и признавал это, не делая по поводу переиначивания своих существенных проблем ровным счётом ничего, так как в перемены не вкладывал абсолютно никакую надежду. он часто говорил, что лишь понимание собственного будущего отличает его от животных, он умел повторять, что это понимание этого будущего чаще всего ошибочно называется сознанием, являясь, на самом деле, всего лишь решением высшего меж всеми судами, по которому каждому человеческому существу надлежит без промедления отравить всякую веру в перемены и убить всякую из возможных надежд.

**

под конец жизни кранц бывало пересказывал нам крайне интересные случаи, которые, по правде говоря, настолько напоминали поэзию кранца, что никто не был в состоянии сказать имитирует ли поэзия кранца его жизнь или жизнь кранца имитирует его поэзию.

случай дополнительно усложнял тот факт, что кранц был, а никто ни *тогда*, а ни *сейчас* не осмеливается поспорить на этот счёт, крайне умелым имитатором. что касается его поэзии, так тут можно было бы услышать самые различные мнения, среди которых многие даже и внятные.

**

кранц без какого-либо повода требовал от оппенхаймера, чтобы тот сказал ему сколько длится одно *навсегда*, это случилось несколько дней перед смертью кранца. оппенхай-

мер тогда попросил кранца ни больше ни меньше но ровно две недели на обдумывание, что и получил, заметно изумившись.

вскоре, кранц умер.

оппенхаймер ещё некоторое время мучился поставленной задачей, но — кранц тогда уже наверняка и вовсю разлагался в своём гробу — сдался, записав в дневник, что всё на корню обессмыслилось, так как кранц теперь о *навсегда* знает больше него, оппенхаймера. свои расчёты он сжёг не столько из-за сомнений, что они не точны, сколько ввиду простейшей боязни, что они не полны.

**

солнце, как и всякая другая рана, излучает теплоту, в случае возможного исцеления становится шрамом, импотентным в сравнении с исцелением, которому надеются те, что верят во *врача*.

мы, безвольные, незаинтересованные и немощные, все свои силы тратим на то, чтобы без особой помпы сгореть в покорении одной из таких ран.

**

там можно было много всего найти, самого разного, как, к примеру, несколько рукой исписанных страниц о социальном служащем, которого в тридцатилетнем возрасте, или около того, впервые в жизни одолела депрессия, некий нешуточный сплин, а который, из-за недостатка интеллектуальных возможностей, не привыкший, без возможности самому себе рационализировать это состояние выраженного замешательства, просто — и весьма для себя успешно — предположил, что дело в обычной простуде, ввиду чего бросился на лечение такой вот простуды, которая сопровождала его все последующие годы, да ещё и столь убедительно, что и впрямь, по воспоминаниям многих, он целое своё существо, ненамеренно, а безумием собственной воли, заставил мимикрировать, поэтому частенько вычищал покрасневший нос в платочек или кашлял или говорил осиплым голосом, вплоть до тех пор пока не отравился пригоршней лекарств, решив, что простуда не проходит из-за недостаточной дозы препаратов, а его смерть воспринята как самоубийство, и, более того, как самоубийство и принята.

среди прочих, главенствовало мнение, что он, как это говорят, отнял у себя жизнь, из-за какой-то многолетней болезни, который, впрочем, врачи не нашли ни следа, а несо-

мненная трагичность случая отображается и в том, что он был красив и, как это ничуть не реже говорят, всё в жизни имел.

**

сестра паннекука часто играла на пианино бетховена, что получалось у неё весьма сносно, хоть она и была пианистом-самоучкой. добравшись до клавиш, она часами и часами играла исключительно бетховена, так как ничего другого и не умела, а может, даже, и не желала, хоть паннекук, находясь иногда в дурном расположении, упрашивал её сыграть сати или шопена, не только потому, что сати и шопена он любил больше, чем всех остальных композиторов, больше, чем большинство людей, встреченных им в жизни или о которых ему доводилось только слышать, но и потому, что жаждал её, свою сестру, поймать в незнании, которое начиналось до и после бетховена.

сестра паннекука играла до изнеможения, что всегда вызвало бы в нём жалость, кастрированный и нежный в этой покорности перед её физическим недостатком, который он умел ощущать лучше, чем она сама, вынужденный ощущать его лучше, чем она сама, подобно слуге, которому известен каждый уголок дома его господина. после чего он перенёс бы её, изнурённую, тяжело дышащую, на софу, рядом с которой находились три карликовые пальмы в трёх громадных вазах, украшенные разноцветными лампочками, которые сестра паннекука, сидя в тишине, рассматривая своего брата тем видом тишины, которых является после бетховена, включала и выключала разноцветные лампочки, которые извивались вокруг трёх карликовых пальм, вероятно, где-то глубоко внутри себя — поистине довольная.

**

день прошёл и, так сказать, слава богу.

**

поза кранца была последствием старой школы ударов по пальцам и сидения в чуланах, той славной школы ремня и задницы, которая, надо сказать, весьма успешно, веками производила рабов рефлекса, незначительных и изуродованных пустышек, которые сдерживались бы настолько, изо дня в день, что их кишка обленилась бы до той степени, когда всеобщее бытие можно охарактеризовать исключительно как запор.

кранцу запор, для его же блага, а как же ещё, старательно усаживали его родители, люди строгие, скучные и всякой значимости лишённые, одной лишь грубости предоставленные; запор в их семье, как и во многих других, передавался с колена на колено, что можно наглядно рассмотреть на семейном древе в качестве генеалогии дегенерации.

они прибивали кранцу рыжими гвоздями ступни к взбухшему от влаги паркету, и говорили ему об истинах жизни, которые их самих прищемили посреди лица, как это неизбежно бывает в определённом возрасте, когда ответы на все эссенциальные вопросы бытия появляются, словно счёт за воду или электричество — регулярно и без опоздания. кранц практически завял от родительской любви, несясь по коровьему помёту через мглу утра, унося с собой ничего кроме самого себя и одного сломанного ребра.

поэзия была тем способом выйти вне себя, предоставить себе удовольствие, которое он заслужил, которое жаждал больше всего, выйти вне себя перед другими, перед всеми, так как он не был он, так же, как и мы, бесспорно, не мы, а просто какое-то беззубое чучело, нивелированное под общий стандарт старых добрых ценностей, что можно отрицать до бесконечности, до потери воздуха, потери сознания, тем самым лишь подтверждая, по сути, каждое слово из доселе сказанного. но не поэзия была той силой, которая помогла кранцу сорваться с цепи, скорее это ему предоставили слепота и безумие, сначала слепота, затем безумие, а потом он уже и умер, никогда и ни в каком роде не свободный, никогда поэт, может быть всего лишь пёс, да и то не на долго.

**

путешествие длилось столь долго, при этом, оставляя впечатление полной неподвижности, что экзистенция начала отклеиваться от времени, устраняя ценность любого из возможных ярлыков, будь то секунда, минута или час по отношению к тому, что происходило.

обессмысливание, чувствуемое так ясно, что не оставляло пространства для того, что в каком-нибудь другом случае могло назваться реальным пространством: серебристый туман по выпяченным полям, по которым разгуливали формы, похожие на коров, или чёрные, грубые очертания домов, обычные квадраты и прямоугольники, разбросанные вокруг, посреди того самого ничего, усердного в отрицании всякого абстрактного интереса в отношении одного (или большего

количества оных) в той же мере абстрактного, неуклюже придуманного зрителя.

**

паннекук ходил только на выставки малых голландцев, которых считал своими, а когда кто-либо пытался что-либо сказать в связи с малыми голландцами, паннекук терял такт, начиная беспощадные расспросы, требуя привязанность к каждой детали, говоря: «*для вас это просто красивые полотна, так называемые аттракционы, фейерверки, но для меня мои малые голландцы всё, я без своих малых голландцев ничего, ни у кого нет права их у меня отнимать.*»

**

разговоры о свойствах бывали сведены на их изучение на уровне языка, тем самым охарактеризованные исключительно как так называемые, а потому, что разговор о так называемых свойствах был невероятно значим, практически бесценен, внимание, которое ему посвящалось граничило с патологией, в связи с чем однажды было принято решение о прекращении данной практики практически *навсегда*, даже не взирая на то, что определённые выводы о природе так называемых свойств, сколь философские, столь и научные, и ничуть не менее научные, чем философские и наоборот, представляли несомненное значение для каждого особым швом устроенного ума, который когда-либо задумывался о природе и бытии так называемых свойств.

**

лишь хонигманн имел достаточно храбрости сопротивляться и вырываться из магнетизма ловушки, которой являлся город и его общество, в котором люди день и ночь убивали и мучили друг друга с такой страстью, какая в других обстоятельствах не далась бы распознать себя внутри их жизней. хонигманн в этом видел свою исключительную *нормальность*, которая проявлялась не только в заточении на вилле вне городе, где он отдавал себя занятиям экстремальной невидимости для кого бы то ни было, включая, первонаперво, самого себя, но и в частых путешествиях по так званому миру, продавая кусок за куском земли вокруг своего имения, которые столетиями принадлежали его семье, которую он презирал в достаточной мере, чтобы — ведомый желанием стереть каждый след её существования — без каких бы то ни было угрызений совести, по самым низким ценам и

в самые короткие сроки, распродать всё, что только можно было распродать, пока, как-то раз, он не оказался в доме, окружённом со всех сторон нововыстроенными имениями, принадлежащими тем самым убийцам и мучителям, от которых хонигманн убежал в самодовольную и самодостаточную изоляцию, которой невозможно гордился.

**

надя не оставила оппенхаймера, так как тот потерял зрение, это не был ни какой-то договор дефектных, нет, она была слишком легкомысленна — когда нечто такое от неё требовалось — чтобы вообще обращать своё внимание на это, нет, она как раз именно тогда нашла своё будущее, которое паннекук должен был ей обеспечить, ведь она так желала, а в этом будущем просто не было места для оппенхаймера, так как сам оппенхаймер никакого будущего не имел, более того, не понимая, что бы это могло или, ещё вероятнее, должно было быть.

она, конечно, не могла быть его будущим, так как надя женщина, которая после себя оставляет лишь руины, она одна из тех женщин, которые равны богу, и оппенхаймер это знал, и потому в ней, как и в чём-либо другом, не видел своего будущего, и поэтому её так страстно желал, такой умный, так как всё знал, более того, такой глупый, так как всё это так ясно и прочно понимал.

он, вдруг, такой чувственный.

**

да, этот ужасный город настолько чист, что практически стерилен, сказал оппенхаймер, один из самых чистых и самых стерильных городов на этом ужасном свете, сказал оппенхаймер, а если приглядитесь получше, вскоре вам станет ясно, что улицы этого эшафота, на самом-то деле, самые грязные, самые ядовитые улицы, вне всяких границ понимания, сказал оппенхаймер, мы, которые невзгодой судьбы, наказанием случая, не имеем выхода, кроме как обитать здесь, живём на свалке, где весь мусор переработан в форме человеческих существ, сказал оппенхаймер, выйдите на улицу и вы задохнётесь в этих отравленных испарениях, в этой вони, которую распыляют эти — в основном известные как — человеческие существа; вот где закончил весь этот мусор, вот почему улицы, на первый взгляд чистые, сказал оппенхаймер, поглядывая через закрытые ставни окна, так как все ставни всех окон в том городе, как и во многих других,

были закрыты, запечатаны, черны, покрыты паутиной, непроглядны.

лишь изредка запах бензина пробирается в неуклюжие комнаты с влажными стенами.

**

кранц, таким какм мы его помним, всегда называл себя анти-теистом, что означает, что он признавал бога, но считал его глистой и порицателем.

скажем, предполагал кранц вслух, бог существует, что это, в таком случае, в первую очередь говорит нам о нём? все эти опустошения, которые он допускает, всё то зло, которые мы в полной мере и без остатка связываем с собственным существованием, те мучения, в которых сгораем до последней косточки, о чём нам это всё говорит, если такой-то и такой-то бог есть? не указывают ли нам эти опустошения, это зло и эти мучения на всего две реальные опции, предполагал далее кранц, первая, что этот самый бог не представляет из себя ничего кроме неумелого бездаря, у которого всё вышло из-под контроля или же, вторая опция, что бог есть обыденный садист, которого бы мы, будь он человеком, тут же упрятали в дом для с ума сошедших, в тюрьму или же отправили на гильотину, чтобы не тратить на такое ничтожество даже хотя бы одну пулю? значит, предполагал кранц, если взять в качестве здорового смысла, что бог существует, тогда мы можем говорить только об исключительном халтурщике или об обыденном садисте, который, а для этого достаточно посмотреть на историю людских опустошений, людского зла и людских мучений, лишён какого бы то ни было эстетического начала, словно среднестатистический ненавистник, наибанальнейший ненавистник всего того, что красиво.

если это и есть ваш так называемый бог, рассуждал кранц, тогда и я верю в него и ненавижу и презираю этого и такого бога до крайних границ всех ресурсов, доступных моему бытию, как, случалось, вспыхнул бы кранц, чья природа, обычно, бывала значительно более смиренной, склонной к тени, до тех пор пока в разговор не сворачивал в сторону вопросов о боге, по отношению к которому кранц не испытывал ничего кроме ненависти, какую заслуживают лишь исключительные ничтожества и обыденные садисты, лишённые какого-либо эстетического начала.

этот старый мастер, который дрожащими руками, ведомыми, в конце концов, паркинсоном, изъеденными трупны-

ми пятнами, этот обломок виртуоза, который наслаждается славой китч-пейзажей, созданных в незапамятные времена, не способный придать уничтожениям хотя бы чуточку красоты, раз уж он безволен им воспрепятствовать, вот это такой бог, это существо вне всяких видов, которое всё ещё не подохло со стыда.

**

хонигманн, впоследствии своей упёртости и в своей изоляции, проводя многие зимы в слабо разогретом доме, так как хонигманн, был не только упёртым, но и, в первую очередь, всё-таки был изолирован, окружён землёй, которая столетиями принадлежала его славным предкам, чья слава, воздвигнутая в форме неопровержимых, безвкусно страстных пересказов, запечатлённая на портретах маслом, которыми были забиты все стены единственного свидетеля этих чудес, этого дома, где хонигманн грелся, сжигая всю славу своей семьи, снимая усатые лица своих предков со стен и бросая их в огонь, занимаясь написанием своих книг, которые, всё же, были славой неких других людей, впрочем, тех, которые никакие кровные связи с ним не имели. и не было достаточно сморщенных, строгих усатых лиц (которые в своих гробах, ужасающей силой некой больной воли впиханных внутрь одной, роскошной семейной капеллы, разлагаются веками и декадами), которые в гуще собственной тесноты мешались настолько, что превратились в одну огромную галиматью, одно вонючее пятно в грудной клетке дома хонигманна, где и его собственное лицо, разрядителем времени, таяло и беспомощно сливалось, на самом деле, попросту исчезая. и не было достаточно ничуть не менее сгнивших писателей, с которыми хонигманн разделял свои книги. и не было достаточно холода, чтобы упёртость хонигманна смягчилась, а изоляция хонигманна разбилась, отправляя его к этим новым, всё ещё живым, наморщенным, строгим усатым лицам, которые на своих свежеобретённых землях только-только творят славу своих семей, которые будут, а на этот счёт не следовало бы и сомневаться, наряду с устными преданиями, поддержаны если не масляными, то уж точно фотографическими, портретами.

**

надя никогда не использовала костыли, так как не выходила из дома, вообще не двигалась, она лишь сидела на софе, сидела перед пианино, сидела у окна, ненавидя выходить, но ненавидя и одиночество, так как не умела сама с собой. с тех пор как паннекук был вынужден ходить на свою выдуманную работу, она была полностью предоставлена себе самой, предоставлена бетховену, которого из-за этого забросила, ей было невыносимо оставаться наедине с бетховеном.

тогда появился оппенхаймер, который идеально своим телом, а, тем самым, и своим присутствием, заполнял дыру столь необходимого присутствия. ей было с кем разговаривать, кому играть бетховена, который вновь появился в той комнате, может даже и ещё более красивый, более живой, игривый.

оппенхаймер не просил, чтобы она играла ему сати или шопена, хоть он и, как и паннекук, больше любил сати и шопена, чем бетховена, больше любил, чем, практически, кого бы то ни было.

оппенхаймер не просил её играть ему сати или шопена, чтобы, по своим причинам, хватать её в незнании, которым в наде бетховен был огранён.

оппенхаймер закрывал один глаз на то, что у нади была одна нога.

она не понимала его номера, но ведь это был удел лишь одного оппенхаймера, в противном случае эти номера не назывались бы номерами оппенхаймера. он не понимал её любовь к жизни, ничем не вызванную, путал этот страх от раздумий (неизбежных в одиночестве, которого она боялась) с храбростью и способностью превосходить. превосходить что, кого? превосходить всё.

**

хонигманн мёрз и, логикой порядка вещей, оказался в больнице с воспалением лёгких, с умирающим от рака лёгких молодым мужчиной на соседней койке, который очень громко дышал, если это можно так назвать, ведь не дышал, а умирал, а то, что он с воздухом делал, напрягая свои истраченные лёгкие, было всего лишь напоминанием о присутствии, которое угасало. хонигманн, чего уж там, испугался, предположив, что его поместили на онкологию, так как у него и самого рак, может быть его лёгкие ничуть не менее сдали, только ему самому об этом ещё не сообщили; может, в таких случаях как его, таким списанным личностям — с их

изношенными, раком выеденными внутренностями — как он сам, даже и не сообщают, что у них такая-то и такая-то смертельная стигма, что всё зашло столько-то и столько-то далеко, а, просто, кладут в кровать, где их и оставляют умирать в тихом ужасе приближающегося осознания?

в случае хонигманна оказалось что на деле, всё же, всего лишь воспаление лёгких, но молодой мужчина с кровати рядом и впрямь умирает от рака лёгких, но убьёт его, по сути, химиотерапия, убьют его лекарства, убьют его, в конце концов, врачи, не болезнь, а именно врачи, которые его, как свой неудачный эксперимент, отпечаток своей некомпетентности, спрячут среди тех, которые в холоде, а никогда больше не получат воспаление лёгких, тогда как хонигманна уберут с онкологии и спрячут среди тех случаев, которых им только, потенциально, предстоит загубить.

**

непроходимость коровьей грусти: раз — и навсегда, до тех пор, пока через черепушку не промчится опустошение пневматического ружья.

как грустит человек, этот сам себе опустошитель, но чтобы это не выглядело смешно, раз уж всё, что бы он ни творил, в своей дубинной сути, на своей поверхности, осуждено быть смешным, ввиду своей преходящей природы, преходящей, словно смех?

**

не взирая на то, что, как это говорится, всем известно, и, можно так сказать, факт, что не существует прямая линия поездов (ни одна единственная) между *этим* и *тем* местом, на кассе поставленный вопрос о прямой линии поездов из *этого* до *того* места ведёт к ответу о не существовании чего-то в таком роде, ответу столь вымученному и, так сказать, в соответствии с долгом службы, что за собой несёт пояснение, как, всё же, прибыть в то место, с оговоркой на то, что, конечно, такое путешествие подразумевает пересадку в совсем невзрачном месте, откуда, через ровно три остановки, надо пересесть ещё раз, вплоть до места, которое, может, до сих пор было абсолютно неизвестно, где, между прочим, существует линия прямо до *того* места, а целая эта поездка, если суммировать, занимает семь с половиной часов, вместо трёх часов и пятнадцати минут, сколько требовалось бы выделить, если бы существовала прямая линия поездов между *этим* и *тем* местом.

**

такси въезжает в город, где всё выглядит отвратительно уже на первый взгляд (такое иногда случается), где любой более глубинный анализ вёл бы всевозможным последующим разочарованиям — если бы этому всему вообще приступалось с непростительной наивностью — чья цепочка может быть разбита только в то мгновение, когда, по правилу, становится абсолютнейше всё равно, хоть дискомфорт и переносится, тем самым, в область тех, известных как ожидания, а, перво-наперво, вопросов, для чего они вообще нужны, и, в первую очередь, откуда вообще берутся, словно все те лекции из прошлого, многократно повторённые, не были поняты вообще.

вкратце, город, который даже выглядит вывернутым наизнанку, оголённым до непристойности.

**

сестра паннекука осталась без одной ноги, когда наступила, будучи ещё совсем невинным существом, на ржавый гвоздь, после чего, невнимательностью, одна её нога была ампутирована вплоть до колена.

сестра паннекука осталась с одной ногой, когда наступила, будучи ещё совсем невинным существом, на ржавый гвоздь.

**

уже когда мы знали, что он подошёл под свой конец, кранц начал использовать свою огромную записную книжку, в которую когда-то записывал поэзию, для вписывания одного предложения, которое, незадолго перед своей смертью, вписывал на каждые пять минут, переписывая её поверх других, таких же предложений, до тех пор, пока листы страниц не почернели, схоронив и то предложение, которое для кранца тогда было единственным, а, тем самым, и последним, схоронив и стихотворения, которые кранц усердно записывал, и которые никогда не менял, не трогал их.

7:00 встал, началась война
7:05 встал, началась война
7:10 встал, началась война
7:15 встал, началась война
7:20 встал, началась война
7:25 встал, началась война
7:30 встал, началась война

**

сестра паннекука никогда не верила в него и его живопись, лишь изредка она претворялась, будто некоторую надежду полагает в паннекука и его живопись, хоть по истине её интересовали лишь деньги, так как денег у неё не было, как и, впрочем, ноги, но так как ногу она не могла обрести, в отличие от денег, этому второму она и посвятила всё своё внимание, всё своё желание.

не то что бы вдруг, но она, неумолимо, отказывалась больше ждать, пока они заработают что-либо от продажи его картин, так как она, по сути, никогда и не верила в паннекука и его живопись, в равной степени не веря как в самого паннекука как такового, как и в его живопись, она начала заставлять своего брата, когда подворачивалась первая такая возможность, изнурённая от игры на пианино, включая и выключая разноцветные лампочки, она заставляла, всё чаще и чаще, усерднее и усерднее, своего брата найти работу и заработать деньги, добавляя к слову *деньги* — каждый раз, будто эта комбинация единственная из ней знакомых, единственная, быть может, из тех, которые функционируют, та, правильная, которая попадает туда, куда надо — *в конце-то концов*.

**

любой музыкальный автомат в том скользком городе имел пластинку под названием «*полька мировой пресыщенности*».

**

паннекук никогда не занимался работой, про которую люди могли бы сказать, что это работа, то есть, что паннекук работает. всегда говорится, что паннекук выделывается или паннекук занимается тем-то и тем-то, но никогда не говорится, что паннекук работает, так как в делах, которыми занят паннекук нет места тому, что люди называют трудом, а, в особенности, честным трудом.

паннекук именно поэтому и наврал, сказав своей сестре, что нашёл работу, что он теперь занимается честным трудом, а затем врал, что честно трудится, на работе, что деньги, которые он зарабатывает, ничуть не менее честные, вскоре в их жизнь привнесёт, а она радовалась этому будущему, как будто разговор идёт о ребёнке, как будто её воля и старания относительно будущего оплодотворили несчастного

и ни на что не годного паннекука, только и остаётся что ждать результат этого чуда творения.

итак, паннекук, без каких-либо денег в кармане, выходил по утрам на свою несуществующую работу, оставляя свою довольную сестру, которая просыпалась когда и он, для того, чтобы махать брату с окна, провожая его на работу, забрасывая его поддержкой, подтверждением её понимания этой необходимой жертвы, которую, однако, в её голове принесли они оба, паннекук — расставшись со своими, в реальности никак не обоснованными надеждами, а она — лишь ей самой известно, кому и что она пожертвовала, убеждённая, всё же, что всей этой миссии они приступили как равноправные партнёры.

**

рабочее время паннекука состоялось из простейшего, ничем не опосредованного, рассматривания людей, занятых трудом, чаще всего физическим, тяжёлым, тем, который ломает позвоночник и под чьим грузом проваливаешься сквозь землю, забиваешься в землю, словно флажок, белый флажок, вопящий об очередном поражении, всеобщей человеческой капитуляции.

паннекук размышляет, рассматривая, а в этом рассматривании размышляет лишь об одном, точнее, по сути, стараясь всё время ответить на вопрос, который вертится вокруг того, были ли все эти люди, которые перед ним скрипят позвонками, лопают хрящами, дробят зуб о зуб от напора, были ли все они так же, как и он, когда-то заставлены пойти на это предательство своими сёстрами. он пытается представить всех этих сестёр, от первой до последней — деформированные, одноногие, выстроенные в идеально ровной колонне из соф с пальмами, разноцветными лампочками, бетховеном, тышиной после бетховена.

паннекук ясно видит ступни, сестринские ступни, которые топчут всякий из возможных идеалов, вдавливая его в землю, словно флажок, чей цвет бесконечно бел, так же, как и эти самые ступни, так же, как и лица их владелиц, словно, если суммировать, и само будущее.

**

опухоль кранца была велика как ночь.

**

только одно представление показывалось там, а на которое никто не ходил, так как это было даже и не представление на которое можно пойти, оно и не игралось, как играются представления, не играясь даже и не в каком-то театре, а где-либо; представление, которое, просто, существовало, а своим фактом существования обессмысливало концепт собственного посещения, это представление называлось «*круг: террор*», а называется так и до сих пор, и будет так называться, пока есть люди.

если бы кто-нибудь всё же сходил на то представление, а каждый, во всяком случае, в том или ином виде на это представление сходит, то он увидел бы спуск, по которому дикий силуэт торкает огромный чёрный куб, пока в качестве фона разворачивается смерть дня в голубизне неба, и этот силуэт смеётся, показывая ровные и белые зубы, которые только и можно с уверенностью распознать.

а внизу, пляж, успокаивающие волны, так как волны успокаивают, так как так сказано, так как это всем известно, всем известно, что волны успокаивают, иногда даже можно услышать, как кто-то говорит, что как раз его какая-то волна успокоила, из-за чего он, сейчас уже спокойный, смиренный, ходит и знает истину, а истина такова — волны успокаивают, вот такие волны и пенятся здесь, обмачивают пляж, выбрасывают детей, детишек, старцев, желатиновых и хорошо сохранившихся, трупы, разложившиеся и свежие, а камус, назовём его камусом, хоть его имя и не играет никакой роли в целой истории, более того, крайне пагубно называть его как-либо, пагубно и зло; и, вот этот, пусть будет камус, из револьвера, который светится в полумраке, когда камус подносит его к лицу, смеясь такими ровными, такими белыми зубами, а затем, затем он стреляет в каждого, кого волны выблёвывают на пляж, не говоря при этом ни единого слова, так как это, и впрямь, было бы излишне, а в представлении «*круг: террор*» нет ничего лишнего, здесь всё как есть.

и все смотрели «*круг: террор*», и всем было смешно.

**

красоту и любовь убили мы из простой забавы, так как ничего нет легче на этом свете, чем убийство красоты и любви; и тут кранц встал, обронив стул, на котором сидел, крича так, как не кричал никогда доселе, как никогда более не будет кричать:

оставьте в покое слова! оставьте их, все эти души и ловушки, и бога с ними в придачу, и луну, обоссаную по чистому небу ночи!

кранц, это ружьё с заедающим механизмом, которое изредка, так редко, взрывалось вспышкой красивых слов.

**

хотя оппенхаймер и не был каким бы то ни было писателем, как, может, сказали бы многие, никаким писателем не был и хонигманн, как, вообще, ни оппенхаймер, а ни хонигманн многим не были, у оппенхаймера всё же была настоящая страсть, горячее влечение к эпистолярному жанру, отправлению, получению, чтению даже и чужих писем, которые он крал прямо из почтовых сундучков по целому городу, протыканию пневматических труб, прислушиванию к телеграфным столбам.

оппенхаймер, среди прчего, писал, как это умеют назвать многие нам хорошо известные умы, словно ногами, а страдал и дислексией, чтобы, под конец, ослепнуть, оставленный наедине с номерами, в мире звуков и запахов. во время тех месяцев оппенхаймер больше не крал, не писал и не читал ни свои, а ни чужие письма. он обнюхивал их, мимоходом прислушался бы на пару секунд к какому-нибудь телеграфному столбу, почувствовал пневматическую трубу, завороженный единственным, что у него осталось, высчитыванием того *навсегда*, которое ему оставил кранц.

**

женщина, которой кранц советовал нам *самоубийственно* посвятить себя звалась надя.

красивая и холодная, холодная и красивая, красивая и холодная, холодная и красивая, красивая и холодная, холодная и красивая, она была красивой и холодной такой холодностью, которая не имеет представления о своём существовании, распознавая себя лишь как что-то совершенно нормальное, ничего особенное, а всё же, по природе вещей, не способная любить, настоящая бодлеровская женщина-труп, к которой можно было уже лишь подойти достаточно близко, чтобы мучения становились невыносимыми, и это даже не включая воображение.

надя, меж тем, совершенно точно не понимала, чему она смеётся, но делала это весьма наивно, интуитивно, так что её красивое лицо кривилось в невероятно глупой манере, а её маленький лоб сжимался в наиглупейшей манере.

если жизнь — всего лишь издевательство смерти над безумием наших будущих трупов, тогда смех нади был, так же, где-то рядом, лишён суровости, но лишён и милосердия, лишён смысла, а, всё же, ясно подчёркивающий некое присутствие. и не смеялась она только когда играла бетховена и только в тишине после бетховена её смеха не было, и эти, вот эти самые мгновения, как раз они, и делали из неё чудовище одного разума, который сам себя не осознал.

**

а ошибки свои вновь повторяли мы вновь и вновь, практически методично-педантичные, чтобы эти самые ошибки, случайно или нет, не забыли, так как это воспрепятствовало бы нам на них учиться.

**

кранц, являясь самым старшим из нас, единственный помнил послевоенные годы, застал первые годы после войны, которые появлялись в его голосе дрожью, каждый раз, когда он выпивал больше, чем мог осилить, всё же — силой воли или привычки, которую называют воспитанием — сдержанный, в конце концов всё-таки как-то неуклюже сдержанный.

кранц тогда рассказывал о самых разных изумительных ужасов, об отуплении надеждой, рождённой из соития животного экстаза между неким освобождением и некой победой. чаще всего он вспоминал одного молодого человека, который до войны работал в качестве подмастерья у обувщика, а который на войне остался без целой нижней челюсти, молодой человек, у которого язык свисал, подобно галстуку, молодой человек, который не скрывал этот свой орден, гордый, но бесконечно грустный, грустный, что эту свою гордость победителя, ведь он и сам был победителем, не мог ни коим образом сообщить другим, даже тем, которые не отворачивались или переходили улицу, увидев его. без голоса, не грамотный, лишённый слова как такового, он всего лишь жаждал объявить о своей победе, этой маленькой, но драгоценной для него, маленькой победе внутри большой, которую ведь все узнавали, эту большую победу, которую все знали, а для его, маленькой, у них просто не хватило слуха. почему же, скажем, он не попытался нарисовать то, что в нём происходило, анализировал кранц, да как почему, этот молодой человек, просто-напросто, не имел никакого воображения,

не того, которое требуется для рисования, а того, которое требуется для того, чтобы додуматься до такого решения.

здесь, проще говоря, ни у кого нет воображения, делал вывод кранц, здесь воображение — оскорбление для того, у кого оно есть. лучше быть мёртвым.

**

один из тех учёных людей говорил нам о том, что когда-то по земле ходили гигантские чудовища, ужасные, немыслимые существа, достигавшие в высоту и до сорока локтей, они были суверенными властителями того мира, хладнокровными тиранами.

ничего, выходит, не изменилось, только чудовища уменьшились в своих размерах.

**

если люди не пожелают учиться моему умению предсказывать будущее (а это уже случилось в нескольких местах, меж тамошними людьми мысли), то этому искусству я буду обучать коней, как говорил переваренный безумием кранц, извиваясь в своих последних днях.

**

часто случалось, что хонигманн разговаривал сам с собой, сокращая таким образом свою жизнь часами и часами неисчерпаемых бесед о своей упрощённой философии, и если суммировать, никто из них двоих мог за всё это время ничего умного ни сказать, а можно и предположить, что, даже и умного ничего не подумать мог.

в этом как раз и можно заметить преимущества упрощённой философии хонигманна, так как здесь все философы, но только хонигманн упрощённый философ или философ упрощения.

**

существует один путь, который следует пройти, и этот путь надо пройти, но путника нет. все действия совершаются, но нет того, кто их совершает,

записал хонигманн в одной из *своих* книг.

**

без сомнений — бог есть женщина, ведь как иначе объяснить, что, не взирая на все свинства, которые от бога при-

ходится терпеть, всегда найдутся дураки, которые этого и такого бога будут идеализировать.

в связи с этим, оппенхаймер просто дурак, при этом ещё и слепой, теперь уже всё это вместе взятое, но в прошедшем времени.

**

имел место быть крайне длинный период времени, когда паннекук портретировал людей в виде стульев, что, конечно же, если разобраться как надо, было последствием одной подростковой травмы, которой он долгое время сопротивлялся, и из-за сопротивления которой практически и безвозвратно не сгорел.

эти работы числятся между его лучшими, если и не впрямь самыми лучшими, и висят они в гостиничных коридорах и смешных кафе, висят надя, кранц, оппенхаймер, хонигманн, вне сомнений, incognito.

может быть, в некой забитой вещами гостиной комнате некой семьи из неизвестного города на гвозде скривился отец хонигманна, может, даже, и не в виде стула, но, которого, совершенно точно, старость гложет, словно кость, в позолоченной безвкусной раме под названием *жизнь*.

**

в целом, мы есть ничто другое как узники открытых пространств,

случалось говорил хонигманн. он часто это повторял, перед тем как исчез, в любой ситуации, удачной или же не особо, если подумать, что-то такое хонигманн говорил.

**

единственная причина, по которой мы не отправили кранца в дом для с ума сошедших — а он годился для него, в это не стоит и сомневаться, особенно в те собачьи дни — заключалась в том, что ни у кого из нас не хватило бы храбрости потом пойти к нему *туда*, посетить его *там*, ведь и сами мы ничуть не меньше заслуживаем, чтобы нас заперли в доме для с ума сошедших, чтобы нас в каком-нибудь доме для с ума сошедших похоронили, как хонигманн, что бы он там ни думал о своей *нормальности*, почувствовав что-то в связи с собой, самого себя самым строгим образом изолировал,

сказал оппенхаймер.

**

и вот, кранц каждого утра просыпался тем же образом, что и в тот день, когда началась война, а когда жизнь кранца только-только начиналась, и для него уже больше никакое другое время не существовало, да и, судя по всему, уже никогда не будет и существовать, только вот трудно с точностью предположить, являлось ли полное и конечное непонимание этого состояния со стороны самого кранца чем-то вроде лёгкого снисхождения, полученного из ниоткуда, без какого-либо намерения под собой, или же это было самое что ни на есть настоящее проклятие, какое все мы на себе имеем, которое, в наших собственных случаях, нам просто не понятно и не знакомо.

каждое утро жизни кранца перед его концовкой состоялось из двух начал: начала войны и начала жизни, когда ребёнок выходит на балкон и смотрит, как бомбы падают на соседние здания и рушат их, а этот ребёнок чуть ли не молоко с губ вытирает, только вот и бомбы уже не падают, да и ребёнка давно как нет, и мрак наступил, непроглядный, словно сам конец уже случился.

**

оппенхаймер, полность, так сказать, потеряв голову, как он сам твердил, практически безвозвратно потеряв эту свою голову из-за нади, однажды отправился на городской праздник, который, как и все города, а в особенности этот, как и все праздники, а в особенности этот, глубинно презирал, и где, вместо нади, которую он там не мог увидеть, понимая, что там, что, где-либо, кроме её с паннекуком квартиры, он надю не мог увидеть, встретил человека, который настолько был на него похож, что оппенхаймер испугался возможности, что, если его двойник его заметит, весь этот случай станет излишне запутан, и никто уже из них двоих не сможет сказать кто есть тот, настоящий, у кого хранится право быть тем самым настоящим, ведь пока оппенхаймеру единственному известно существование того, что мы — а как выражался и он сам — назвали ими двумя, как раз ему и принадлежала эта привилегия и мощь определять кто есть настоящий и единственный, а кто — нет.

так, практически забыв про надю, он бежал, но определённые осознания служили ему определённым утешением.

если бы двойник оппенхаймера появился на похоронах, конечно же, не званым гостем, считалось бы, что он просто туда забрёл, в связи с чем, его нельзя было бы брать в рас-

чёт, хоть его никто и не заметил бы, так что никто и не засчитал бы его как одного из присутствовавших, а, в особенности, и не не-засчитал.

этот двойник оппенхаймера прибыл бы на такси, он был бы выдуман, как будто ничего не понял, что, без сомнений, лучше, чем понять всё, что, в общем и в целом, обычное разыгрывание дурака.

**

никто не умирает в городе, где никто и не живёт, а кладбища переполнены, так что ни жанна д'арк, быть может, там не сожжена, которая свою невинность подарила ослу, а не красивому датчанину — не мертва, а ни свинолицый мартин лютер, который, быть может, родился и скончался в этом уродливом месте — в той же степени вовсе и не мёртв.

и нет там, а это можно заметить из такси, это видно из, если вам угодно, даже самолёта, ничего случайного, вывихнутого, непристойного — в том смысле этого слова, в котором его эти, выглядывающие из грязи мясники, понимают — там не создаются ситуации без будущего, так как там всё перегружено прошлым, которое они не только не понимают, но и такое желание у них и не появлялось, и никому более не было ясно, где заканчивается прошлое, а начинается будущее, более того, где вообще вот этот самый момент, вот этот, который уже сейчас, очевидно, не особо важный, как и всё, что нельзя напихать в задницу или живот или наоборот, или всё, что не звенит как сладкая мука материального изобилия, которое даже и не тратится, так как нет в том месте воображения ни в три гроша ценой.

и улицы пусты, без животных, без людей, в особенности без людей, для которых комната — единственный дом, а солнце — лампа, а лето — покрывало, и *в-своём-доме-оставание* там не акт альтруизма, милость по отношению к себе и другим, но лишь единственное связующее с реальным, единственная — для них — возможность, чтобы в своих влажных стенах и почерневших окнах и улицах с бензиновыми лужами, смердящими бензиновыми ловушками, и разбитыми витринами и украденными витражами шагалла, какую-никакую реальность прожить, ведомые мыслью, что сны не истинны, в отличие от посрать в постель.

**

хонигманн, этот *нормальный*, после одного из путешествий по миру, вернулся назад с убеждённостью, что больше никогда и никуда из своего дома не выйдет, наняв девочку, жившую по соседству, чтобы она вместо него ходила за продуктами и всем необходимым и приносила всё это на каждый третий день, с одним лишь условием, что они никогда не должны встречаться лицом к лицу, так что она оставляла продукты и всё необходимое перед его дверьми около полночи, чтобы избежать всякую вероятность увидеться или же быть увиденными, хотя бы даже мимолётом. что же всё же случилось с хонигманном в *том* путешествии — этого никто и никогда не узнал, никто и никогда даже и не пытался этого узнать, ввиду рискованности такой затеи, ведь гнев хонигманна умел быть прожорливым как огонь, которому он и приносил все *свои* рукописи в течение холодных зим его беспощадной изоляции. только друзья посещали хонигманна, который, вернувшись из *того* путешествия, со всеми силами набросился, воодушевлённый и сконцентрированный, на свою упрощённую философию, которую никому не представлял, кроме, разве что, детальных, сухих описаний условий, связанных с этой его философией, коим образом он, как казалось, пытался сотворить определённый аромат, без которого он не мог, без которого он и не существовал бы, практически всеми способами стёртый из рутины жизни. его существование отрицали многие, хонигманн стал чем-то вроде мифа или слуха, который, при этом, никому и не интересен.

существование в глазах смотрящего, а в случае с хонигманном, не считая кранца, оппенхаймера и паннекука с соседской девочкой в придачу, которая, всё же, самого хонигманна никогда не видела, его личность была лишена всякого внимания, вне досягаемости, странная и по этой причине чуждая, отрицаемая незаинтересованностью. умер кранц, и вот лишь оппенхаймер и паннекук слушали обо всём том, что окружало упрощённую философию хонигманна, не зная тогда, как и сейчас, что она вообще из себя представляет. затем с собой покончил оппенхаймер, оставив хонигманна и паннекука мёрзнуть вдвоём, чаще всего, в полной тишине, так как хонигманн к тому времени больше и не напоминал о своей упрощённой философии, вероятно, ею, если это вообще когда-либо был случай, больше и не занимаясь.

перед похоронами оппенхаймера хонигманн исчез, он исчез до того, как остался без своего последнего свидетеля,

паннекука, не дожидаясь, пока останется и без паннекука, хонигманн исчез, тем самым, в своём искусстве исчезать достигнув потолок, пробив его и претворившись — будь он всё ещё жив, что бы то ни значило — в то, что непременно следует каждом, но в чём не каждый способен стать так называемым виртуозом.

**

паннекук опасается: что может произойти, когда его сестра больше не пожелает, *неумолимо* не пожелает слушать ложь о том, что зарплата опаздывает, так как зарплаты в прекрасном будущем не опаздывают, так как это в каждом аспекте противно светлой сути прекрасного будущего.

**

надя сказала, что *никто не виноват*
(впрочем,
как и всегда,
не так ли?)

**

оппенхаймер включил в квартире газ, так как оппенхаймер не умел рисковать, даже когда он запихивал голову верёвке в рот — он не желал оставить жизни шанс в виде случайности.

оппенхаймер, даже будучи слепым, смог повеситься, что у него уж точно не получилось бы, не будь он беспросветно слеп, если мы, конечно, не ошибаемся, он смог бы это совершить, будучи принуждённым *смотреть*, нет никаких сомнений, что в такой ситуации он выбрал бы, скорее, газ.

поэтому, петля была для слепого оппенхаймера, а газ для того оппенхаймера, который когда-то существовал, который надумал, что что-то и впрямь видит.

**

паннекук не знал, что оппенхаймер приходит к наде, пока его там нет, когда он оказывается на своей выдуманной работе, а оппенхаймер боялся ему сказать, а надя об этом даже и не думала, тем более, что она сама и покончила с тем, что было между ней и оппенхаймером, отправив его в петлю, слепого.

может, как раз она и знала, где находится последняя точка в круге жизни?

паннекук пересказал наде сон, в котором видел мёртвого оппенхаймера со шрамом от петли на шее; руки его находились в карманах штанов, рубашка была застёгнута до верхней пуговицы, с галстуком, на первый взгляд он казался спокойным и собранным, опрятным, хоть он и был обут в лишь один ботинок. на глазах его были монетки в один грош, как вдруг, сказал паннекук, нижняя челюсть оппенхаймера открылась, словно он хотел что-то сказать, и изо рта у него вывалился язык и упал на пол.

**

паннекук и надя как крысы, чьи хвосты сплелись, крысы, которые покушают в таком виде продолжать и дальше, хоть и не понимая — продолжать что; безвольные, лишённые того импульса освобождения, даже если бы ради этого пришлось порвать хвосты, вырвать их друг другу. и так, им привиделось движение: ему — самому не понятно куда, а ей — в прекрасное будущее.

**

-глупые лица, жёлтая дубинка,
моя милиция меня охраняет…
-уродливая церковь, мёртвый зуб…
-здесь скоро никого не будет…
-и пёс наестся псом…
-когда придут хорошие деньки…
пели дети, каждый своё, встав в полукруг.

в разрытой мощеной улице, рядом с церквушкой — в которой, некогда, как принято верить, витражи были расписаны лично марком шагаллом — одного мужчину закопали до бороды в тротуар.

всем было запрещено к нему подходить, поить его, кормить, разговаривать с ним, было разрешено лишь молиться за его душу.

его голову побрили до голой кожи.

её покрыли куском кожи какого-то животного.

это значит, что его волосы начнут прорастать внутрь головы, не смогут расти снаружи, им придётся расти вовнутрь.

волосы сплетутся с мозгом, стирая все воспоминания.

и он умрёт, без воспоминаний о своей жизни, без своей жизни, которая, оказывается, ни с кем и не приключилась.

**

хонигманн рассказывал как, поступив в больницу с воспалением лёгких, заброшенный на онкологию, а перемещённый после определённого времени к тем, на первый взгляд, менее безнадёжным случаям, он попал в руки докторов, которые вновь и вновь повторяли своё желание его *открыть*, говорили ему, что лучше всего в любой ситуации *открыть* пациента, ничего не может плохого случиться, если *открыть* пациента, нет ничего плохого в том, чтобы открыть пациента, многих они и открывали, многие, восхищенные, предавали свои тела в руки *открывателям*, веря, что предают свои тела в руки науке, тогда как никакой науки там не было, нет и не будет, а затем, рассказывал хонигманн, начинались рассказы об охоте, все доктора стреляли в животных и с большим рвением рассказывали об этом каждому, кто ещё не оглох или умер; выплёскивали свои приключения с охоты тем, которые были в коме, тем, у которых трубки торчали из всего тела, тем, которые были в гипсе; отравляли своими байками с охоты тех, что были на онкологии, вне всяких сомнений, в надежде, что, однажды, божьим или людским законом, получат возможность стрелять и в людей.

**

такси останавливается у кладбища, из которого торчит церквушка, вспарывая своим шпилем небо, которые серыми кудрями спустилось ниже, желая получше увидеть, что же собираются класть в единственную свежую яму, конечно, если бы всё это не было обычной выдумкой, несколько строк, вместо одной слезы, так как слеза никогда не бывает одна, только в кино, наверное, где шпили церквушек всё ещё могут вспарывать небо или сердце или душу. тут же, если дождь не предвидится, не взирая на эти облака, тяжело будет представить хотя бы одно лицо — среди немногочисленных присутствующих лиц — сколь-нибудь влажным, а затем уже, сморщенным, впитавшим влагу, смешным.

из сонной вони внутренности такси, которая, вместе с этим самым такси, отправляется назад, или куда там иду такси, когда нам не важно, в вонь вековой сонности и сгнившей травы.

ни паннекук, сломленный, верный всем, кого любит в той мере, в какой только вообще и можно быть верным в мире, где любим и ненавидим столь переменчиво, а что, судя по всему, и называем той любовью, в которую даже верят,

ни надя, и это никак не связано с тем, что она, суммируя, всего-навсего женщина-труп и ничего больше, обычная женщина-труп,

ни хонигманн, который исчез (по чему его исчезновение отличается от исчезновения кранца или оппенхаймера, разве он заслуживает, что ему соорудили кенотаф?),

не появились у гроба оппенхаймера.

здесь лишь его (а в той же самой мере могла бы быть всеобщей или ничьей, если уж не из-за того, что было, так уж тогда из-за вот это сейчас) мать, ссохшаяся и живая лишь в сравнении со своим сыном (как, впрочем, и все матери, всегда почему-то более живые, чем их сыновья), но так же и священник, толстый и румяный, страдающий, судя по всему, серьёзными проблемами с сердцем. священник здесь в качестве доказательства об уважении к порядку вещей. мать решила отдать дань церкви и тому, как заведено, а не последней воле своего сына, так как оппенхаймер верил в номера, а не в бога, церковь, священника или порядок вещей.

и так, когда гроб плюхнется о дно ямы — а уже начал моросить дождик — мать согнётся, соберёт немного влажной земли и бросит, едва добросит, прямо в дыру, где с того момента будет находится её сын — всё ещё со шрамом на шее — из-за чего священник от всего своего слабого сердца громко смеётся, так как мать глуха, не только это, но первонаперво глуха, и ничего не слышит, ни смех священника, ни пожелание своего сына, чтобы этот священник тут не стоял. и если бы мать могла услышать, не смех, не желание своего сына (это, впрочем, никогда ей особо не удавалось), но слабое сердце, которое бьётся — если застыть, замереть в тишине — весьма громко, более того, громче дождя, который долбится в крышку гроба, громче церковных колоколов, громе чем, в конце концов, земли, которая скоро начнёт падать по её сыну, пока двое сгорбленных мужчин не закопают его по шею, на которой всё ещё шрам, по макушку, которые лопатами будут пихать ему землю в нос, в уши, в глаза, в волосы, которые наполнят его землёй как препарированного кролика.

но мать ничего из этого не услышит, даже звон, так как она глуха.

**

мы знаем про тишину после бетховена, нам знакома тишина после бетховена.

но какая тишина наступает после кранца, оппенхаймера и хонигманна?

сумеем ли мы её распознать?

**

повсюду снег и нам становится холодно, приятно встать меж этих двух деревьев, ведь эти два дерева идеально расположены в пространстве, когда мы оказываемся между ними, нас не продувает ветер, а здесь два дерева, столь высокие, столь широкие, они нас защищают, но нам нельзя останавливаться, нам надо продолжать идти, так как у нас нет цели, а это значит, что нельзя просто стоять, надо двигаться, чтобы эту цель найти, и спать хочется всё больше, это вовсе не помогает в решении не останавливаться и не спать, но мы всё же каким-то образом продолжаем идти дальше, хоть чувство движения и потерянно, и вот уже каждую кость, косточку облизывает страх (или это холод?), что мы, на самом деле, лежим, не ходим, не стоим, не сидим, а лежим, а тогда в белой дали, ведь всё здесь пронзительно-бело, кроме тех двух деревьев, которые так идеально расположены в пространстве, но которых уже больше и не видно из-за падающего снега, который хочет пробраться в глаза, так как внутри черепа столь тепло, а все ледяные хлопья хотят, чтобы им было тепло, как и все мы этого жаждем, разве нет, и появляются в белой дали, которая, по сути вещей, хочет войти в нас и быть нами, топтать нас изнутри тем же способом, что мы топчем её снаружи, появляются чёрные фигуры, прямоугольники с ногами и хвостами, если эти ноги и эти хвосты мы не выдумали, ввиду того, что прямоугольники без чего-либо ещё нам кажутся просто бессмысленными, а пока мы вот так размышляем, уд, набухший уже давно, просто мы этого не заметили, и ясно, что он давно уже ожил, так как твёрд и громаден, продолжая расти и крепчать, и мы расстёгиваем штаны, ведь ему не комфортно, ведь он требует расширения области своего существования, и мы ему это разрешаем, не чувствуя больше ничего, кроме него, ведь теперь лишь только он для нас имеет значение, ведь нет больше холода, и сна нет больше даже, только он остался, а прямоугольники, пусть останется, что у них есть ноги и хвосты, подходят ближе, и уд, становясь больше, всё ближе к ним, и, словно, стремится к ним, устремляется к ним на встречу и дотрагивается до них, сколько их, несомненно более десяти, трудно сказать, так как снег всё ещё хочет забраться в нас и топтать нас, внутри нас он не таял бы, затем, вдруг, чувст-

вуем, как прямоугольники, размахивая своими хвостами, начинают грызть и отгрызать куски уда, настолько большого и тяжёлого, что он упал прямо на землю, в холодный снег, чья холодность не ощущается, напротив, всё тепло, всё горит, и слышно как визжит метель, как тонко она умеет визжать, и слышно как работают челюсти, и слышно как рвут мясо, а глаза наши закрываются и успеваем заметить, как кровь льётся по снегу, где-то там, далеко, где чёрные прямоугольники машут хвостами и жуют и сейчас в одну секунду настаёт полная темнота, в какой ничего нет, из которой ничего не рождается, в какую уходим без пути назад и эвакуационных выходов, но с той же быстротой, неожиданно, ведь темнота эта стара настолько, что и время про неё забыло, и выбрасывание в эту темноту означает одну вечность, это одно навсегда, сколь бы оно ни длилось, да хоть и секунду всего, а, затем, чувствуем, как во рту у нас что-то, практически резиновое, и горькая жидкость из него сочится, напоминая железо, и видим как из одного, неописуемо огромного, куска мяса, сочится и брызжет кровь во все стороны, пока чёрные звери, неуклюжие в своём явлении, которых, однако, невозможно ухватить взглядом, а, может, в некотором значении этих слов, лишённые всякого смысла, лишённые каждой детали, рвут, распарывают, и другой конец этого уда не узреть, в дали нет ничего, лишь белый горизонт, и постепенно начинаем понимать, что у нас есть что-то, что можно было бы назвать хвостом, и что этот хвост с большим удовольствием болтается, и нам тепло и вкусно, и мы чувствуем себя в полной безопасности, а затем, по-другому и быть не может, мы убежим в метель, все вместе, и никогда не будем спать.

сцена

Витольд Гомбрович
Ивонна, принцесса бургундская[4]

Действующие лица:

ИВОННА
КОРОЛЬ ИГНАЦИЙ
КОРОЛЕВА МАРГАРИТА
ПРИНЦ ФИЛИПП — наследник престола
КАМЕРГЕР
ИЗА — придворная дама
КИРИЛЛ — друг принца
КИПРИАН
ТЕТКИ ИВОННЫ
ИННОКЕНТИЙ — придворный
ВАЛЕНТИН — лакей
САНОВНИКИ, ПРИДВОРНЫЕ, НИЩИЙ и т.д.

АКТ I

Место гуляний: деревья, в глубине скамейки, празднично одетая публика. При сигнале фанфар входят: КОРОЛЬ ИГНАЦИЙ, КОРОЛЕВА МАРГАРИТА, ПРИНЦ ФИЛИПП, КАМЕРГЕР, КИРИЛЛ, КИПРИАН, придворные дамы и господа.

КОРОЛЕВА. Какой чудесный закат.

КАМЕРГЕР. Воистину чудесный, ваше величество.

КОРОЛЕВА. Глядя на такую красоту, человек становится лучше.

КАМЕРГЕР. Лучше, вне всякого сомнения.

КОРОЛЬ. А вечерком перекинемся в картишки.

---

[4] Пьеса написана в 1938 году.
Перевод с польского Леонарда Бухова.

КАМЕРГЕР. Только вашему величеству дано сочетать врожденное чувство прекрасного со свойственной вам склонностью к игре в бридж.

Подходит НИЩИЙ.

Чего тебе, добрый человек?

НИЩИЙ. Прошу оказать материальную поддержку.

КОРОЛЬ. Камергер, дай ему пять грошей. Пусть народ видит, что мы помним о его нуждах!

КОРОЛЕВА. Дай десять. (*Обернувшись к закату.*) При виде подобного заката!

ДАМЫ. А-а-а-х!

КОРОЛЬ. Да что там — дай пятнадцать! Пусть знает своего государя!

ГОСПОДА. А-а-а-х!

НИЩИЙ. Да благословит Господь Всевышний светлейшего короля и да благословит светлейший король Господа Всевышнего. (*Уходит, распевая песню.*)

КОРОЛЬ. Ну что ж, пойдем, не стоит опаздывать к ужину, нам ведь еще необходимо прогуляться по всему парку, братски пообщаться с народом в день национального праздника.

Все направляются к выходу, кроме ПРИНЦА.

А ты, Филипп, разве остаешься?

ПРИНЦ (*поднимает лежащую на земле газету*). Я на минутку.

КОРОЛЬ. Ха-ха-ха! Понятно! Ха-ха-ха! У него свидание! Совсем как я в его годы! Что ж, пошли, ха-ха-ха!

КОРОЛЕВА (*с упреком*). Игнаций!

Сигнал фанфар, все уходят, кроме ПРИНЦА, КИРИЛЛА и КИПРИАНА.

КИРИЛЛ и КИПРИАН. Конец занудству!

ПРИНЦ. Постойте-ка, тут гороскоп на сегодняшний день. (*Читает.*) С двенадцати до двух… Нет, не то… Вот! Период с семи до девяти вечера принесет вам мощный прилив жизненных сил, усиление индивидуальных качеств, даст толчок прекрасным, хоть и рискованным идеям. Это часы, способствующие смелым планам, великим делам…

КИПРИАН. А нам это к чему?

ПРИНЦ. ...благоприятствующие успеху в делах любовных.

КИРИЛЛ. Тогда другое дело. Посмотри, вон там крутятся какие-то девицы!

КИПРИАН. Вперед! Не медли. Исполним наш долг.

ПРИНЦ. Что? Какой еще долг? Что ты имеешь в виду?

КИПРИАН. Наш долг — функционировать! Функционировать! Ничего другого, как только функционировать с блаженной радостью! Мы молоды! Мы мужчины! Мы молодые мужчины! Так будем выполнять нашу функцию молодых мужчин! Зададим побольше работы попам, чтобы и они могли функционировать! Обыкновенное разделение труда.

КИРИЛЛ. Взгляни-ка, идет весьма элегантная и обольстительная дама. И ножки ничего.

ПРИНЦ. Да нет — как же так? Опять то же самое? И так до бесконечности? Вновь и вновь? Еще и еще раз?

КИПРИАН. А ты не согласен?! Что она может о нас подумать?! Конечно, вновь и вновь! Всегда!

ПРИНЦ. Не хочу.

КИРИЛЛ. Не хочешь? Что? Что?! Отказываешься!

КИПРИАН. (*удивленно*). Разве ты, принц, не испытываешь сладостного, беззаботного наслаждения, когда милые губки шепчут: «да», как бы лишний раз подтверждая свою неизменную готовность?

ПРИНЦ. Конечно, конечно, естественно... (*Читает.*) «способствующие смелым планам, великим делам, усилению индивидуальных качеств и обострению эмоций. Эти часы небезопасны для натур чрезмерно самолюбивых, которым свойственно излишне обостренное чувство собственного достоинства. Дела, которые вы начнете в эти часы, могут принести пользу, но, возможно, и вред...» Ну вот, всегда так.

Входит ИЗА.

Приветствуем вас!

КИПРИАН. С величайшим наслаждением!

КИРИЛЛ. С восхищением!

ИЗА. Добрый день! Что вы, принц, делаете здесь, в уединении?

ПРИНЦ. Исполняю свой долг. Мой отец своим видом воодушевляет подданных, а я своим — погружаю в мечты их дочерей. А вы почему не в свите королевы?

ИЗА. Опоздала. Вот догоняю. Была на прогулке.

ПРИНЦ. Ах, догоняете. Кого?

ИЗА. Какой же вы, принц, рассеянный. Отчего в голосе такая меланхолия? Неужели вы не радуетесь жизни? А я только этим и занята.

ПРИНЦ. Я тоже, и как раз потому…

ВСЕ. Что?

ПРИНЦ. Хм… (*Внимательно на них смотрит.*)

ВСЕ. Так что же?

ПРИНЦ. Ничего.

ИЗА. Ничего. Вы, принц, здоровы?

КИРИЛЛ. Простуда?

КИПРИАН. Мигрень?

ПРИНЦ. Нет, напротив, просто на меня что-то нахлынуло! Что-то нахлынуло! Поверьте, меня буквально переполняют эмоции!

КИПРИАН (*оглядывается*). О-о, ничего блондиночка. Вполне… вполне…

ПРИНЦ. Блондинка? Если бы ты сказал — брюнетка, это ничего не меняло бы. (*Осматривается с подавленным видом.*) Деревья и деревья… Пусть хоть что-нибудь произойдет.

КИРИЛЛ. О-о, а там еще одна идет.

КИПРИАН. С тетками!

КИРИЛЛ. С тетками!

Входят ИВОННА и две ее ТЕТКИ.

ИЗА. Что случилось?

КИПРИАН. Да ты взгляни, принц, взгляни, со смеху помрешь!

КИРИЛЛ. Тихо, тихо, послушаем, о чем они говорят.

1-я ТЕТКА. Присядем на скамейку. Видишь, дитя мое, тех молодых людей?

ИВОННА (*молчит*).

1-я ТЕТКА. Да улыбнись же, улыбнись, дитя мое.

ИВОННА (*молчит*).

2-я ТЕТКА. Почему так вяло? Почему ты, дитя мое, так вяло улыбаешься?

ИВОННА (*молчит*).

2-я ТЕТКА. Вчера тебе снова не повезло. И сегодня ты не пользуешься успехом. А завтра тоже никто не обратит на тебя внимания. Ну почему ты так непривлекательна, дорогая? Почему совершенно не сексапильна? На тебя никто не хочет смотреть. Истинное наказание Божье!

1-я ТЕТКА. Мы потратили все наши сбережения, до последнего гроша, чтобы заказать для тебя это платье с цветами. К нам ты не можешь быть в претензии.

КИПРИАН. Ну и уродина!

ИЗА (*обиженно*). Почему же сразу — уродина.

КИРИЛЛ. Мокрая курица! И еще нос воротит!

КИПРИАН. Плакса! Все ей не так! Пошли, продемонстрируем ей наше презрение! Дадим по носу!

КИРИЛЛ. Да, да! Эту надутую реву неплохо бы проучить! Наш священный долг! Ты иди первый, а я за тобой.

Проходят с саркастическими минами вплотную перед Ивонной, а затем разражаются смехом.

КИПРИАН. Ха-ха-ха! Прямо под носом! Прямо под носом!

ИЗА. Оставьте ее — это не имеет смысла!

1-я ТЕТКА (*к Ивонне*). Видишь, чему мы из-за тебя подвергаемся.

2-я ТЕТКА. Из-за нее все только смеются над нами! Наказание божье! Думала, хоть на старости лет, когда наступит конец моим женским разочарованиям, я смогу не опасаться, что покажусь смешной. И вот я постарела, но из-за тебя продолжаю терпеть издевательства.

КИПРИАН. Слышишь? Теперь они ей выговаривают. Ха-ха-ха, так ей и надо! Проберите ее как следует!

2-я ТЕТКА. Опять над нами смеются. Но уйти нельзя, тогда они будут смеяться нам вслед... А останемся — смеются в лицо!

1-я ТЕТКА (*к Ивонне*). Почему на вчерашнем балу ты, дорогое дитя, даже ногой не шевельнула?

2-я ТЕТКА. Почему никто тобой не заинтересуется? Разве нам это приятно? Мы вложили в тебя все наше женское честолюбие, а ты... Почему ты не бегаешь на лыжах?

1-я ТЕТКА. Почему не займешься прыжками с шестом? Другие барышни прыгают.

КИПРИАН. До чего же она неуклюжа! Меня один ее вид раздражает! Чертовски раздражает! Эта нескладеха просто выводит меня из себя! Сейчас подойду и переверну скамейку! Как, а?

КИРИЛЛ. Нет, не стоит. К чему столько усилий? Достаточно показать ей палец или рукой махнуть, или еще что-нибудь в этом духе. Любой жест по отношению к подобному существу будет издевательством. (*Чихает.*)

2-я ТЕТКА. Вот видишь? На нас уже чихают!

ИЗА. Оставьте ее.

КИПРИАН. Нет, нет, давайте проделаем над ней какой-нибудь фортель. Я придумал: притворюсь хромым, а она подумает, что к ней на чай даже хромой пес не приходит. (*Намеревается подойти к скамейке.*)

ПРИНЦ. Постой! Я придумал кое-что получше!

КИПРИАН. Ого! Уступаю место!

КИРИЛЛ. Что ты придумал? Похоже, ты собираешься проделать нечто невообразимое!

ПРИНЦ (*смеется, прикрыв рот носовым платком*). Фортель — ха-ха-ха, фортель! (*Подходит к скамейке.*) Разрешите представиться. Я — его высочество принц Филипп, сын короля.

ТЕТКИ. А-а-а!

ПРИНЦ. Вижу, уважаемые дамы, у вас какие-то проблемы с этой милой барышней. Отчего она так апатична?

1-я ТЕТКА. Просто беда! У нее какое-то органическое недомогание. Кровообращение вялое.

2-я ТЕТКА. А от этого зимой отечность, а летом затхлость. По осени у нее постоянный насморк, зато весной — головные боли.

ПРИНЦ. Вот уж, извините, буквально теряешься, какое время года предпочесть. И никакие лекарства не помогают?

1-я ТЕТКА. Врачи говорят: будь она поживее, повеселее, кровообращение усилилось бы и все недомогания прекратились.

ПРИНЦ. Тогда почему у нее не может улучшиться настроение?

1-я ТЕТКА. Из-за вялого кровообращения.

ПРИНЦ. Итак, если она станет живее, кровообращение усилится, а если кровообращение усилится, то она станет живее. Забавная ситуация. Какой-то порочный круг. Хм... конечно, да... а вы знаете...

2-я ТЕТКА. Вы, принц, конечно, иронизируете. Что ж, запретить мы не можем.

ПРИНЦ. Иронизирую? Нет, мне не до иронии. Слишком серьезный сейчас момент. Разве вы не ощущаете некоторого усиления ваших индивидуальных качеств, прилива жизненных сил — не испытываете упоения?

1-я ТЕТКА. Ничего мы не испытываем, вот только немного прохладно.

ПРИНЦ. Странно! (*К Ивонне.*) А вы — неужели вы тоже ничего не чувствуете?

ИВОННА (*молчит*).

2-я ТЕТКА. Где ей, что она может чувствовать?

ПРИНЦ. Знаете, когда я смотрю на вас, меня так и подмывает что-нибудь над вами сотворить. Например, взять на поводок и гнать вперед, или развозить на вас молоко, или колоть вас булавкой, или передразнивать. Ваш вид раздражает меня, вы подобны красной тряпке, вы провоцируете. Да! Есть люди, как бы созданные для того, чтобы выводить других из равновесия, раздражать, доводить до безумия. Такие люди существуют, и каждый из них воздействует только на конкретного человека. Ах! Как вы сидите, как перебираете этими вашими пальчиками, как болтаете ножкой! Неслыханно! Просто великолепно! Поразительно! Как вы это делаете?

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Ах, как вы молчите! Как вы молчите! И какой при этом обиженный вид! И выглядите просто замечательно — похожи на оскорбленную королеву! Вся исполнена гнева и обиды — ах, сколько в вас достоинства и претензии! Нет, я схожу с ума. У каждого есть свое существо, приводящее его в состояние белой горячки, а вы — такое существо, созданное для меня! И вы будете моей! Кирилл, Киприан!

КИРИЛЛ и КИПРИАН подходят.

Позвольте представить вас этой оскорбленной королеве, этой гордой Анемии! Посмотрите, как она шевельнула губками… Ей хотелось бы ответить нам колкостью, но именно сейчас ничего не приходит в голову.

ИЗА (*подходит*). Что за глупости! Оставьте ее! Все это начинает становиться безвкусным.

ПРИНЦ (*резко*). А вы находите, что до этого момента вкус всегда был соблюден!

КИПРИАН. Разрешите представиться — граф Недостойный!

КИРИЛЛ. Ха-ха-ха, барон Малокровный! Острота, конечно, не из лучших… зато к месту.

ИЗА. Хватит, прекратите — оставьте бедняжку в покое.

ПРИНЦ. Бедняжку? Ну, ну, полегче! Полегче — я ведь могу и жениться на ней.

КИПРИАН и КИРИЛЛ. Ха-ха-ха!

ПРИНЦ. Я сказал: полегче — я могу на ней жениться!

КИПРИАН и КИРИЛЛ. Ха-ха-ха!

ПРИНЦ. Прекратите! Я женюсь на ней! Да, она до такой степени раздражает меня, что я на ней женюсь! (*К Теткам.*) Вы даете согласие, не так ли?

КИРИЛЛ. Шутка заходит слишком далеко. Ты можешь дать повод для шантажа.

ПРИНЦ. Шутка? Но скажите, разве она сама не являет собой колоссальную шутку? Разве шутки дозволены только одной стороне? И если я принц, разве она не гордая, оскорбленная королева? Да взгляните же на нее! Послушайте! Мадемуазель, мадемуазель! Мадемуазель, разрешите мне просить вашей руки.

1-я ТЕТКА. Что?

2-я ТЕТКА. Что? (*Спохватывается.*) Принц, вы благородный юноша!

1-я ТЕТКА. Вы, принц, истинный филантроп!

КИПРИАН. Неслыханно!

КИРИЛЛ. Это безумие! Заклинаю тебя памятью твоих предков!

КИПРИАН. А я заклинаю тебя памятью твоих потомков!

ПРИНЦ. Довольно, господа! (*Берет Ивонну за руку.*)

ИЗА. Прекратите — король идет!

КИПРИАН. Король!

КИРИЛЛ. Король!

Сигнал фанфар; входят КОРОЛЬ, КОРОЛЕВА, КАМЕРГЕР, придворные.

ТЕТКИ. Уходим поскорее, тут сейчас такая буря разразится!

ТЕТКИ убегают.

КОРОЛЬ. А! Филипп! Ну, что ж, ты, я вижу, развлекаешься! Что я говорил! Кровь не вода!

КОРОЛЕВА. Игнаций!

КОРОЛЬ. Кровь не вода, говорю вам! Весь в меня! (*В сторону.*) Но что-то, мне кажется, эта нимфа слегка… того… А что это за чучело, сын мой?

ПРИНЦ. Позволь представить, светлейший государь, — моя невеста.

КОРОЛЬ. Что?

ИЗА. Он шутит!

КОРОЛЬ. Ха-ха-ха! Шутка! Анекдот! Вижу, сын мой, что и тебе передалась моя склонность к шуткам. А действитель-

но, что мне еще в жизни осталось. И, странное дело, сам не могу понять почему, но чем шутка глупее и примитивнее, тем большую доставляет мне радость. Сразу становлюсь моложе.

КАМЕРГЕР. Полностью согласен, ваше величество, с тонким замечанием вашего величества. Ничто так не омолаживает, как истинно нелепая шутка.

КОРОЛЕВА (*с неудовольствием*). Филипп...

ПРИНЦ. Это вовсе не шутка.

КОРОЛЕВА. Как же так? Не шутка? Что же это, в таком случае?

ПРИНЦ. Мое обручение!

КОРОЛЬ. Что?

Пораженные придворные отбегают.

КОРОЛЕВА (*возмущенно*). Прежде всего, прошу всех соблюдать такт. (*К Ивонне.*) Взгляните, дитя мое, какое там красивое дерево. (*К Принцу.*) Филипп, в какое положение ты ее ставишь? Нас в какое положение ставишь? Себя в какое ставишь положение? (*К Королю.*) Игнаций, только спокойно!

ПРИНЦ. Ваши величества, в ваших глазах я вижу возмущение моим поступком: как я, королевский сын, мог хотя бы на мгновение поставить свою особу рядом с подобным существом.

КОРОЛЬ. Хорошо говорит!

ПРИНЦ. Но если я все же обручился с ней, то сделал это не от скудости, но от избытка — и потому считаю, что я вправе совершить подобный шаг, не вижу здесь ничего для себя унизительного.

КОРОЛЬ. От избытка?

ПРИНЦ. Да! Я достаточно богат, чтобы обручиться с крайней нищетой. И почему мне должна нравиться только красавица? Почему не может понравиться невзрачная? Где это написано? Где есть такой закон, которому я обязан подчиняться как бездушный механизм? Разве я не свободный человек?

КОРОЛЬ. Подожди, Филипп, ты что, всерьез преподносишь нам свои парадоксы? Не изображай независимого, просто у тебя в голове все перемешалось, сын мой. Зачем усложнять простые вещи? Если барышня красивая, она тебе нравится, а если она тебе нравится, то — вперед... а вот если уродина, тогда — до свиданья, и ноги в руки. К чему усложнять? Это — закон природы, которому и я сам, между нами

говоря (*Оглядывается на Королеву.*), с удовольствием подчиняюсь.

ПРИНЦ. А мне этот закон кажется идиотски глупым, до дикости грубым, до смешного несправедливым!

КАМЕРГЕР. Глупый-то он, конечно, глупый, но, если можно так выразиться, как раз самые глупые законы природы более всего приятны.

КОРОЛЬ. Неужели, Филипп, тебе опротивели занятия на факультете проектирования котлов и твоя идеологическая работа на гражданско-социальном поприще?

КОРОЛЕВА. Разве тебе наскучили твои юношеские игры и забавы? Ты пресытился теннисом? Тебе надоело играть в бридж и в поло? Но ведь ты мог бы еще играть в футбол и в домино.

КАМЕРГЕР. Или вас, принц, больше не прельщает, как бы это поизящней выразиться, нынешняя легкость любовно-эротических связей? Просто невероятно. Меня бы это никогда не перестало соблазнять.

ПРИНЦ. К черту эротические связи, к черту все — я женюсь и конец!

КОРОЛЬ. Что? Что? Он женится? И ты смеешь такое говорить? Он над нами издевается, наглый молокосос! Да! Издевается! Я прокляну его!

КОРОЛЕВА. Игнаций, ты не можешь так поступить!

КОРОЛЬ. Нет, прокляну! Слово даю, прокляну! В кандалы его закую! Ха! Вышвырну негодяя за порог!

КОРОЛЕВА. Игнаций, успокойся, иначе выйдет скандал! Ужасный скандал! Игнаций, ведь он это делает по доброте сердечной!

КОРОЛЬ. По доброте сердечной ранить прямо в сердце старого отца?

КОРОЛЕВА. Он же из милосердия! Из милосердия! Его растрогала тяжкая судьба этой бедняжки — он всегда был необыкновенно чувствителен! Игнаций, прошу тебя, может получиться скандал!

КОРОЛЬ (*с недоверием*). Растрогала тяжкая судьба?

КАМЕРГЕР. Ваше величество, сейчас правы ее величество, принц так поступает в силу врожденного благородства. Он совершает благородный поступок. (*В сторону.*) Ваше величество, если вы не согласитесь, что это благородный поступок — получится скандал, как дважды два. Он не отступится. Нельзя доводить дело до скандала!

КОРОЛЬ. Ну, ну! (*К Принцу.*) Филипп, поразмыслив, мы признаем благородство твоего решения, хоть оно и несколько поспешно.

ПРИНЦ. При чем здесь благородство!

КОРОЛЕВА (*поспешно*). Благородство, благородство, Филипп — не перебивай, мы лучше знаем, — и в знак признания благородства твоих намерений соизволяем разрешить тебе представить нам твою невесту, чья тяжкая судьба пробудила в нас самые высокие чувства, все наше великодушие. Мы примем ее в замке как равную самым высокородным дамам, что, конечно же, не уронит нашего достоинства, но, напротив, возвысит нас!

ПРИНЦ (*идет в глубину сцены*). Кирилл, давай ее сюда — король согласился!

КОРОЛЕВА (*в сторону, к Королю*). Игнаций, — только спокойно.

КОРОЛЬ. Ладно, ладно.

Подходит Принц, ведя за руку Ивонну.

Да это же… ну, ну!

Придворные, выглядывавшие из-за деревьев, приближаются; сигнал фанфар.

ПРИНЦ. Светлейший государь! Представляю тебе мою невесту!

КАМЕРГЕР (*вполголоса*). Надо поклониться, поклонитесь, мадемуазель… Поклонитесь…

ИВОННА (*не реагирует*).

КАМЕРГЕР. Поклон, поклон…

ПРИНЦ (*шепотом*). Поклон!

КОРОЛЕВА (*вполголоса*). Ну, ну… (*Слегка кланяется, желая подать пример Ивонне.*) Ну, ну…

Вслед за Королевой слегка кланяется и Король.

ИВОННА (*не реагирует*).

ПРИНЦ (*слегка растерявшись, к Ивонне*). Это король, мой отец, его величество, а это моя мать, ее величество… Поклон, поклон!

ИВОННА (*не реагирует*).

КОРОЛЕВА (*поспешно*). Филипп, мы так растроганы... Какое милое создание. (*Целует ее.*) Дитя мое, мы станем для тебя отцом и матерью, нас так порадовал христианский поступок сына, мы уважаем его выбор. Филипп, всегда следует стремиться к возвышенному и никогда — к низменному!

КАМЕРГЕР (*подает знак придворным*). А-а-а!

ПРИДВОРНЫЕ. А-а-а!

КОРОЛЬ (*растерянно*). Да, да... Ну, в общем... Конечно...

КОРОЛЕВА (*поспешно*). А сейчас проводи свою невесту и вели приготовить для нее покои. (*Великодушно.*) И чтобы всего у нее было в достатке!

КАМЕРГЕР (*подавая знак придворным*). А-а-а!

ПРИДВОРНЫЕ. А-а-а!

ПРИНЦ, ИВОННА, КИРИЛЛ, ПРИДВОРНЫЕ уходят.

КОРОЛЬ. Вот это да... Держите меня! Вы видели? Видели что-нибудь подобное? Ведь это получается, что не она нам, а мы ей — не она нам, а мы ей поклонились! (*Пораженный.*) Ну и уродина!

КОРОЛЕВА. Да, уродина, но поступок прекрасный!

КАМЕРГЕР. Если невеста уродлива, то поступок, конечно же, должен быть прекрасным. Ваше величество, через несколько дней у принца это пройдет, только не нужно форсировать, а я еще сегодня загляну к нему и попытаюсь выведать, каковы его истинные намерения. Это обычная экстравагантность, но только не надо его раздражать и вызывать с его стороны сопротивление. Сейчас нам следует сохранять спокойствие.

КОРОЛЕВА. И такт.

Уходят.

АКТ II

Покои Принца, через одну дверь входят ПРИНЦ, КИРИЛЛ, ИВОННА, через другую — лакей ВАЛЕНТИН с тряпкой в руке.

ПРИНЦ (*к Валентину*). Валентин, прошу тебя, не путайся под ногами.

ВАЛЕНТИН выходит.

Посади ее здесь. Я все время боюсь, что она убежит. Может, привязать ее к ножке стола?

КИРИЛЛ. Она и так полужива. Не убежит. Филипп...

ПРИНЦ. Что?

КИРИЛЛ (*с неодобрением*). Зачем тебе все это?

ПРИНЦ. Зачем? Зачем? Я должен победить этого монстра, преодолеть препятствие — понимаешь? Есть охотники, которые темной ночью выходят один на один против буйволов... Есть такие, что хватают быка за рога... Кирилл...

КИРИЛЛ. С тобой сегодня не договоришься.

ПРИНЦ. Но, скорее всего, мной владеет некое жгучее любопытство подобное тому, с которым мы разглядываем червяка, дотрагиваясь до него палочкой.

КИРИЛЛ. Разреши, я скажу, что думаю.

ПРИНЦ. Прошу тебя.

КИРИЛЛ. Давай оставим ее в покое, ведь пройдет полчаса, и мы не будем знать, что с ней делать... А это неприятно, даже очень, я уж не говорю о другом — все это слишком бесцеремонно по отношению к ней.

ПРИНЦ. Мне казалось, что поначалу вы сами не слишком с ней церемонились.

КИРИЛЛ. Согласен, согласен! Но ведь одно дело — легкая шутка на свежем воздухе и совершенно другое — тащить ее сюда, в замок. Филипп, оставь эту затею.

ПРИНЦ. Да ты посмотри, как она сидит. Неслыханно! Нет, подумай только, какая несправедливость! Неужели, если девушка такова, какая есть, она никому не должна нравиться? Какая самоуверенность! Какая дикость в законах природы! (*Внимательно смотрит на Ивонну.*) Вот! Знаешь что? Только теперь, глядя на нее, я начинаю ощущать себя принцем до мозга костей. А прежде — в лучшем случае чувствовал в себе барона, да и то из худородных.

КИРИЛЛ. Странно. А мне кажется, что поступил ты с ней скорее как барон, чем как истинный принц.

ПРИНЦ. Действительно, странно, и все же я должен признаться, что никогда еще не чувствовал себя так уверенно, так превосходно, даже блестяще. Тра-ля-ля... (*Берет ручку с пером и балансирует ею, поставив концом на палец.*) Смотри, раньше никогда не получалось, а теперь получается. По-видимому, для того, чтобы ощутить свое превосходство, нужно найти кого-нибудь, кто значительно хуже тебя. Быть принцем номинально — еще ничего не означает — зато теперь я понял, что значит быть подлинным принцем. Лег-

кость... (*Танцует.*) Радость... Ну, а теперь давай взглянем на предмет нашего безумия. Мадемуазель, не соизволите ли вы что-нибудь нам сказать?

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. А знаешь, она не так уж и некрасива, вот только есть в ней какой-то компонент злосчастья.

КИРИЛЛ. В том-то и состоит главная беда.

ПРИНЦ. Скажите, почему вы такая?

ИВОННА. (*молчит*)

ПРИНЦ. Молчит. Ну, почему вы такая?

КИРИЛЛ. Не отвечает, обижена.

ПРИНЦ. Обижена.

КИРИЛЛ. А мне кажется, она не обижена, а, скорее, немного напугана.

ПРИНЦ. Слегка оробела.

ИВОННА (*негромко, с усилием*). Совсем я не обижена. Оставьте меня, пожалуйста, в покое.

ПРИНЦ. А! Вы совсем не обижены? Тогда почему не отвечаете?

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Ну?

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Не можете ответить? Почему?

ИВОННА (*молчит*).

КИРИЛЛ. Ха-ха-ха! Не может! Обиделась!

ПРИНЦ. Будьте добры, объясните нам — каков механизм ваших неудач. Вы же вовсе не так глупы. Тогда почему люди ведут себя с вами так, будто вы не состоянии даже до трех сосчитать? Откуда такое упрямство с их стороны?

КИРИЛЛ. Она не глупа, просто оказалась в глупом положении.

ПРИНЦ. Ну, хорошо! Извини, Кирилл, но вот что меня удивляет! Взгляни, ведь у нее даже нос пропорциональный. И нельзя сказать, что она ограниченная. И вообще, выглядит не хуже, чем многие девушки, которых мы знаем. Почему же над ними никто не издевается? Почему, скажите? Почему именно вы стали козлом, а точнее, козой отпущения? Почему так получилось?

ИВОННА (*тихо*). А так без конца. Так по кругу.

КИРИЛЛ. По кругу?

ПРИНЦ. Как это — по кругу? Не мешай. По кругу?

ИВОННА. Так по кругу всегда каждый, все всегда... Это так всегда.

ПРИНЦ. По кругу? По кругу? Почему — по кругу? Какая-то мистика. А-а-а, я начинаю понимать. Тут и в самом деле — некое подобие круга. Например: почему она такая сонная? Потому что не в настроении. А почему не в настроении? Потому что сонная. Понимаешь, что это за круг? Адский круг!

КИРИЛЛ. Вы сами виноваты, растяпа! Выше голову!

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Ха! Да она тебя всерьез не воспринимает!

КИРИЛЛ. Хоть чуть-чуть посмелее! Немного смелее! И получше настроение! Больше жизни! Послушайте моего совета — вот сейчас у вас обиженный вид. А вы улыбнитесь, и все будет хорошо.

ПРИНЦ. Да улыбнитесь же нам. Не стесняйтесь!

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Не хочет. И правильно делает — если она улыбнется, выйдет неискренне. А это будет еще сильнее раздражать, злить, нервировать, возбуждать, провоцировать. Она права. Это же просто потрясающе, Кирилл! Великолепно! Я впервые вижу нечто подобное. А что, если нам улыбнуться первыми?

КИРИЛЛ. Тоже не поможет, ведь улыбка получится вымученная, из сострадания.

ПРИНЦ. Здесь кроется какая-то дьявольская комбинация. Некая специфическая, адская диалектика. Смотри, ведь не скажешь, что она не уразумела ситуацию во всей ее глубине. Это по ней видно, хоть и молчит, как могила. Знаешь, все это напоминает некую систему, наподобие перпетуум-мобиле — как если бы привязали к палке собаку и кошку: собака гонится за кошкой и пугает ее, а кошка гонится за собакой и тоже пугает, и все это вместе бешено мчится без конца; а вокруг — полное оцепенение.

КИРИЛЛ. Система замкнутая и герметично закрытая.

ПРИНЦ. Хорошо! А что было вначале? Что родилось первым? Ведь не могло же так быть с самого начала. Почему вы напуганы? Потому что робки. А почему вы робки? Потому что немного напуганы. Но что было первым, что сперва началось в вас, когда-то давно?

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Постой, постой. Ну, хорошо, но разве в вас нет вовсе никаких достоинств? Неужели совсем ничего? Не можете же вы состоять из одних только недостатков. Должно же быть в вас хоть что-то положительное, что дает опору, ощущение собственной правоты — нечто такое, во что вы

верите, что вам в себе нравится. Вот увидите — мы этот огонек раздуем, пробудим вас к жизни.

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Подожди! Остановись! Это очень важно — вот, допустим, кто-то к тебе подходит и говорит, что ты такая-то и такая — самые скверные и ужасные вещи, которые человека убивают, уничтожают, лишают дара речи, жизни. А ты отвечаешь: «Да, я такая, это правда, но...» Что — но?

ИВОННА (*молчит*).

КИРИЛЛ. Ну, что? Что — но? Говорите смело.

ПРИНЦ. Ну, например: «...у меня доброе сердце. Я добрая». Понимаешь всего лишь одно достоинство. Один этот плюс!

КИРИЛЛ (*резко*). Да говорите же! Отвечайте!

ПРИНЦ. Может, ты стихи сочиняешь, а? Какие-нибудь скорбные песни, элегии... а, пусть они совсем бездарны, но клянусь тебе, я буду их вдохновенно декламировать. Дай мне хотя бы точку опоры, только точку опоры! Так ты пишешь стихи, да?

ИВОННА (*молчит*).

КИРИЛЛ. Она презирает стихи.

ПРИНЦ. А в Бога ты веришь? Молишься? На коленях молишься? Веришь, что Господь наш Христос умер на кресте за тебя?

ИВОННА (*пренебрежительно*). Конечно.

ПРИНЦ. О, чудо! Наконец! Благодарение тебе, Боже Всевышний! Но почему она говорит об этом... тоном... тоном... пренебрежения? О Боге — с пренебрежением! О том, что верит в Бога — с таким презрением?

КИРИЛЛ. Это недоступно моему пониманию.

ПРИНЦ. Я знаю, Кирилл, в чем тут дело. Она верит в Бога из-за своих недостатков и понимает это. Не имей она недостатков, не верила бы. Верит в Бога, но в то же время знает, что Бог — это всего лишь примочки для ее психофизических ран. (*К Ивонне.*) Разве не так?

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Бррр... А есть, однако, в этом некая жуткая мудрость бесчувственная мудрость...

КИРИЛЛ. Необходимо лечение! Лекарства! Таблетки и соответствующий курс лечения помогли бы против этой самой мудрости. Здоровый образ жизни — утром прогулка — спорт — булки с маслом.

ПРИНЦ. Но, извини, ты забываешь, что ее организм не воспринимает лекарств. Не воспринимает, потому что слиш-

ком вял. Это мы уже установили. Не может воспринимать лекарств против вялости из-за того, что слишком вял. Ты забываешь о замкнутом круге. Утренние прогулки и спорт, несомненно, помогли бы ей избавиться от слабости, однако она не может ходить на прогулки, потому что слишком слаба. Уважаемые господа, то есть, нет, не господа, Кирилл, тебе приходилось слышать о чем-либо подобном? Во мне она вызывает сочувствие, да, хотя такого рода сочувствие... его свойство...

КИРИЛЛ. Это наверняка наказание за грехи. Вы, должно быть, сильно нагрешили в детстве. Филипп, в недрах всего этого несомненно кроется какой-то грех, здесь не могло обойтись без греха. Конечно же, вы сильно нагрешили.

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Ха! Знаю, где собака зарыта! Вот послушайте — если вы настолько ослаблены, то и страдание ощущаете слабее — слабость влечет за собой ослабление, вы слышите? Круг замыкается в вашу пользу, одно уравновешивается другим. Все чары, все соблазны этого мира должны воздействовать на вас не так сильно, в результате вы меньше страдаете.

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Ну, как?

ИВОННА (*молчит, исподлобья рассматривая Принца*).

КИРИЛЛ (*замечает ее взгляд*). Что это она так смотрит?

ПРИНЦ. Как?

КИРИЛЛ. Вроде бы — обыкновенно! И все же...

ПРИНЦ (*обеспокоенно*). Что это с ней?..

КИРИЛЛ. Филипп! Она же на тебя!..

ПРИНЦ. Что — на меня?

КИРИЛЛ. Вот так штука... Ведь она тебя... пожирает взглядом... Страстно! Пылко, черт побери! Она подбирается к тебе... ну, по-своему... Она — к тебе! К тебе! Остерегайся — эта ее вялость страстна, похотлива как тысяча чертей!

ПРИНЦ. Да она... Она просто беспардонна! Какое бесстыдство! Изощренное бесстыдство! И ты смеешь приставать ко мне, ты, выдра! Давай припалим ее? Возьми-ка кочергу и раскали ее добела — вот тогда она у нас попрыгает! Тогда попляшет!

КИРИЛЛ. Но, Филипп!

ПРИНЦ. В ней есть нечто невозможное! Нечто невыносимое! Вся ваша сущность оскорбляет меня! Оскорбляет до самых глубин моей души! Не хочу ничего больше знать о ваших несчастьях — ты, пессимистка, ты — ты, реалистка...

КИРИЛЛ. Филипп!

ПРИНЦ. Посмотри, как она сидит.

КИРИЛЛ. Пусть тогда встанет.

ПРИНЦ. А она и стоять будет так же! Смотри, какой у нее просительный вид... как она просит... Она все время чего-то просит... чего-то, чего-то... чего-то от меня добивается. Кирилл, это существо следует уничтожить. Дай мне нож — я с легким сердцем перережу ей горло.

КИРИЛЛ. Боже милостивый!

ПРИНЦ. Да нет, я шучу! Однако она боится — смотри, испугалась по-настоящему. Ужасно испугалась — какая низость. Не надо бояться, я всего лишь пошутил... Это шутка! Не надо воспринимать всерьез, если я шучу...

КИРИЛЛ. Начинаешь фиглярничать.

ПРИНЦ. Что? Да, в самом деле. Забавно. Тебе вправду кажется, что я фиглярничаю? Весьма возможно. Но в этом виновата она — не я! Она меня довела, а не я ее!

Звонок: входит ВАЛЕНТИН.

КИРИЛЛ. Кто это там? (*Смотрит в окно.*) Кажется, гости... Камергер, дамы.

ВАЛЕНТИН. Открыть?

ПРИНЦ. На разведку явились. Пойдем приведем себя в порядок.

ПРИНЦ, КИРИЛЛ и ИВОННА выходят. ВАЛЕНТИН открывает дверь. Входят: КАМЕРГЕР, двое господ, четыре дамы, ИННОКЕНТИЙ.

1-я ДАМА. Никого нет. (*Осматривается.*)

2-я ДАМА. Ой, вот умора! (*Хихикает.*)

1-й ГОСПОДИН. А что, если он всерьез?

КАМЕРГЕР. Спокойствие, спокойствие, милые дамы!.. Умоляю, только будьте серьезны.

Дамы хихикают.

Прошу вас без хихиканья.

Дамы хихикают.

Мы просто зашли после прогулки, как ни в чем не бывало, хотим понять, к чему дело клонится.

1-я ДАМА. Вы серьезно? Ха-ха-ха! Это идея! Смотрите — ее шляпка! Шляпка! Просто умора!

2-я ДАМА. Можно лопнуть со смеху!

КАМЕРГЕР. Сдержанней! Сдержанней! Возьмите себя в руки!

ГОСТИ. Хи-хи-хи — ой, не могу! — Хи-хи-хи! — Перестань, не то я умру. Это ты перестань. — Умора! Можно лопнуть со смеху! (*Смеются негромко, подзадоривая друг друга; смех то усиливается, то притихает, не смеется только Иннокентий.*)

Входят: ПРИНЦ, КИРИЛЛ, ИВОННА.

Принц! (*Все кланяются.*)

КАМЕРГЕР. Мы тут как раз прогуливались неподалеку и не могли удержаться (*Потирает руки.*) — всей компанией!

ПРИНЦ. Ивонна, дорогая! Рад, что могу представить вас, господа, моей невесте.

ГОСТИ. А-а-а! (*Кланяются.*) Желаем счастья! Желаем счастья!

ПРИНЦ. Преодолей свою робость, радость моя, и скажи что-нибудь. Дорогая, эти господа принадлежат к лучшему обществу, не надо их пугаться, будто перед тобой толпа людоедов или обезьян с острова Борнео. Извините, господа, но моя невеста необычайно деликатна, самолюбива и стеснительна. Окажите снисхождение. (*К Ивонне.*) Присядь, дорогая, не будем же мы вечно стоять.

ИВОННА (*как бы пытается сесть на пол*).

ПРИНЦ. Но не сюда!

ГОСТИ. Ха-ха-ха!

1-й ГОСПОДИН. Готов поклясться, что там был стул.

1-я ДАМА. Был, да сплыл.

ГОСТИ. Ха-ха-ха! Колдовство! Не повезло бедняжке!

КАМЕРГЕР. Прошу вас, пожалуйста. (*Подает Ивонне стул.*) Только осторожнее!

КИРИЛЛ. Держите крепче, чтобы опять не убежал!

КАМЕРГЕР. Осторожно, не промахнитесь!

ПРИНЦ. Не промахнись, дорогая.

Ивонна садится.

Вот и хорошо!

Все садятся, кроме Принца.

1-я ДАМА (*в сторону к Принцу, фамильярно*). По правде говоря, Принц, она просто смехотворна! Умора! Я лопну со смеху!

2-я ДАМА (*в сторону к Принцу*). Ой, я умираю! Умираю со смеху! Сейчас это самый модный вид шутки — розыгрыш; не знала, что вы, принц, умеете так талантливо разыгрывать. Нет, вы только посмотрите, ха-ха-ха!

ПРИНЦ (*подзадоривая смехом гостей*). Ха-ха-ха!

ГОСТИ. Ха-ха-ха!

ПРИНЦ (*громче*). Ха-ха-ха!

ГОСТИ (*громче*). Ха-ха-ха!

ПРИНЦ (*еще громче*). Ха-ха-ха!

ГОСТИ (*нерешительно*). Ха-ха-ха!

1-я ДАМА. К сожалению, мне нужно идти... Я вспомнила, что у меня встреча. Надеюсь, вы, принц, извините.

2-я ДАМА. Мне тоже пора... Извините, принц... Меня ждут... (*Тихо к Принцу.*) Теперь мне понятно. Все это затеяно назло нам! Чтобы подшутить над нами, да? Вам, принц, захотелось над нами поиздеваться! Вы обручились с этой несчастной, чтобы высмеять нас! Это попросту язвительный намек на пороки и недостатки... некоторых придворных дам. А-а, я поняла! Вы прослышали о том, сколько усилий затрачивает на косметику и массаж Иоланта... и потому обручились с такой замарашкой... чтобы высмеять Иоланту, ха-ха! Я разгадала иронический смысл вашей затеи! До свиданья!

ПРИНЦ. Иронический смысл?

1-я ДАМА (*подслушав*). Даже если и так, то скорее, чтобы выставить на всеобщее обозрение и осмеяние твои два вставных зуба, о которых знают все! Ха-ха, не будьте к ней, принц, так жестоки, ха-ха — до свиданья, я уже опаздываю.

2-я ДАМА. Мои зубы? А по-моему, — твой подложенный бюст!

1-я ДАМА. Или твою кривую спину!

2-я ДАМА. Лучше следи за пальцами на твоих ногах!

ГОСТИ. Пошли! Нам уже пора!

ПРИНЦ. Что же вы, господа, убегаете?

ГОСТИ. Надо уже идти! До свиданья! Нам пора!

Уходят ГОСТИ, кроме КАМЕРГЕРА и ИННОКЕНТИЯ; доносятся возгласы: «нога», «зубы», «массаж», «косметика» и язвительный смех.

КАМЕРГЕР. Простите, принц, простите, принц, простите, принц, но я вынужден переговорить с вами, причем, сейчас же! Прошу уделить мне минутку для беседы! Вы так перепугали прекрасных дам!

ПРИНЦ. Не меня они испугались, а своих пороков. Оказывается, нет ничего более устрашающего. Ха! Что такое война, мор и тому подобное по сравнению с обыкновенным, мелким, но скрытым недостатком, иначе говоря, дефектом.

ИННОКЕНТИЙ. Извините.

ПРИНЦ. Что случилось? Вы остались?

ИННОКЕНТИЙ. Так точно. Извините. Я только хотел заметить, что это подлость.

ПРИНЦ. Что?

ИННОКЕНТИЙ. Это подлость. Простите — я сяду. (*Садится, тяжело дыша.*) От волнения у меня всегда перехватывает дыхание.

ПРИНЦ. Вы о чем-то сказали, что это подлость?

ИННОКЕНТИЙ. Простите. Я увлекся. Извините меня, принц. Забудьте об этом инциденте. Прошу прощения. (*Хочет уйти.*)

ПРИНЦ. Постойте-ка, постойте, вы о чем-то сказали, что это подлость. Задержитесь на минутку.

ИННОКЕНТИЙ (*говорит или с мертвенным спокойствием, или с чрезвычайным раздражением*). Но я же вижу, что мне уже не справиться.

КАМЕРГЕР. Не справиться? Не справиться? Что это за странное выражение справиться?

ИННОКЕНТИЙ. Справиться с тем, что начал. (*Хочет уйти.*) Простите.

ПРИНЦ. Подождите, к чему такая таинственность, господин…

ИННОКЕНТИЙ. Все дело в том, что я люблю ее… и потому увлекся и выразил протест. Но теперь я свой протест беру обратно и прошу забыть весь этот инцидент.

ПРИНЦ. Вы? Вы — ее любите?

КИРИЛЛ. Вот так штука!

КАМЕРГЕР. Ко-ме-дия!

ПРИНЦ. Вы поразили меня в самое сердце, сударь. Неожиданным образом дело приняло весьма серьезный оборот.

Не знаю, знакомо ли вам это — внезапные переходы от смеха к серьезности. В этом есть даже нечто сакральное. Некое озарение. Убежден, что тривиальные слова — «любовь слепа» — следовало бы поместить на фронтонах храмов.

ИННОКЕНТИЙ. Я всего лишь скромный человек.

ПРИНЦ. Ивонна, прости меня. Слава Богу, значит и в тебя можно, все-таки можно… Стало быть, можно… И у тебя есть человек, который… Какое облегчение! Я-то ведь все это затеял лишь потому, что не мог тебя выносить — нестерпимой была даже мысль о тебе — если уж говорить серьезно… Извини, пожалуйста. Дети мои, благословляю вас. Идите с миром. Оставьте меня одного.

КИРИЛЛ (*видя, что Ивонна опустила голову*). Плачет…

ПРИНЦ. Плачет? Это от счастья.

КИРИЛЛ. Я бы этой плаксе не слишком доверял. Она может плакать только с горя. Вы любите его?

ИВОННА (*молчит*).

КИРИЛЛ. Это молчание в знак отрицания.

ПРИНЦ. Ах! Не надо переживать! Если нашелся человек, который тебя полюбил, это уже полдела. (*К Иннокентию.*) Вы — решительный человек, истинный мужчина. Влюбиться в нее — прекрасный поступок! Вы спасли весь мир от катастрофы. Наш долг — оказать вам высочайшие почести!

ИННОКЕНТИЙ. Мое достоинство вынуждает меня заявить, что она меня тоже любит, но, по-видимому, ей стыдно в этом признаться перед вами, принц, ведь любовь ко мне действительно не делает ей чести. (*К Ивонне.*) К чему притворяться — ты же сама не раз говорила, что любишь меня.

ИВОННА (*молчит*).

ИННОКЕНТИЙ (*раздраженно*). Ну, ну, не надо задаваться. Если быть до конца откровенным, ты привлекаешь меня ровно настолько, насколько и я тебя, а может и того меньше.

ПРИНЦ. Вы слышите?

ИННОКЕНТИЙ (*холодно*). Разрешите, принц, я все объясню. Если я сказал, что люблю ее, то имел в виду — ну, что просто не нашел ничего лучшего, из-за отсутствия. Так сказать, из-за недостатка…

КАМЕРГЕР. Fi donc![5] Как вы можете!

ИННОКЕНТИЙ. Все дело в том, что лучшие женщины, и даже посредственные, невероятно трудны в обращении и нелюбезны со мной, а с ней я отдыхаю, возле нее можно хотя

[5] Как некрасиво! (*фр.*).

бы отдохнуть, и я для нее не хуже, чем она для меня, с ней я по меньшей мере могу на время забыть об этом неустанном, бесконечном соперничестве... Обо всей этой мишуре. Мы полюбили друг друга потому, что она мне не нравится так же, как и я ей, и — никакого неравенства.

ПРИНЦ. Восхищен вашей откровенностью!

ИННОКЕНТИЙ. Я бы охотно обманул вас, но теперь невозможно, времена уже не те, все на виду, фиговые листки поувяли. И не остается ничего другого, как быть откровенным. Да я и не скрываю, что любовь наша — это так... ради взаимного утешения... ведь я пользуюсь успехом у женщин в той же мере, что и она у мужчин. Но не стану также скрывать, что ревную — да, моей ревности я скрывать не стану, выражу ее со всей последовательностью, имею право! (*К Ивонне, с неожиданной страстностью.*) Влюбилась в него? Влюбилась? Ну? Что?

ИВОННА (*кричит*). Пошел прочь! Прочь! Прочь! Вон отсюда!

ИННОКЕНТИЙ. Влюбилась!

ИВОННА (*успокаиваясь*). Вон!

ПРИНЦ. Отозвалась. Но в таком случае... Ответила. Заговорила. Слышали? Но в таком случае... это означает... если уж заговорила... что она действительно в меня влю...

ИННОКЕНТИЙ. Так ведь оно и видно. А я как всегда проиграл. И потому должен уйти. Ухожу. (*Уходит.*)

ПРИНЦ. Влюбилась... А должна была возненавидеть. Я издеваюсь над ней. Унижаю. А она влюбилась. И теперь... любит меня. За то, что я ее не выношу. За это любит меня. Ситуация становится серьезной.

Входит ВАЛЕНТИН.

Уйди, Валентин! Что же мне теперь делать?

КАМЕРГЕР. К этой ситуации, принц, следует отнестись со свойственным вам юношеским легкомыслием!

ПРИНЦ (*к Ивонне*). Нет. Скажи, что нет. Ты меня не любишь?

ИВОННА (*молчит*).

ПРИНЦ. Если она меня любит, то я... то я, следовательно, ею любим... А если я ею любим, значит, я ее возлюбленный... Я существую в ней. Она заключила меня в себя. И я не вправе презирать ее... если она меня любит. Не вправе попрежнему презирать ее здесь, если там, в ней, я ее возлюбленный. Ах, ведь я, собственно, всегда считал, что сущест-

вую только здесь, сам по себе, сам в себе — а тут сразу — бац! Она поймала меня — и я оказался в ней, как в ловушке! (*К Ивонне.*) Если я твой любимый, то не могу не любить тебя. Мне придется тебя полюбить... и я полюблю тебя...

КИРИЛЛ. Что ты надумал?

ПРИНЦ. Полюбить ее.

КИРИЛЛ. Ты замышляешь нечто невероятное! Это невозможно!

ПРИНЦ. Ивонна, надень шляпку.

КИРИЛЛ и КАМЕРГЕР. Куда вы? Куда вы?

ПРИНЦ. Мы прогуляемся. Вдвоем. Наедине. Чтобы полюбить.

ПРИНЦ и ИВОННА уходят.

КИРИЛЛ. Что же теперь делать?

КАМЕРГЕР. Вскружила ему голову!

КИРИЛЛ. Чтобы такая уродина вскружила голову? Такая уродина?

КАМЕРГЕР. Уродливые женщины, когда подпускаешь их к себе слишком близко, способны порой сильнее вскружить голову, чем красивые.

КИРИЛЛ. Мой разум отказывает мне!

КАМЕРГЕР. А я вас уверяю, нет ничего более опасного... Обычно считается, что опасность исходит от женщин приятных, однако неприятная, истинно неприятная женщина действует на мужчин — равно как, впрочем, истинно неприятный мужчина на женщин... ого! Я всегда стараюсь не слишком вникать. Противоположный пол неизменно привлекает! И такая вот неприятная женщина, в особенности, если она молода и если ее неприятные свойства ярко выражены хо, хо, хо! В особенности для молодого человека, который приближается к ней доверчиво, пылко — хо, хо, хо — и тут вдруг оказывается лицом к лицу... с такими жуткими... жуткими вещами...

КИРИЛЛ. Какими вещами?

КАМЕРГЕР. Вы, молодой человек, о них не знаете, а я, хоть, надеюсь, и имею немалый жизненный опыт, тоже не знаю. Существует определенная разновидность явлений, которых джентльмен знать не может по той причине, что, узнав их, он бы перестал быть джентльменом.

Звонок.

Что там опять?

Входит ВАЛЕНТИН.

ВАЛЕНТИН. Открыть?

Входят КОРОЛЬ и КОРОЛЕВА.

КОРОЛЕВА. Где Филипп? Их что, нет?

КАМЕРГЕР. Ушли.

КОРОЛЬ. Мы явились сюда лично, потому что он... Господи милостивый, что он там опять натворил? Дамы прибежали к королеве с жалобой, что наш сын, якобы нарочно, для розыгрыша, обручился с этим пугалом, чтобы таким способом высмеять, ну это... какие-то там несовершенства их внешности... Ха-ха-ха! Вот негодник! Ну, если он только ради этого, тогда еще полбеды.

КОРОЛЕВА. И все же нельзя допускать подобные вещи. Мои фрейлины ужасно возмущены, а вы здесь позволяете себе неуместные шуточки.

КАМЕРГЕР. Да, да, да! Если бы дело было только в этом! Будьте осторожны!

КОРОЛЬ. Что случилось?

КАМЕРГЕР. Случилось... Случилось то, что он там сейчас в нее влюбляется... хочет полюбить ее... Нет, всего, что тут происходит, не выразишь словами. Язык не поворачивается! Ситуация складывается... взрывная. Ваши величества! Будьте осторожны — не то взорвется!

КОРОЛЬ и КОРОЛЕВА. Что же делать?

АКТ III

Покои в замке. На стуле сидит КИРИЛЛ, мимо проходят, хихикая, две дамы, следом за ними входит ПРИНЦ.

ПРИНЦ. Что ты здесь делаешь?

КИРИЛЛ. Сижу.

ПРИНЦ. И что дальше?

КИРИЛЛ. И ничего.

ПРИНЦ. О чем они говорили? Ты не слышал, над чем смеялись те вертихвостки? Не обратил внимания?

КИРИЛЛ. Женщины постоянно смеются. Хихикать — это естественное состояние любой женщины, поскольку улыбка всегда их украшает.

ПРИНЦ. А это не надо мной?

КИРИЛЛ. С какой стати им смеяться именно над тобой? До сих пор они высмеивали только друг друга.

ПРИНЦ. Если не надо мной, тогда над ней… над моей невестой. Я замечаю, однако, что изменился характер смеха. Возможно, я ошибаюсь, но мне начинает казаться, что объектом насмешек вместо… нее становлюсь я. Все придворные — и дамы, и кавалеры — постоянно шепчутся и хихикают. Или, может, мне почудилось? Но я догадываюсь… Прошу тебя… Пожалуйста, попробуй разведать, что о нас говорят, что это за насмешки. Я хочу знать, над чем они смеются. Мне, конечно, совершенно безразлично, просто я хочу знать. И при случае скажи им, что если они будут и дальше за моей спиной позволять себе…

КИРИЛЛ. Филипп, что с тобой происходит? Ты стал раздражителен и обидчив, как если бы сам был собственной невестой.

ПРИНЦ. Ну, ну, не позволяй себе лишнего. Хватит. Я не привык к тому, чтобы я, мои поступки, мои чувства становились предметом насмешек. Скажи этой публике, если хоть кто-то позволит себе бестактность, пусть даже намеком…

В глубине открываются двери, под сигналы фанфар входят: КОРОЛЬ, КОРОЛЕВА, КАМЕРГЕР, ИВОННА, ИЗА, придворные.

КОРОЛЕВА. Тебе понравилось? Вкусно было? Правда? Ты сыта, детка? (*Улыбаясь, целует Ивонну.*) Не хочешь еще грушу? Грушу в сахаре? Запеченную в сахаре? Сладкого не хочешь?

ИВОННА (*молчит*).

КОРОЛЕВА. Груша прибавит тебе сил. (*Смеется.*) Это полезно! Полезно!

КОРОЛЬ. Полезно! О-хо-хо.

Молчание.

КОРОЛЕВА. А может, немного сливок? Сливки укрепляют. Это полезно. Ну что, сливочек хочешь? Или молочка? Молочка с сахаром?

Молчание.

Ну, что ты? Аппетита нет? О, это нехорошо. Что же нам теперь делать? Что? Что нам делать?

ИВОННА (*молчит*).

КАМЕРГЕР. Ничего? (*Снисходительно смеется.*) Ничего?

КОРОЛЬ. Ничего? (*Снисходительно смеется. Вдруг нервно.*) Ничего? (*К Камергеру.*) Ничего?

КОРОЛЕВА. Ничего…

КАМЕРГЕР. Абсолютно ничего, ваше величество. В сущности, если можно так выразиться, — ничего.

Молчание.

КОРОЛЕВА. До чего же она робкая… Такая милая, тихая. Вот только, если бы хоть изредка отвечала нам. (*К Ивонне.*) Ты бы хоть изредка отвечала, моя птичка. Это же нетрудно. Следует хоть иногда что-нибудь сказать, детка, этого требуют приличия, элементарные приличия. Ты же, наверное, не хочешь нарушать приличия… Что? Ну, что будем делать? Чем теперь займемся? А?

КОРОЛЬ. Ну?

КАМЕРГЕР. А?

ИВОННА (*молчит*).

КОРОЛЬ. Ну, так как? Ничего? Нельзя же не знать чего ты хочешь! Нельзя целый день бродить по дому и ничего не делать — ничего! Это же скучно. Ведь скучно же. (*Ошеломленно смотрит на всех.*) Скучно! Побойтесь Бога!

КАМЕРГЕР. Скучно!

КОРОЛЕВА. Боже милостивый!

ВАЛЕНТИН (*входя*). Ваше высочество, пришел доктор, ожидает в галерее.

ПРИНЦ (*к Ивонне*). Пойдем, побеседуем с доктором. С вашего позволения!

ПРИНЦ и ИВОННА идут к дверям.

КОРОЛЕВА. Филипп! Прошу тебя на минутку! Филипп! (*Принц возвращается. Королева — к придворным.*) Оставьте нас, господа, нам необходимо поговорить с нашим сыном.

Придворные отходят в сторону.

Филипп, тебе не на что жаловаться, мы уважаем твои чувства. Приняли бедную птичку как отец и мать. Только

нельзя ли как-нибудь повлиять на нее, чтобы стала пообщительней? Сегодня за ужином опять молчала. И за обедом молчала. Молчала также за завтраком. И вообще, все время молчит. На что это похоже и как мы выглядим из-за этого ее молчания? Филипп, ведь нужно соблюдать приличия.

ПРИНЦ (*саркастично*). Приличия!

КОРОЛЕВА. Филипп, сын мой, разве мы не отнеслись к ней сердечно, как к дочери? Разве, невзирая на многие недостатки, не любим ее за то, что она любит тебя?

ПРИНЦ (*угрожающе*). Вот и любите ее! Любите! Во всяком случае, я бы не советовал вам не любить ее! (*Выходит.*)

КОРОЛЕВА. Господи, просвети, Господи, укажи путь! Игнаций, может, ты недостаточно тепло к ней относишься — она тебя боится.

КОРОЛЬ. Боится… А как она шныряет по углам и все в окна выглядывает, то в одно, то в другое. И ничего. (*Удивленно.*) И ничего более! Она все окна нам высмотрит. Боится… (*К Камергеру.*) Дай-ка мне донесения! Вот, Франция опять бурлит! (*Про себя.*) Боится, а чего — сама не знает? Чтобы меня бояться? (*К Королеве.*) И ты тоже — все хороводы вокруг нее водишь. (*Передразнивает.*) Грушечка, пирожное… Будто хозяйка пансионата.

КОРОЛЕВА. Да, зато ты ведешь себя с ней абсолютно непринужденно прежде, чем заговорить, обязательно сглатываешь слюну. Может, думаешь, это не слышно. А говоришь с ней так, словно боишься ее.

КОРОЛЬ. Я? Словно боюсь? Это она боится. (*Тише.*) Шельма.

КАМЕРГЕР. Наверное, величественность вашего величества вселяет в нее робость, что меня вовсе не удивляет, поскольку и сам я порой испытываю священный трепет. И, тем не менее, я бы полагал полезным, если бы ваше величество соизволили поболтать с ней наедине… Вселить в нее большую уверенность…

КОРОЛЬ. Это я должен с ней наедине? С этой цацей?

КОРОЛЕВА. Прекрасная мысль. Ее нужно постепенно приручать — сначала где-нибудь в сторонке, наедине, а потом она привыкнет к нам, так мы поможем ей освободиться от ее невероятной замкнутости и робости. Игнаций, отнесись к этому серьезно. Сейчас я под каким-нибудь предлогом пришлю ее сюда. Филипп как раз беседует с врачом. Я ее пришлю как бы за мотком шерсти, а ты отнесись к ней поотечески. (*Выходит.*)

КОРОЛЬ. Ты, камергер, иной раз такое ляпнешь, — ну о чем я стану с ней говорить?

КАМЕРГЕР. Но, ваше величество, это самое обычное дело — подойти, улыбнуться, заговорить, пошутить — тогда и ей, само собой, придется улыбнуться или даже рассмеяться — а тут ваше величество опять улыбнетесь — и так из улыбок возникнет то, что мы называем атмосферой светского общения.

КОРОЛЬ. Уж я улыбнусь, улыбнусь... И я должен перед ней кривляться из-за того, что она робкая? Камергер, ты уж как-нибудь сам займись этим. (*Хочет уйти.*)

КАМЕРГЕР. Но, ваше величество! Ведь вашему величеству, я думаю, не впервой придавать смелости — равно, как и вселять робость.

КОРОЛЬ. Да, но она боится... Понимаешь... ну, это... боится, шельма.

КАМЕРГЕР. Каждый человек чего-нибудь боится.

КОРОЛЬ. Согласен, но она и боится как-то вяло, — боится, но как-то апатично. (*Испуганно.*) Камергер, она боится равнодушно. Ого, идет. Задержись, не стану же я тут один перед ней паясничать. Не уходи, останься. Э, э, э. (*Старается придать лицу любезное выражение.*)

Входит ИВОННА.

А-а-а, просим.

Ивонна приближается, осматривается. Король — добродушно.

Ну, ну, что там такое — что там?
ИВОННА. Шерсть...
КОРОЛЬ. Шерсть?
ИВОННА. Шерсть...
КОРОЛЬ. О-о! Вот шерсть. (*Смеется.*)

ИВОННА берет моток шерсти.

Хе-хе-хе.
ИВОННА (*молчит*).
КОРОЛЬ. Шерсть потерялась?
ИВОННА (*молчит*).

КОРОЛЬ. Гм, гм! (*Подходит ближе.*) Ну, ну, что такое? Ну, ну. (*Смеется.*) Ну? Мы, похоже, немножко испугались? А? Бояться нечего. Ну! Нечего! (*Нетерпеливо.*) Если я сказал — нечего, значит — нечего!

ИВОННА (*немного отступает*).

КОРОЛЬ. Ведь я отец... отец Филиппа, папа? Тьфу! Не папа, но отец! Во всяком случае... Не чужой же я. (*Подходит, Ивонна отступает.*) Ну, не надо так... Я обыкновенный человек. Самый обыкновенный — никакой не царь Ирод! Никого не съел. Так что бояться нечего. И не зверь я. Говорю же, что я не зверь! Не зверь! (*Взволнованно.*) И нечего бояться! Я не зверь! (*Подходит, Ивонна резко отступает, роняя моток шерсти, Король кричит.*) Ну, я же говорю тебе, нечего бояться! Ведь я не зверь!!!

КАМЕРГЕР. Нет, нет. Тс-с-с... Не так!

КОРОЛЬ. Мерзавка этакая!

Ивонна продолжает отступать и выходит.

КАМЕРГЕР. Тише! Могут услышать!

КОРОЛЬ. Боится. Камергер, а помнишь ту... которая того... которая боялась... Цаца... М-м-му... Тю-тю...

КАМЕРГЕР. Я бы сказал, что она и бояться-то не умеет. Некоторые из придворных дам боятся просто чудесно — прелестно, пикантно — а у этой страх какой-то обнаженный. (*С отвращением.*) Голышом!

КОРОЛЬ. Ха! Мне кое-что вспомнилось.

КАМЕРГЕР. Вспомнилось?

КОРОЛЬ. Боится. Помнишь, камергер, помнишь ту... которую того... которую мы... Давно уже. Как все забывается.

КАМЕРГЕР. Кого, ваше величество?

КОРОЛЬ. Да, давно было. Я и сам напрочь забыл. Давно. Я тогда еще в принцах ходил, а ты только в проекте на камергера. Помнишь ту малышку, которая того... которую мы... Да вроде, на этой самой кушетке. Она, кажется, белошвейкой была...

КАМЕРГЕР. Ага, белошвейка, на кушетке... Эх, молодость, молодость, чудесное было время. (*Входит Валентин.*) Чего тебе, Валентин? Пожалуйста, не мешай.

ВАЛЕНТИН уходит.

КОРОЛЬ. Она потом умерла, да? Вроде, утопилась...

КАМЕРГЕР. А как же! Помню как сегодня. Пошла на мост, и с моста в реку... Эх, молодость, молодость, что может быть прекраснее.

КОРОЛЬ. Тебе не кажется, что она была похожа на эту кривляку?

КАМЕРГЕР. Что вы, ваше величество, ведь эта — полноватая блондинка, а та была из сухощавых, пикантных брюнеток.

КОРОЛЬ. Да! Но тоже боялась. Цаца. М-м-му. Точно так же боялась. До чертиков боялась — шельма!

КАМЕРГЕР. Если это воспоминание доставляет вашему величеству даже малейшее огорчение, лучше не вспоминать. Умерших женщин лучше не помнить. Мертвая женщина — уже не женщина.

КОРОЛЬ. Она боялась и, так же как эта, была какая-то — замученная. На этой самой кушетке. И надо же, чтобы всегда кто-нибудь... того... когда что-нибудь... Тьфу, тьфу! Вот дьявольщина, камергер, чертовски ясно вспомнилось.

Входит КОРОЛЕВА.

КОРОЛЕВА. Поздравляю! Ты просто волшебно приободрил ее! Просто великолепно! Бедняжка не может дух перевести! Какая муха тебя укусила, Игнаций? Ты же все испортил!

КОРОЛЬ. Дьявольщина, дьявольщина! Не приближайся ко мне, государыня.

КОРОЛЕВА. Что с тобой случилось? Отчего я не могу приблизиться к тебе?

КОРОЛЬ. Отчего? Почему? Опять — почему? Мне разве нельзя поступать по своему желанию? Я, что, под опекой? Не хозяин в собственном доме? Должен во всем отчитываться? Ну, что ты меня разглядываешь? Что смотришь на меня? Все — почему да как? Почему накричал? Потому что она кое-что мне напоминает!

КАМЕРГЕР. Не стоит об этом! Ваше величество, к чему снова вспоминать!

КОРОЛЬ. Да, напомнила мне кое-что, но о тебе! О тебе, моя дорогая!

КОРОЛЕВА. Обо мне?

КОРОЛЬ. Ха-ха-ха, что ты так смотришь? Черт побери, Маргарита, я признаю: да, вспылил, но, представь, странное дело, не могу смотреть на эту крошку, чтобы мне сразу же не вспомнилось кое-что о тебе. Я не хотел говорить, это не со-

всем удобно, но раз уж ты спрашиваешь, буду откровенен. Порой бывает, что одна какая-нибудь особа напоминает другую, но... как бы это сказать... не совсем одетую. И когда я смотрю на нашу кривляку, как она двигается... как копается, возится... понимаешь, как у нее внутри будто что-то хлюпает... то сразу что-то напоминает мне о тебе, как-то возникает вдруг мысль о тебе... в неглиже...

КОРОЛЕВА. Она тебе напоминает меня... что? В неглиже?

КОРОЛЬ. Именно так! Именно то, что ты сейчас думаешь! Ну, скажи — что? Скажи, что ты сейчас думаешь, и тогда выяснится, думаем ли мы об одном и том же. Скажи на ушко.

КОРОЛЕВА. Игнаций! О чем ты говоришь?

КОРОЛЬ. Значит я прав, моя королева! Значит и у нас есть свои секреты!

КОРОЛЕВА. Ты забываешься!

КОРОЛЬ. Напротив — я вспоминаю! Вспоминаю! Я все помню! Тю-тю! Му-му! (*Внезапно выходит.*)

КОРОЛЕВА. Что все это значит?

КАМЕРГЕР выбегает следом за КОРОЛЕМ. КОРОЛЕВА стоит в задумчивости, прикладывает палец ко лбу. Входит ИЗА и вертится перед зеркалом.

Перестань кокетничать.

ИЗА (*застыдившись*). Ваше величество...

КОРОЛЕВА. Ты все время кокетничаешь. С тех пор как эта... эта... несчастная появилась при дворе, вы все без конца кокетничаете. Подойди ко мне, милая барышня. Мне нужно кое о чем тебя спросить.

ИЗА. Государыня...

КОРОЛЕВА. Смотри мне в глаза. Признайся — ты никому не говорила, никому не проболталась о... о моих стихах? Скажи откровенно, — не удержалась и рассказала!

ИЗА. Ваше величество!

КОРОЛЕВА. Значит, никому не говорила? Ни о чем? Тогда я не понимаю, откуда он мог узнать. Наверное, нашел под матрацем мою тетрадь.

ИЗА. Кто, ваше величество?

КОРОЛЕВА. Причина только в этом, иначе и быть не может. Он имел в виду только это! А теперь — скажи откровенно, можешь говорить со мной так, будто я не королева, я временно освобождаю тебя от всех условностей церемониа-

ла. Ответь искренне, когда ты смотришь на Ивонну, тебе ничего не приходит в голову? Никакие мысли не возникают? Ну, определенные ассоциации?.. Ее походка, например? Ее нос? Взгляд и вообще вся манера поведения? Тебе это ничего не... напоминает? Ты не думаешь, что какой-нибудь насмешник мог бы найти здесь некую связь с... с... с моей поэзией, в которую я, возможно, вложила слишком много поэзии... моей поэзии... моей исповедальной поэзии?.. Ах!

ИЗА. Что? Твоя поэзия, госпожа, и... и... Как же это?

КОРОЛЕВА. Будь она проклята, моя поэзия! Этот мир слишком груб! Будьте прокляты мои порывы, экстазы, мечтания и признания! Ты не хочешь быть со мной искренней! Ха... он сказал: «в неглиже», почему «в неглиже»? Если бы не читал стихи, не сказал бы — но разве те мои строки были негли?.. Отвратительное слово! Ты не говоришь мне всей правды! А теперь поклянись, что ни словечком не обмолвишься о том, что я сейчас тебе рассказала. Поклянись! Поклянись перед этими свечами. Мне не до шуток. Поклянись! И оставь свой ложный стыд. Быстро, на колени... и повторяй за мной: клянусь...

Входит ПРИНЦ.

ПРИНЦ. Мама, я хотел бы с тобой переговорить. Ах, извините. Похоже, я помешал вам колдовать.

КОРОЛЕВА. Нет, ничего, она мне туфлю поправляет. Мне купили слишком широкие.

ПРИНЦ. Зачем король перепугал мою невесту?

КОРОЛЕВА. Филипп, только, пожалуйста, не таким тоном!

ПРИНЦ. А каким? Каким тоном должен я говорить, если отец без всякого повода набрасывается на мою невесту, кричит на нее — в грубейшей форме! Если мою невесту едва не парализовало с испуга. Если я даже на мгновение не могу отойти, чтобы вы тут же не начали вытворять с ней, что вам только в голову взбредет? Мне кажется, что я, наоборот, слишком спокоен.

Входит ВАЛЕНТИН.

Выйди, Валентин. Мама, я хотел бы поговорить с тобой наедине.

КОРОЛЕВА. Я соглашусь побеседовать с тобой, но сначала скажи, о чем ты хочешь говорить.

ВАЛЕНТИН выходит.

ПРИНЦ. Ты весьма осмотрительна, государыня. Извини, мама, но я должен сказать тебе нечто... нечто такое, что может показаться несколько диким и эксцентричным. Даже не знаю, как лучше выразиться. Неужели она напоминает королю о каких-то твоих грехах?

КОРОЛЕВА. Кто тебе сказал?

ПРИНЦ. Отец! Он, мол, накричал на нее из-за того, что она ему напоминает о каких-то твоих интимных грешках.

Входят КОРОЛЬ и КАМЕРГЕР.

КОРОЛЕВА. Игнаций, что ты такое наговорил Филиппу?

КОРОЛЬ. Наговорил? Ничего я не наговорил. Он мне надоедал, ну я ему и сказал. А он — что? как? почему? Я и сказал ему всю правду. Пусть уж лучше надоедает тебе, а не мне.

КОРОЛЕВА. Игнаций!

ПРИНЦ. Минутку... минутку... Подумайте, в какое положение вы ставите меня. Вдруг, ни с того ни с сего, отец набрасывается на мою невесту. Бранит ее последними словами, а когда я спрашиваю его о причине, на что, как мне кажется, имею полное право, вы мне такое говорите, что я перестаю понимать, что мне обо всем этом думать, как к этому отнестись? Что же получается? Мать нагрешила, и потому отец набрасывается на мою невесту?

КОРОЛЬ. Да, набрасываюсь. Да, я — отец, который набрасывается. Ну и что, что, может, по-твоему, здесь что-то не так? Что я — по причине собственных грехов? Маргарита, что ты так смотришь? Не разглядывай меня, не то я начну разглядывать тебя.

ПРИНЦ. Итак, мои родители разглядывают друг друга из-за моей невесты. Мать разглядывает отца, а отец — мать, и все по поводу невесты.

КОРОЛЬ. Ну, ну, Филипп, не делай из отца глупца. Успокойся.

КОРОЛЕВА. Филипп, отец разволновался и наговорил тебе Бог знает чего, лишь бы ты не мучил его расспросами. Не стоит дольше обсуждать подобный вздор. Лучше сменим тему.

ПРИНЦ. Государыня, я знаю, что все это вздор.

КОРОЛЕВА. Не будем об этом. Абсолютный вздор!

ПРИНЦ. Вздор, вне всякого сомнения. Просто глупость. Даже идиотизм. (*Кланяется.*)

КОРОЛЕВА. Почему ты мне поклонился?

ПРИНЦ (*доверительно*). Потому что я сам выгляжу несколько по-идиотски перед ней…

КОРОЛЕВА. Ты — по-идиотски?

ПРИНЦ. По-другому не назовешь. Я не люблю ее. И потому охотно верю, что вы тоже ведете себя с ней бессмысленно и по-идиотски, ведь я и сам веду себя так же по отношению к ней.

КОРОЛЬ. Ну, ну, не позволяй себе лишнего. (*Принц кланяется.*) Чего ты кланяешься, осел? Чего?

ПРИНЦ (*доверительно*). С ней можно позволять себе все, что угодно.

КОРОЛЬ. Что? Что? Все что угодно? Я себе ничего такого не позволяю. Чего ты от меня хочешь? Камергер… (*Отступает.*) Это же… Г-м… Что это еще за новости?

КОРОЛЕВА. Филипп, что означают эти твои поклоны? Прекрати кланяться!

КОРОЛЬ (*в сторону*). Негодяй! Негодяй!

КАМЕРГЕР. Если с ней можно позволять себе все что угодно, это еще не означает, что вы, принц, можете и с нами поступать так же. (*Принц кланяется ему — тот отскакивает.*) Только не мне! Почему вы кланяетесь мне? Я не имею со всем происходящим ничего общего! Пожалуйста, не приближайтесь ко мне!

ПРИНЦ (*доверительно*). А к ней любой может приблизиться. За волосы ее схватить. За ухо!

КОРОЛЬ (*внезапно*). Ха-ха-ха! (*Пристыженно замолкает.*) Это… того… Хм…

КАМЕРГЕР. Принц, если вы, ваше высочество, ко мне прикоснетесь, то я…

ПРИНЦ. А к ней любой может прикоснуться! Поверьте, вы можете с ней вытворять все, что вашей душе угодно! Она такая, что с ней можно — все! Робкая. Протестовать не станет. И несимпатичная. И все можно. С ней ты можешь вести себя по-идиотски, гадко, глупо, страшно, цинично — как захочешь — как заблагорассудится. (*Кланяется Камергеру.*) Полная свобода… Полная свобода…

КАМЕРГЕР (*отскакивает*). Меня все это не касается! Мне это безразлично. (*Кланяется Принцу.*) До свиданья… До свиданья… (*Выходит.*)

КОРОЛЬ. Негодяй. Негодяй. Ну-ну, сынок... Что так уставился? До свиданья. (*Кланяется.*) До свиданья. Вон! Вон! (*Выходит.*)

КОРОЛЕВА. Что все это значит?! Объясни, что все это значит, зачем ты все это говоришь... До свиданья, до свиданья. (*Выходит.*)

ПРИНЦ (*вслед уходящим*). Все можно! Все! Кому что захочется. (*Про себя.*) А она там сидит, сидит где-то в уголке и любит меня — и любит меня! Любит меня! И все можно! Все можно! Кому что понравится! Все! (*Замечает Изу, которая хочет уйти, встав со стула в глубине декорации, где она сидела в течение всей сцены. Принц подходит к ней и целует ее в шею.*) С ней можно не церемониться!

ИЗА. Отпустите меня!

ПРИНЦ. Ах! Да вы не стесняйтесь! Все можно. (*Целует ее в губы.*) Ах! Какое наслаждение...

ИЗА (*пытаясь освободиться*). Я сейчас закричу!

ПРИНЦ. Я же говорю вам, не стесняйтесь, с ней можно все! Извините! Я, собственно, не хотел. Как-то так само... Извините, что же я натворил? Повел себя как сумасшедший.

ИЗА. Просто наглость!

ПРИНЦ. Умоляю, никому не рассказывайте, ведь если слух дойдет до моей невесты, она будет страдать... Будет страдать! Страдать, страдать, страдать!

ИЗА. Да отпустите же меня, принц!

ПРИНЦ (*продолжая удерживать ее*). Сейчас, сейчас... Потерпите. (*Целует.*) Ах, что за носик, что за губки! Не уходи! Похоже, я ей изменяю! Это ужасно! Но это же прекрасно! Ах, как мне легко! (*Кричит.*) Валентин! Валентин!

ИЗА (*вырываясь*). Прошу вас хотя бы никого не звать.

ПРИНЦ. Напротив, напротив, моя золотая...

Входит ВАЛЕНТИН.

Валентин, пожалуйста, попроси господина Кирилла пригласить сюда мадемуазель Ивонну! Быстро!

ВАЛЕНТИН выходит.

Я и не подумаю отпустить тебя. Только сейчас, с тобой, я чувствую себя на своем месте. Ах, что за наслаждение держать в объятьях существо... не вызывающее отвращения. Я пришлю тебе цветы. Ах, как легко. Я должен насладиться

этой легкостью. Легкостью, которую вновь обрел! Я люблю тебя!

Входят КИРИЛЛ и ИВОННА.

Кирилл, теперь Иза — моя невеста!

КИРИЛЛ. Как это?!

ПРИНЦ. Ивонна, я вынужден кое в чем тебе признаться. Только что я изменил тебе с Изой. И ты перестаешь быть моей невестой. Весьма сожалею, но ничего не могу поделать. Ты лишена сексапильности, которой в высшей степени наделена Иза. Не сердись, что я извещаю тебя о случившемся подобным образом, столь неожиданно, но я решил воспользоваться некой легкостью, которая внезапно посетила меня благодаря тебе... благодаря тебе, мое сокровище. (*Целует Изе руку, затем к Ивонне.*) Ну, что ты так стоишь? Пожалуйста, стой, стой сколько угодно, мне безразлично! И прощай! Я ухожу, отплываю, отбываю, отдаляюсь, порываю с тобой! И ничего ты не выстоишь!

КИРИЛЛ. Ничего она не выстоит! Пусть хоть десять лет простоит! Вот это радость!

ПРИНЦ (*к Изе*). Извини, моя драгоценная, я забыл спросить тебя о согласии. Не отказывай мне. (*Целует ей руку.*) Ах, каждое такое прикосновение исцеляет меня. Сейчас же отдам все необходимые распоряжения. Не нужно скрывать от мира, что мы обручились. И родители будут рады. Камергер... наш славный камергер! Придворные... какое для всех облегчение. Ведь атмосфера при дворе действительно становилась невыносимой. (*К Ивонне.*) Ну что ты все стоишь? По-моему, между нами все уже выяснено. Чего ты еще ждешь, дорогая.

КИРИЛЛ. Сама она с места не сдвинется.

ПРИНЦ. Вызови этого, ее возлюбленного, пусть заберет ее себе или, во всяком случае, заберет отсюда и доставит к месту постоянного пребывания.

КИРИЛЛ. Я сейчас же приведу его, и мы ее отправим. Сию же минуту, Филипп! Только... смотри, как бы она здесь чего-нибудь не выстояла!

ПРИНЦ. Не бойся!

КИРИЛЛ выходит.

А ты можешь стоять, сколько душе угодно, тебе больше не удастся поставить меня в глупое положение. Я стал дру-

гим. Изменил тон, и сразу же все изменилось! Вот ты стоишь, как укор совести, а мне безразлично! Ну и стой, если тебе хочется! Ха, ха, ха. Впрочем, ты любишь, когда тебе причиняют боль, потому что абсолютно лишена сексапильности. Ты сама себя не любишь, ты — сама себе враг, и потому подсознательно провоцируешь и восстанавливаешь всех друг против друга, и каждый чувствует себя по отношению к тебе разбойником и подлецом. Но теперь, хоть бы ты тут год простояла, твоя мрачность и трагичность не смогут преодолеть моей беззаботности и легкости. (*Игриво смеется в сторону Ивонны и кружится вместе и Изой.*)

ИЗА. Может, лучше не стоит так с ней говорить? Будь милосерден, Филипп.

ПРИНЦ. Нет, нет, никакого милосердия. Только легкомыслие! Уж я-то ее знаю — есть опыт. Во-первых, пока она здесь ждет, нужно непрестанно что-нибудь говорить, а во-вторых, говорить следует именно самое плохое, причем легким, веселым тоном. Главное — все самые неприятные, непристойные вещи говорить невинным, пренебрежительным тоном. Это лишает ее возможности проявить себя, лишает ее молчание силы воздействия, а то, что она здесь торчит, вовсе перестает иметь значение. Все это переносит ее в сферу, где она беспомощна. Тебе не следует беспокоиться, теперь мне уже ничто не грозит. Прервать связь с человеком чертовски легко, это, прежде всего, вопрос перемены тона. Пусть стоит сколько влезет, пожалуйста, пусть стоит и смотрит... А впрочем, уйдем мы. Совершенно верно, мне просто не пришло в голову, что можно взять и уйти. Если стоит она, то уходим мы. (*Ивонна наклоняется.*) Не смей кланяться мне!

ИВОННА. Я не кланяюсь.

ПРИНЦ. Положи это! Что ты подняла с пола? Что это? Волос? На что он тебе? Чей это волос? Волос Изы. Положи — ты хочешь его взять? Зачем?

ИВОННА (*молчит*).

Входят КИРИЛЛ и ИННОКЕНТИЙ.

ИННОКЕНТИЙ. Извините, но так не поступают! Вы, принц, влюбили в себя девушку, а теперь отталкиваете ее! Царственные капризы! Вы сделали ее несчастной! Я протестую!

ПРИНЦ. Что? Что? Вы протестуете?

ИННОКЕНТИЙ. Извините, я пытаюсь протестовать. (*Под грозным взглядом Принца внезапно садится.*)

ПРИНЦ. Смотрите, как этот человек уселся на свой протест.

КИРИЛЛ. Уселся, как собака на хвост. Ну, в дорогу! Забирайте свою прелестницу.

ПРИНЦ. Стойте! Пусть отдаст волос!

КИРИЛЛ. Какой волос, принц?

ПРИНЦ. Ивонна, верни волос! Пусть она отдаст волос!

ИЗА. Волос у меня достаточно. Филипп…

ПРИНЦ. Нет, нет, пусть отдаст! Я не перенесу, если у нее… останется… этот волос! Отдай! (*Отнимает волос.*) Отнял! Ну и что с того, что отнял? Она же не этот волос — она нас обоих заключила в себе! (*К Изе.*) Мы оказались там, в ней. У нее. В ее владении. Выйдите все! Я сейчас приду. Кирилл!

Выходят все, кроме ПРИНЦА и КИРИЛЛА.

Задержи ее в замке. Не дай ей возможности уйти. Скажи им, что пока не следует оповещать о нашем разрыве. Пусть на время все останется так, как было.

КИРИЛЛ. Так и знал, что она что-нибудь выстоит. Опять начинаешь!

ПРИНЦ. Напротив, хочу покончить раз и навсегда. Только не пугайся. Мне придется ее… (*Показывает на горло.*)

КИРИЛЛ. Что?! Кого?!

ПРИНЦ. Ивонну.

КИРИЛЛ. Не сходи с ума, ради всего святого. Ведь все уже улажено. Ты порвал с ней. Я отправлю ее домой. Ее больше не будет.

ПРИНЦ. Здесь не будет — зато будет в другом месте. Где бы она ни находилась, будет всегда. Я буду здесь, а она там… Бррр… Не хочу. Лучше один раз убить.

КИРИЛЛ. Но ведь ты излечился!

ПРИНЦ. Слово даю, окончательно излечился. И влюбился в Изу. Сумел оторваться от страданий этой страдалицы. Но, Кирилл, мы оказались в ней — Иза и я — мы в ней, и она будет там, в себе, с нами… над нами… будет поступать с нами по-своему, на свой манер, понимаешь? Тьфу, тьфу! Не хочу. Убью ее. Что изменится, когда она уйдет? Да, уйдет, но унесет нас в себе… Да, конечно, я знаю, что так поступать не следует, что нельзя убивать… поверь, я в здравом уме, понимаю что говорю, нисколько не утрирую ни в ту, ни в

другую сторону... (*С легким беспокойством.*) Ты должен признать, что я не похож на сумасшедшего.

КИРИЛЛ. Хочешь убить ее в буквальном смысле слова, то есть просто взять и убить? Но это же преступление.

ПРИНЦ. Всего лишь еще только одна шалость, только одна эксцентричная выходка, чтобы потом их вообще не было. К тому же все будет сделано абсолютно гладко, хладнокровно, трезво, легко — сам увидишь, тебе только кажется, что это страшно, а ведь в сущности — обычная операция, не более того. Убить такую замухрышку очень легко, она сама напрашивается. Обещаешь мне помочь?

КИРИЛЛ. На что она тебя толкает... мерзавка!

ПРИНЦ. Мы зашли с ней в тупик и теперь необходимо выбираться. А мое обручение с Изой следует пока сохранить втайне. Никому не говорите о нем. Пусть до завтрашнего дня все останется, как есть. Завтра я обдумаю наиболее подходящий способ ее ликвидации. Но ты должен мне помочь, потому что я один... я не хочу в одиночку, я должен с кем-нибудь, одному мне с этим не справиться.

АКТ IV

Покои в замке. Под сигнал фанфар входит КОРОЛЬ, за ним трое Сановников.

КОРОЛЬ (*рассеянно*). Ну, хорошо, хорошо. Вы мне только надоедаете. У меня хватает забот поважнее. Что там у вас еще?

КАНЦЛЕР. Ваше величество, необходимо решить, в каком костюме следует направить во Францию нашего чрезвычайного посла и полномочного министра? Во фраке или в мундире?

КОРОЛЬ (*мрачно*). Пусть едет нагишом. (*Сановники удивляются.*) Извините, я сегодня немного рассеян. Пусть едет, в чем хочет, лишь бы за собственный счет.

САНОВНИКИ. Именно такого решения мы и ожидали, убежденные в глубочайшей мудрости вашего величества.

ГОФМАРШАЛ. Ваше величество, на сегодняшний вечер назначен торжественный ужин в честь рыцарственного в своей демократичности обручения принца Филиппа с представительницей низших слоев общества, мадемуазель Ивонной Цопек. Возможно, вы, ваше величество, соблаговолите высказать особые пожелания относительно меню?

КОРОЛЬ. Подайте им все отбросы... (*Сановники удивляются.*) То есть — я хотел сказать, деликатесы... Что это вы на меня так уставились?

САНОВНИКИ. Именно такого решение мы и ожидали, убежденные в глубочайшей мудрости вашего величества.

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ. Ваше величество, еще один момент — вот прошение о помиловании старика Хлипека, подкрепленное положительными резолюциями всех двенадцати инстанций.

КОРОЛЬ. Что? Как помиловать? Казнить его!

САНОВНИКИ. Ваше величество!

КОРОЛЬ. Казнить, я сказал. Что вас удивляет? Право помилования принадлежит мне. А я не соглашаюсь на помилование. Пусть подыхает! Смерть негодяю, но не потому, что он негодяй, а потому, что я... Гм... Того... Что я хотел сказать? Все мы негодяи. И вы тоже. Прекратите глазеть на меня. Смотрите, куда хотите, только не на меня. Я сыт по горло вашим вечным разглядыванием. Повелеваю, чтобы с сегодняшнего дня никто не смел глазеть на меня. А то все только и делают, что глазеют и глазеют.

САНОВНИКИ. Именно такого решения мы и ожидали, убежденные в глубочайшей мудрости вашего величества.

КОРОЛЬ. Ну, ну, а теперь убирайтесь. Мне надоела ваша болтовня. И не смейте ничему удивляться. Чтобы никто не удивлялся. Я был к вам слишком снисходителен! Всем покажу теперь, на что я способен. По струнке ходить будете. (*Сановники кланяются.*) Ну, ну, не смейте кланяться! Запрещаю вам кланяться! Каждому лишь бы только кланяться! Вон! Вон отсюда!

Встревоженные Сановники выходят, КОРОЛЬ с подозрением осматривается, затем прячется за кушетку. Входит КАМЕРГЕР, с осторожностью оглядывает комнату и, как бы нехотя и втайне от самого себя, начинает со злостью переставлять мебель, сдвигает стул, отворачивает угол ковра, переворачивает книги на полке вверх ногами, бросает на пол косточку от сливы и т.п. Замечает КОРОЛЯ.

КАМЕРГЕР. О!

КОРОЛЬ. Гм... гм...

КАМЕРГЕР. Ваше величество?!

КОРОЛЬ. Да, я. Ты чего тут делаешь?

КАМЕРГЕР. Я? Ничего.

КОРОЛЬ (*мрачно*). Удивился, наверное, застав меня здесь. (*С трудом вылезает из своего укрытия.*) Удивляйся, удивляйся — теперь мода такая пошла: каждый только и делает, что удивляется... Я здесь спрятался, ну, понимаешь, притаился.

КАМЕРГЕР. Ваше величество притаились? Кого вы подстерегаете?

КОРОЛЬ. Никого. Специально — никого. Притаился просто для удовольствия. (*Смеется.*) Понимаешь, эта комната примыкает к покоям нашей цацы. И Маргарита тоже иногда тут проходит, и даже присаживается. Здесь можно кое-что увидеть. Вот мне и захотелось посмотреть. Посмотреть собственными глазами.

КАМЕРГЕР. На что?

КОРОЛЬ. На Маргариту.

КАМЕРГЕР. На ее величество?

КОРОЛЬ. На ее величество — понимаешь, посмотреть, какая она, что делает, когда никто не видит. Столько лет вместе прожили, а я ведь, собственно, ничего о ней не знаю. У нее совесть нечиста. Гм... А может, она — может, она — может, она... Да что там, чего она только не может. Все может. Как подумаю, голова кругом идет. Может, она мне изменяет? Наверняка изменяет. А может, еще что-нибудь. Да все! Все что угодно! Хочу увидеть ее грехи...

КАМЕРГЕР. Ваше величество за кушеткой...

КОРОЛЬ. Молчи, осел. Я нарочно спрятался за кушеткой, чтобы меня никто не заметил. За кушеткой можно! (*Смеется.*) Можно! А ты, камергер, зачем здесь? Зачем переставляешь мебель и, вообще, с такой любовью принялся за этот натюрморт?

КАМЕРГЕР. Этот? Просто так...

КОРОЛЬ. Просто так? Если просто так, то говори! Я ведь тоже — просто так.

КАМЕРГЕР. Ну, хожу себе по замку и так немного...

КОРОЛЬ. Что?

КАМЕРГЕР (*смеется*). Создаю затруднения.

КОРОЛЬ. Затруднения?

КАМЕРГЕР. Вот, например, кресло. На него труднее сесть, если оно стоит вот так. (*Смеется.*) Можно сесть мимо...

КОРОЛЬ. А зачем ты, камергер, подбрасываешь косточки?

КАМЕРГЕР. Затрудняю хождение.

КОРОЛЬ. Хождение? (*Мрачно.*) А-а, значит, она и тебя допекла... наша кривляка. Ну, ну, ничего, ничего.

КАМЕРГЕР. Я, ваше величество, человек определенного общественного уровня, светский человек, и потому не переношу некоторых... Ваше величество, если так будет продолжаться, я не знаю, к чему приведет вся эта наглость, дерзость... распущенность какая-то...

КОРОЛЬ. Да, да, наглости хватает. Распущенность, ха-ха! А ты не забыл, старик? (*Толкает его.*)

КАМЕРГЕР. Я ничего не хочу помнить!

КОРОЛЬ. Нет, нет, он и тебе поклонился! Ну, ну, ничего, ничего. Распущенность нарастает, дерзость... Хорошо, хорошо. Камергер, что, если она будет здесь проходить... а я выскочу ей навстречу. Выскочу и напугаю, ха-ха! Перепугаю! С ней так можно! (*Смеется.*) Можно! Перепугаю и... и... ну, скажем, задушу! Убью! Ведь одну мы уже убили.

КАМЕРГЕР. Ваше величество, fi donc![6]

КОРОЛЬ. Я же говорю, с ней можно. С ней все можно.

КАМЕРГЕР. Исключено, ваше величество. Нам только этого недоставало! Побойтесь Бога — и так уже весь двор лихорадит от сплетен и пересудов. Его величество, светлейший государь, выскакивающий из-за кушетки... Нет, нет! Никогда еще строжайшее соблюдение такта и других правил светского общения не было столь обязательно, как при нынешних обстоятельствах. Хотя, правда, и у меня возник некий замысел. (*Смеется.*) Кое-что пришло в голову. (*Смеется.*)

КОРОЛЬ. Чего ты так по-идиотски смеешься?

КАМЕРГЕР. Это я по поводу моей идеи. (*Смеется.*) Ведь сегодня ваши величества устраиваете торжественный банкет по поводу этого самого злосчастного обручения. Что если подать к столу какую-нибудь рыбу, костлявую рыбу, с острыми костями, карасей, например, сейчас на карасей самый лов, вот и подать карасей в сметане.

Входит ВАЛЕНТИН.

Прошу выйти!

КОРОЛЬ (*мрачно*). Пошел вон! Карасей?

КАМЕРГЕР. Карасей. (*Смеется.*)

КОРОЛЬ. При чем тут караси?

---

[6] Как некрасиво! (*фр.*)

КАМЕРГЕР. Да, ваше величество, именно караси на торжественном, званом обеде. Возможно, вы, ваше величество, тоже замечали, что она, чем больше народу, тем сильнее теряется. А вчера, когда я взглянул на нее, ну, немного… высокомерно, свысока… так она чуть не подавилась картофелем, обыкновенным картофелем. Что если, ваше величество, подать карасей, а потом — строго, высокомерно. (*Смеется.*) Карась — трудная рыба… костлявая… На торжественном приеме, в присутствии множества посторонних людей, ею легко подавиться.

КОРОЛЬ. Камергер… (*Смотрит на него.*) Все это немного… глуповато… Караси?

КАМЕРГЕР (*обиженно*). Знаю, что глуповато. Не будь это глупо, не говорил бы.

КОРОЛЬ. Камергер, но… если она и в самом деле… если… Считаешь, она действительно может подавиться?..

КАМЕРГЕР (*свысока*). Ваше величество допускает такую возможность? Но это же глупо. А если бы даже и случилось по странному стечению обстоятельств… такое несчастье… что мы имели бы общего… с подобной глупостью?

КОРОЛЬ. Да, но… мы же сейчас говорим об этом?

КАМЕРГЕР. О, наш разговор… так, между прочим… (*Разглядывает свои ногти.*)

КОРОЛЬ. Между прочим? Нет! Так мы и сделаем! С ней, если строго, высокомерно, все можно сделать — любую глупость, самую что ни на есть дурацкую, такую, что никто даже не посмеет ничего заподозрить. Караси? А почему не карпы? Камергер, я спрашиваю, почему не карпы?

КАМЕРГЕР. Караси, караси…

КОРОЛЬ. Но почему не карпы? Или угри? Почему? Почему? Ладно, пусть караси. Гм… (*Со страхом.*) Строго? Резко? Свысока?

КАМЕРГЕР. Вот именно! Светлейший государь во всем своем величии.

КОРОЛЬ. Да, да, во всем величии. Пусть будет много огней, много людей и нарядных костюмов… Блеск, праздничность… Если с высокомерием на нее крикнуть, она подавится… Наверняка. Подавится насмерть. И никто не догадается, потому что слишком глупо — и свысока, свысока, а не исподтишка, величественно, во всем блеске. Свысока ее и убьем. Что? Гм… Постой, давай спрячемся, королева идет.

КАМЕРГЕР. Но я…

КОРОЛЬ. Прячься, быстро, я хочу понаблюдать за королевой.

Оба прячутся за кушеткой. Входит КОРОЛЕВА, осматривается — в руке у нее флакон.

(*В сторону.*) А это что?

КАМЕРГЕР. Тссс...

Королева делает несколько шагов в сторону комнаты Ивонны, останавливается — достает из-за корсета небольшую тетрадь — издает негромкий стон, закрывает лицо ладонью.

КОРОЛЬ (*в сторону*). Это еще что за книга скорби?

КАМЕРГЕР (*в сторону*). Тссс...

КОРОЛЕВА (*читает*). Я совсем одинока. (*Повторяет.*) Да — я так одинока, совсем одинока, я одинока... (*Читает.*) Никому не ведома тайна моего лона. (*Говорит.*) Никто не знает моего лона. Никто не знает, о, о-о! (*Читает.*)

Тетрадь-подруга, ах, лишь ты
Достойна знать мои мечты
И целомудренные грезы,
Мои непролитые слезы
О них узнаешь только ты!

(*Говорит.*) О них узнаешь только ты, узнаешь только ты. О-о-о! (*Закрывает лицо.*) Как страшно — страшно... Убить, убить... (*Смотрит на флакон.*) Яд, яд...

КОРОЛЬ (*в сторону*). Яд?

КОРОЛЕВА (*с гримасой боли*). Узнаешь только ты. (*Махнув рукой.*) Читаем дальше. Читаем! Пусть чтение придаст мне сил для совершения чудовищного поступка. (*Читает.*)

Для вас, о люди, я на троне
Сижу в короне.
Ах, вам неведом пламень,
Что бушует в моем лоне.
Вам кажется, что я горда,
Благоразумна и тверда.
А я лишь гибкой жажду быть всегда.

(*Говорит.*) Гибкой, о-о! О-о-о! Гибкой. И это написала я! Это мое! Мое! Убить, убить! (*Читает.*)

Хочу быть гибкой, как калина,
И гибкой, как рябина,

И чувственной, как Мессалина,
Чтоб изгибаться, вся сгорая,
Упругой быть, как ветер мая,
Хочу лишь гибкости! Не нужно мне величие!
Ах, как я жажду гибкости, презрев приличия!

Гибкости, о-о! Гибкости! А-а-х! А! Сжечь, уничтожить! Калина, рябина, Мессалина... Как страшно! Это я написала! Это мое, мое и, будь что будет, должно остаться моим! О-о, только сейчас я вижу, как это чудовищно! И, значит, Игнаций... читал! О-о! А сходство есть — сходство есть... с тем, как она копается в себе, как внутри у нее что-то хлюпает... О да, конечно, она вызывает жуткие ассоциации с моей поэзией! Доносчица! Она меня разоблачает! Это я! Я! Это мое! Между нами сходство есть. О, как она обнажила и выставила напоказ все мое самое сокровенное! Любой, кто на нее взглянет, тотчас обнаружит сходство с Маргаритой. Любой, кто на нее посмотрит, сразу же поймет, какова в действительности я сама, как если бы прочитал мои произведения. Довольно! Пусть она погибнет! Да, Маргарита, ты должна уничтожить ее! За дело, убийственный флакон! Она не может существовать в этом мире, час пробил — иначе это злокозненное родство между нами сможет обнаружить любой. Не желаю по вине этой доносчицы стать жертвой издевательств, травли, насмешек, агрессивности. Уничтожить! Смелей, смелей тихонько войдем с флаконом в ее комнату, добавим несколько капель ей в лекарство... Никто не догадается! Никто не будет знать. Она — девушка болезненная, все подумают, что сама умерла, просто так... Кому придет в голову, что это я. Ведь я королева! (*Идет.*) Нет, нет, еще не время. Нельзя так идти. Я выгляжу как обычно — и в таком виде идти на убийство? Нет, мне нужно изменить внешность. Хотя бы волосы растрепать... Волосы... Совсем немного, не слишком демонстративно, только слегка, чтобы не выглядеть как всегда. О, вот так... Да, да!..

КОРОЛЬ (*в сторону*). Тссс...

КОРОЛЕВА. Но как же я войду растрепанная? О, о, о! Это может выдать тебя! Вдруг кто-нибудь заметит, что твоя прическа в беспорядке... Перестань говорить сама с собой. Она ведь наверняка тоже с собой разговаривает. Маргарита, перестань говорить с собой — ты можешь себя разоблачить. (*Смотрится в зеркало.*) О, как это зеркало застигло меня врасплох. Мне нужно найти в своем лице самые отталкивающие черты, только тогда я смогу войти к ней. Перестань с собой говорить. Могут услышать. Я не в силах замолчать.

Неужели все убийцы перед тем, как совершить преступление, говорят сами с собой? Ну и что тут такого? Что в этом... ненормального? (*Рассматривает себя.*) Пусть у меня будет странный и зловещий вид. Скриви лицо, скривись, Маргарита! Вот так, так, а теперь идем! Ты со мной, я с тобой. То есть, как это — ты со мной, я с тобой — ведь я пойду одна. Скривись! Пошли! Вспомни все свои стихи и иди! Вспомни все тайные, гибкие грезы и иди! Вспомни все калины, все свои рябины и иди! О, о, о, иду, иду! Ах, я не могу заставить себя — все это чистое безумие! Сейчас, минутку — еще подкрасимся, еще вот это... (*Пачкает лицо чернилами.*) Вот так, теперь, с пятнами, будет легче... Теперь я стала другой. Стой, тебя это может выдать! Идем! Смерть доносчице! Не могу! Почитаем еще! Я должна еще почитать. (*Достает стихи.*) Почитаем, это нас возбудит, усилит жажду убийства.

КОРОЛЬ (*выскакивает*). Ну, Маргарита!

КОРОЛЕВА. Игнаций!

КОРОЛЬ. Вот ты и попалась! Покажи! (*Хочет вырвать тетрадь.*)

КОРОЛЕВА. Пусти меня!

КОРОЛЬ. Покажи! Покажи! Ах ты, убийца! Хочу поближе познакомиться с твоими грешками! Покажи, и устроим новый медовый месяц! Покажи, отравительница!

КОРОЛЕВА. Ах! (*Падает без чувств.*)

КАМЕРГЕР. Воды! Ей дурно!

КОРОЛЬ. Ну, видишь, как дело повернулось! Мечтает о гибкости и потому хочет убить цацу! Но это уже безразлично. Я все равно уже давно убил ее.

КОРОЛЕВА (*приходя в себя*). Убил? Кого уби...

КОРОЛЬ. Я ее утопил! С камергером. Мы ее вместе с камергером утопили...

КАМЕРГЕР. Вода! Вот вода!

КОРОЛЕВА. Утопил? Ивонну уто...

КОРОЛЬ. Глупая. Не Ивонну, но это безразлично. Не Ивонну, другую, ну, там одну. Уже давно. Теперь ты знаешь, что кроется во мне. Знаешь теперь? По сравнению с моими грехами твои дурацкие стихи, которых ты еще и стыдишься, ничто. Я убил ту, а теперь убью эту цацу. Цацу тоже убью.

КОРОЛЕВА. Убьешь ца...

КОРОЛЬ. Да, теперь убью цацу. И ее тоже, если все получится, как надо. И ее тоже, и так будет всегда... Всегда кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь кого-нибудь... Всегда так... Не того, так другого, если не ту, то опять же эту, и так всегда

— решительно, величественно — с апломбом, уверенно. Нагнать страху, а потом, того... (*К Камергеру.*) Подай воды. (*Пьет.*) Да, старею... годы уже не те...

КОРОЛЕВА. Я не позволю! Игнаций, я не позволю!

КОРОЛЬ. Позволишь, мать, позволишь... позволишь, себе ведь тоже позволяешь. Каждый себе что-то позволяет и потому должен позволять другим...

Входит ИВОННА, увидев присутствующих, хочет вернуться, но не решается и проходит в свою комнату. С этого момента все говорят вполголоса.

Ха!

КОРОЛЕВА. Игнаций, я не даю согласия, я не хочу, не позволяю, Игнаций!

КАМЕРГЕР. Ради Бога, тише!

КОРОЛЬ. Молчи, глупая. Дело будет сделано... Думаешь, я буду к ней подкрадываться исподтишка, как ты... Нет, я в открытую, с высокомерием убью ее — свысока, с шиком, величественно — а все будет выглядеть настолько глупо, что никто и не догадается. Ха-ха, Маргарита, убивать нужно свысока, исподтишка нельзя. А ты прежде всего умойся, а то выглядишь как ненормальная. И, во-вторых, позаботься о банкете, который мы сегодня устраиваем — уже пора... И не забудь — вели на закуску подать карасей. Люблю карасиком закусить, карасем в сметане. Хорошая рыба. Изысканная.

КОРОЛЕВА. Караси? Караси? (*К Камергеру, радостно.*) Да он сошел с ума! Слава Богу, сошел с ума!

КОРОЛЬ. Молчи, я в своем уме. Подай карасей.

КАМЕРГЕР (*к Королеве*). Ваше величество, караси в сметане — прекрасная закуска. Не вижу никаких причин, которые помешали бы подать карасей.

КОРОЛЕВА. Не будет никаких карасей! Игнаций, не своди меня с ума, я не подам никаких карасей. Что за фантазия — эти самые караси? Говорю вам, не будет никаких карасей, с чего это вдруг караси, почему именно сейчас какие-то караси? Карасей не будет!

КОРОЛЬ. Это еще что за капризы? (*К Камергеру.*) Подайка мне корону. Я тебе покажу.

Камергер подает корону.

КОРОЛЕВА. Игнаций, к чему это? Сними корону — Игнаций, зачем?! Игнаций?!

КОРОЛЬ. Маргарита, раз я сказал, чтобы ты подала карасей, значит — вели их подать. И не пререкайся, иначе так получишь у меня… а я могу, если захочу, могу, потому что грехов на мне много — я все могу, жена, трепещи предо мною, что мне грехи! Я — король грехов, понимаешь, король глупости, грехов, беззакония, стенаний!

КОРОЛЕВА (*пораженная*). Игнаций!

КОРОЛЬ (*успокаиваясь*). Ну, ну, ну… Прикажи подать карасей. И пригласи высочайших сановников, самых изощренных, самых опытных, из тех практиков, что умеют страху нагнать, парализовать человека, как сто тысяч чертей. (*Тише.*) Маргарита, оставь свою робость, стыдливость, все свои страхи понимаешь? И хватит этой поэзии, гибкости, калин, рябин… Ты уже не первоцвет, ты дама, королева, ну, ну. Не тебе следует изгибаться, пусть перед тобой гнутся — ну, ну. Умойся, неряха, а то на пугало похожа. Надень парчовое платье — покажи, мать, на что способна! Ну же! Соберись, продемонстрируй всю твою элегантность, грацию, достоинство, такт, манеры, для того тебя и держу, и своим мерзавкам прикажи, чтобы тоже вырядились, кто во что сможет. Ну, ну, иди — все поняла? И чтобы торжественно было! Прием должен быть праздничный, с дамами, а не с растрепами. Пригласи гостей и вели накрыть столы, а об остальном пусть у тебя голова не болит, об остальном я сам позабочусь! Высокомерно, свысока — величественно! Иди уж, иди — кухарка! (*Королева, которая к завершению монолога Короля закрывала лицо руками, выходит.*) Камергер…

КАМЕРГЕР. Ваше величество?

КОРОЛЬ (*тише, мрачно*). Поклонись мне… Я хочу, чтобы ты мне поклонился…

КАМЕРГЕР (*прислушиваясь*). Кто-то идет.

КОРОЛЬ (*тяжело*). Тогда спрячемся.

Прячутся за кушетку. Крадучись, входят ПРИНЦ с ножом в руке, за ним КИРИЛЛ с корзиной.

ПРИНЦ. Куда она ушла?

КИРИЛЛ (*заглядывая через дверь в глубине декорации*). Тссс. Она здесь.

ПРИНЦ. Что делает?

КИРИЛЛ. Мух ловит.

ПРИНЦ. И как, поймала?

КИРИЛЛ. Зевает.

ПРИНЦ (*сжимая в руке нож*). Что ж, тогда попытаемся... Раз, два, три... Проверь, не идет ли кто-нибудь, приготовь корзину...

Кирилл открывает корзину, Принц подкрадывается к двери.

КОРОЛЬ (*в сторону, к Камергеру*). О, так мой сыночек тоже!..

КИРИЛЛ (*смотрит со стороны на Принца*). Филипп, не надо — прекрати! Филипп, я сейчас шум подниму!

ПРИНЦ. Нервишки?

КИРИЛЛ. Просто невообразимо! Ты с ножом, крадешься к этой замухрышке! (*Разражается негромким смехом.*) Ничего из этого не получится — нет, не получится!.. Убивать? Убивать такую?!.. И еще эта корзина! Еще и корзина!

ПРИНЦ. Прекрати! (*Кладет нож.*) Корзина нужна по техническим причинам.

КИРИЛЛ. Ты сам не понимаешь, что делаешь — не видишь себя со стороны.

ПРИНЦ. Прекрати же, наконец!

КИРИЛЛ (*заглядывая*). Засыпает. Кажется, заснула...

ПРИНЦ. Заснула?

КИРИЛЛ. Тссс. Как будто... Клюет носом... На кресле...

ПРИНЦ (*заглядывая*). Сейчас или никогда! Если сейчас, будет не больно... На, попробуй ты!

КИРИЛЛ. Я?

ПРИНЦ. Тебе это легче — ты для нее посторонний, вы с ней на равных, ты — не предмет ее обожания, она любит не тебя. Кирилл, сделай это ради меня. Всего лишь мгновение... Ведь это как операция, процедура — она не почувствует. Ничего не будет знать, и помни, в тот самый момент, когда ты это сделаешь, она уже перестанет существовать, все произойдет помимо нее, это легко — действовать будем только мы, односторонне, ее это вовсе не коснется...

КИРИЛЛ. Чем легче, тем, наоборот, труднее. (*Берет нож.*)

ПРИНЦ. Нет, нет, нет!

КИРИЛЛ. Нет?

ПРИНЦ. Такое впечатление, будто ты курицу собираешься прирезать.

КИРИЛЛ. А разве нельзя? Ведь, казалось бы, можно, а оказывается нельзя. Что за чертовщина? Наверное, потому, что она слишком болезненная, ослабленная. Вот была бы

толстая, румяная баба, а она бледная... На бледную рука не поднимается...

ПРИНЦ. Здесь кто-то смотрит.

КИРИЛЛ. Это я смотрю.

ПРИНЦ. Нет, на нас кто-то смотрит — кто-то все видит.

КИРИЛЛ. Это я вижу.

ПРИНЦ. Да, ты смотришь на меня, я — на тебя. Уйди, лучше уж я сам. Сам все сделаю. Всего лишь процедура, хоть и чудовищная, но процедура. Предпочитаю быть чудовищным одно мгновение, чем всю жизнь. Стань за дверью, я все сам... (*Кирилл выходит.*) Сам. Для нее это станет избавлением... Конец всем ее страданиям — и моим тоже... Это — целесообразная процедура, целесообразная... Гм... (*Осматривается, берет нож, снова кладет.*) Кирилл!

КОРОЛЬ (*в сторону, очень возбужденно*). Э-э-х, растяпа!

КИРИЛЛ. Что такое? (*Возвращается.*)

ПРИНЦ. В одиночку еще хуже. Человека, когда он один, начинает распирать, он разрастается... до размеров... (*Прислушивается.*) Что это?

КИРИЛЛ. Дышит. (*Оба прислушиваются.*)

ПРИНЦ. Дышит... (*Заглядывает в дверь.*) Да! Так и дышит — так и живет там в своем нутре — сама в себя по уши... погрузившись, замкнувшись в себе... Нет, ничего не получится... (*Берет нож.*) Казалось бы, вонзить в тело... Но как это трудно... Я ощущаю страшную легкость, но именно в этой легкости и заключается страшная трудность.

Входит ИЗА.

ИЗА (*увидев нож*). Что это? (*Заглядывает в дверь.*) Убийство?

ПРИНЦ и КИРИЛЛ. Тссс...

ИЗА. Убийство... Хочешь стать убийцей?

ПРИНЦ. Молчи! Не вмешивайся! Здесь я улаживаю мои личные дела. Когда улажу, приду. Выйди отсюда!

ИЗА. Вы тоже здесь? И вы в этом участвуете?

КИРИЛЛ. Глупости! Филипп, пойдем отсюда, все это глупости! Оставим эту затею!

КОРОЛЬ (*в сторону*). Глупость! Смелей!

ИЗА. Пойдемте отсюда!

ПРИНЦ (*заглядывает*). Спит.

ИЗА. И пусть спит. Какое тебе дело до того, что она спит. Филипп, я тоже буду спать... сегодня ночью.

ПРИНЦ. Тихо. Вздохнула!

ИЗА. Филипп, и я буду вздыхать… сегодня ночью. Перестань уделять ей столько внимания. Ведь я здесь! Перестань ею заниматься, перестань убивать ее… Пойдем.

ПРИНЦ. Ей что-то снится. Интересно, что?

ИЗА. Пусть снится. Лучше я расскажу, что мне снилось. Во сне я видела тебя. Пойдем.

ПРИНЦ. А ей, наверное, снимся мы! Она видит во сне нас! Меня, тебя. Мы у нее там, внутри.

ИЗА. Где? Как это — внутри?

ПРИНЦ. Ну, в ее нутре. Слышишь, как она тяжко спит? Как страдальчески вздыхает? Как мучительно трудится внутри себя, как там, внутри, мы погружаемся в нее, и как она делает с нами все, что ей заблагорассудится. Интересно, что она там над нами вытворяет, как на нас отыгрывается…

ИЗА. Ты опять говоришь как ненормальный? Неужели не можешь остановиться?

ПРИНЦ (*по-прежнему шепотом*). Я-то нормален, но не могу оставаться нормальным, если ненормален кто-то другой. Хорошо, я буду нормальным, и ты тоже будешь нормальной, ну и что с того, если кто-то другой, ненормальный, будет со стороны подыгрывать нам, нормальным, на такой маленькой свирели, тра-ля-ля — а мы под нее запляшем, а мы запляшем…

ИЗА. Филипп, и ты это говоришь после того, что было между нами прошлой ночью?

ПРИНЦ (*прислушиваясь*). Храпит.

ИЗА. Что?

ПРИНЦ. Храпит.

ИЗА. Нет, ты переступаешь границы приличий.

КОРОЛЬ (*в сторону*). Переступает! Ну, вперед! Пусть переступает. Ух! Ух! Переступай!

ПРИНЦ (*невольно отвечая Королю*). Я не в силах переступить. Но что это? Кто это сказал? Что происходит в этой комнате? Смотрите, как здесь все дико выглядит — вся эта мебель. (*Пинает ногой кресло.*)

КОРОЛЬ. Дико! Ух! Ух!

КАМЕРГЕР. Тссс!

КИРИЛЛ. Или убьем ее, наконец, или пошли отсюда, я больше не могу так стоять, с этой корзиной, лучше я уйду, или вообще убегу. Убегу из замка. Я больше не могу здесь торчать как третий лишний — не могу.

ПРИНЦ. Я должен переступить! Должен!

КОРОЛЬ. Смелей!

ИЗА. Поцелуй меня. (*К Кириллу.*) Пусть он меня поцелует.

ПРИНЦ (*прислушиваясь*). Зевнула!

ИЗА. Довольно. Я ухожу.

КИРИЛЛ. Принц, поцелуй ее. Черт побери, да сделайте что-нибудь, чтобы он вас поцеловал. Пусть он вас поцелует!

КОРОЛЬ. Пусть поцелует! Ух, ух! Смелей!

КАМЕРГЕР. Тссс!

ИЗА. Я не намерена вымаливать поцелуи. Не хочу стоять до бесконечности с дурацкой корзиной и с ножом под дверью этой несчастной. Хватит. Я ухожу навсегда. С меня довольно.

ПРИНЦ. Не оставляй меня! Иза, я поцелую тебя. Подожди!

ИЗА (*отталкивает Принца*). Не хочу! Прошу отпустить меня! Не хочу здесь, по заказу, под дверью, совершенно бессмысленно, с этой корзиной, с этим ножом. Как можно целовать здесь? Оставьте меня.

КОРОЛЬ (*оставаясь за кушеткой*). Так его! Вперед! Давай!

ПРИНЦ. Сохраняйте хладнокровие. Прежде всего — хладнокровие, иначе все мы окончательно спятим. Тише, не то она проснется... Иза, постой, не будь так резка. Я не могу тебя потерять. Не реагируй на весь этот абсурд. Да, согласен, поцелуй в этих обстоятельствах бессмыслен, и все же мы поцелуемся, несмотря ни на что, поцелуемся, как если бы это было совершенно естественно... Ради Бога, если уж мы не можем оставаться нормальными, то хоть будем делать вид, что мы нормальны, иначе нам отсюда не выбраться. И я не вижу иного выхода, кроме поцелуя, возможно, он вернет нас к норме, даст нам силы спастись с этого места. (*Обнимает ее.*) Я тебя люблю. Скажи, что любишь меня. Ты меня любишь!

ИЗА. Не скажу! Ни за что не скажу! Пусти...

ПРИНЦ. Она любит меня! А я люблю ее!

В дверях появляется ИВОННА, протирая глаза. КОРОЛЬ в сильном возбуждении высовывается из-за кушетки, КАМЕРГЕР пытается его удержать.

КОРОЛЬ. Так ее!

ИЗА. Филипп!

ПРИНЦ (*пылко, страстно*). Филипп! Филипп!.. Люблю!

КИРИЛЛ. Филипп, она проснулась!

КОРОЛЬ (*громко*). Хорошо, Филипп, молодец! Так ей и надо! Спуску не давать! Смерть ей! Хватайте ее! Хватайте цацу!

КАМЕРГЕР. Остановите его величество.

ИЗА. Бежим отсюда.

КОРОЛЬ. Не кричи! Вытащите меня отсюда. (*С трудом вылезает.*) Весь одеревенел. Затекли старые кости. (*К Принцу.*) Шевелись! Шевелись! Хватай ее! Растяпы! Сейчас мы ее прикончим! Хватайте ее, говорю! А ну, — Филипп, Камергер, — я зайду с той стороны! Берите ее, цацу!

Входит КОРОЛЕВА в бальном платье, лакеи вносят накрытые к ужину столы, за ними гости вносят освещение.

Стойте! Так ничего не выйдет! Забыли о карасях! Ее надо свысока! Свысока, не снизу! С достоинством, величественно! Огорошить, а потом того... Вперед! За дело, Маргарита! Вперед! (*К гостям.*) Прошу!.. Пожалуйста!.. Проходите, господа! Филипп, поправь воротничок, пригладь волосы... свысока, с достоинством, сын мой! Хватай! (*К Камергеру.*) Подай мне корону.

ПРИНЦ. Что здесь происходит?

КАМЕРГЕР. Ничего особенного, всего лишь ужин!

КОРОЛЬ (*к гостям*). Сердечно приветствуем! Прошу вас, добро пожаловать.

ГОСТИ. А-а-а! (*Кланяются.*) Ваше величество!

КОРОЛЕВА. Просим. Добро пожаловать!

ГОСТИ. Ваше величество! (*Кланяются.*)

КОРОЛЬ (*к гостям*). За дело! Ну-ка! Хватайте! И свысока, господа, с превосходством, камергер, предложи каждому место согласно титулу и пусть более достойные уязвляют менее достойных, а менее достойные — более достойных, то есть, я хотел сказать, пусть более достойные испытают при виде менее достойных чувство законной гордости, а менее достойные пусть черпают от более достойных стимул и стремление к все более плодотворным усилиям в благородном соперничестве. А мою будущую невестку посади напротив нас, ведь это в ее честь устроен сегодняшний прием.

ГОСТИ. А-а-а! (*Кланяются.*)

КОРОЛЕВА. Но, невзирая на место в иерархии мест, пусть каждый зацветет пышным цветом всего своего существа под солнцем нашей благосклонности. Пусть дамы пока-

жут, на что они способны, а господа пусть покажут дамам! С блеском, господа, с шиком, элегантно, ярко и изысканно!

КОРОЛЬ. Да, да — хватай... то есть того... Вперед! Рассаживайтесь!

ГОСТИ. А-а-а! (*Кланяются.*)

Король и Королева садятся.

КАМЕРГЕР (*к Ивонне*). Будьте любезны, мадемуазель, сядьте.

ИВОННА не двигается, КАМЕРГЕР холодно продолжает.

Будьте любезны, сядьте... (*Усаживает Ивонну.*) А здесь сядет принц... Прошу вас, принц... А здесь их превосходительство, здесь их преосвященство, здесь их сиятельство графиня, а сюда наш великолепный, наш бесценный, наш изысканный... (*Подводит какого-то старичка, расплываясь в улыбке.*) Ай-ай-ай!

КОРОЛЬ. Как я уже говорил, этот скромный, но изысканный ужин мы устроили на погибель, то есть, вернее, в честь нашей будущей невестки, и сегодня мы приняли решение удостоить ее титула принцессы Бургундии in partibus infidelium[7]. Итак, она героиня сегодняшнего пиршества. Посмотрите, как она мило улыбается.

ГОСТИ. А-а-а! (*Негромкие аплодисменты.*)

КОРОЛЬ (*начинает брать еду*). Немного костлява, паршивка, зато вкусная... Рыба, я хотел сказать, вот эта... гм... (*Кладет на тарелку рыбу.*)

КОРОЛЕВА (*накладывая еду*). Немного старовата, но в этом соусе смотрится достойно, а достоинство, должна признаться, мне гораздо ближе, чем то, что обычно стыдливо называют поэзией. Возможно, я не сентиментальна, но (*с высокомерием.*) не переношу все то, что хоть отдаленно напоминает мне калину или рябину. Мне ближе пожилые женщины, дамы в истинном значении этого слова!

ГОСТИ. А-а-а!

КАМЕРГЕР (*накладывая еду*). Рыба с виду скромная, но в принципе, в самой своей сути необыкновенно, просто невероятно аристократичная, достаточно сказать, что кости у нее чрезвычайно тонкие! А какой великолепный соус! Вроде

[7] Только по названию, номинально (*лат.*).

бы сметана, но в то же время неизмеримо тоньше, изысканнее сметаны! И какой вкус — острый, пикантный, эффектный, парадоксальный! Уверен, что все присутствующие соответственно оценят его, поскольку за этим столом никогда еще не собиралось столь изысканное общество!

ГОСТИ. А-а-а!

КОРОЛЬ (*к Ивонне*). Что такое — нам не вкусно? (*Угрожающе.*) Не нравится?

КАМЕРГЕР. Что с вами, мадемуазель, нет аппетита?

ГОСТИ (*огорченно*). О!

ИВОННА (*начинает есть*).

КОРОЛЬ (*к Ивонне, мрачно*). Только есть следует осторожно, не то можно подавиться! Карась, он только с виду — ничего особенного, а ведь на самом деле…

КАМЕРГЕР (*к Ивонне*). Его величество изволили заметить, что во время еды следует быть осторожной, иначе можно подавиться. (*Резко.*) Опасность велика! Это трудная рыба!

КОРОЛЬ (*угрожающе*). Рыба опасная, говорю вам!

ГОСТИ (*изумленно*). Ах! (*Все перестают есть, тишина.*)

КОРОЛЕВА (*с достоинством*). Eh bien, Ivonne, vous ne manges pas, ma chere[8]?

КАМЕРГЕР (*вставляет в глаз монокль*). Пренебрегаете? Пренебрегаете карасями его величества?

КОРОЛЬ (*угрожающе*). Что такое?!

ИВОННА (*начинает есть одна*).

КОРОЛЬ (*встает, угрожающе указывает на Ивонну*). Подавилась! Подавилась! Костью! У нее в горле кость!! Кость, говорю вам! Ну!!!

ИВОННА (*давится*).

ГОСТИ (*пораженные, вскакивают с мест*). Спасите! Воды! По спине постучите!

КОРОЛЕВА (*пораженная*). Спасите!

ГОСТИ. Ах, несчастная! Какая беда! Катастрофа! Труп! Умерла! Не будем мешать! (*Все уходят, оставив на виду тело.*)

ПРИНЦ. Умерла?

КАМЕРГЕР. Костью подавилась.

ПРИНЦ. Ах! Костью. Кажется, действительно умерла.

Молчание.

[8] Ивонна, вы не едите, дорогая? (*фр.*)

КОРОЛЕВА (*нервно, будто немного пристыжено*). Игнаций, нужно будет позаботиться о трауре. У тебя нет черного костюма. Ты поправился, все твои костюмы стали малы.

КОРОЛЬ. Как нет костюма? Если прикажу, будет.

КОРОЛЕВА. Да, но нужно послать за портным.

КОРОЛЬ (*удивленно*). За портным? Да, правильно... (*Протирает глаза.*) Правильно, портной Соломон, мужская конфекция... (*Смотрит на Ивонну.*) Что? Умерла? Всерьез?

КОРОЛЕВА (*после паузы*). Все умрем!

КОРОЛЬ (*после паузы*). Да сделайте что-нибудь. Нужно же что-то с этим сделать. Что-то сказать. Как-то прервать это молчание! Филипп... того... мужайся. Ничего не поделаешь — она умерла.

КОРОЛЕВА (*гладит Принца по голове*). Твоя мать не оставит тебя, сын мой.

ПРИНЦ. Что вы такое говорите?

КАМЕРГЕР (*к слугам*). Идите сюда, ее нужно вынести и положить пока на кровать. Пусть один из вас сбегает и все приготовит. И немедленно вызовите Петрашека. Кто-нибудь должен сейчас же сбегать в похоронное бюро Петрашека, без Петрашека нам не справиться. Срочно вызвать Петрашека, это важнее всего. (*Слуги подходят к телу.*) Минутку, я стану на колени. (*Делает это.*)

КОРОЛЬ. Да, правильно... (*Опускается на колени.*) Он прав. Надо стать на колени.

Все опускаются на колени, кроме Принца.

Собственно говоря, это надо было сделать сразу же.

ПРИНЦ. Прошу прощения. Как же так?

КАМЕРГЕР. Что? (*Принц замолкает.*) Станьте, пожалуйста, на колени.

КОРОЛЕВА. Стань на колени, Филипп. Нужно это сделать, сын мой. Так требуют приличия.

КОРОЛЬ. Быстрее! Ты не можешь один стоять, когда мы все на коленях.

Принц опускается на колени.

Занавес

ЗАМЕЧАНИЯ АВТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ИГРЫ И РЕЖИССУРЫ

Желательно как можно ярче подчеркнуть ниже перечисленные особенности пьесы:

1. Все элементы гротеска и юмора, нейтрализующие тягостную ситуацию, лежащую в основе пьесы, не утрачивая, однако, при этом психологической реалистичности и естественности персонажей и всего действия.

2. Непринужденность и свободу текста. Пьесу не следует играть излишне всерьез.

3. Полную осознанность действий персонажей. Наиболее странные сцены должны быть сыграны реалистично. Герои пьесы — совершенно нормальные люди, которые лишь оказались в ненормальной ситуации. Их удивление, неуверенность, чувство стыда перед лицом этих ситуаций должно быть подчеркнуто в соответствии с текстом. Костюмы — современные, в крайнем случае — с какими-нибудь фантазийными элементами (например, король в куртке и с короной и т.п.). Декорации — лучше натуралистические. В последнем акте необходимы сложные световые эффекты. Последние сцены (банкет) могут иметь характер сна, ирреальности — после чего наступает пробуждение.

juliusevola

Жан Парвулеско
Секрет Юлиуса Эволы[9]

Поскольку мне представляется, что для этого на самом деле пришло время, я беру на себя ответственность заявить: сицилийский барон Юлиус Эвола никогда не был никем иным, как тайным сверхисторическим агентом Фридриха II Гогенштауфена, Императора Запада и короля Иерусалима. Кастель дель Монте, «Центра мира».

Юлиус Эвола был бодрствующим[10] очень высокого уровня, который позволял проявиться только той из трех своих тайных конститутивных идентичностей, которую он сам считал наиболее адекватной, исходя из обстоятельств и текущего момента. В постоянном состоянии субверсии[11] по отношению к себе самому.

Его физическая травма (паралич обеих ног — он передвигался с помощью кресла-каталки) была признаком «прохождения через огонь», меткой его новой и высшей инте-

---

[9] Из сборника «Абстрактное искусство» (Евразийское Движение, 2012). Перевод с французского А. Г. Дугина.

[10] Термин «veilleur» в оккультных текстах (в частности, в «Книге Еноха») несет в себе значение греческого слова ἐγρήγορες (стражник; тот, кто не спит); так назывался особый разряд ангелов (промежуточных между высшими и павшими демонами). В XX веке существовала оккультно-политическая организация, основанная Рене Швалером де Любичем (1887 — 1961), с таким названием «Les Veilleurs»; некоторые ее принципы — элитизм, антидемократизм, ненависть к современному миру, мистицизм, традиционализм и т.д. — относительно сходны с идеями Эволы. Р. Швалер де Любич тесно сотрудничал с алхимиком Фулканелли и ставил с ним совместные опыты по открытию секрета средневековых красок. Однако, скорее всего, Парвулеско напрямую не имеет всего этого в виду. (*Здесь и далее прим. перев.*)

[11] Субверсия — подрывная работа, систематический саботаж. Термин, типичный для традиционалистов, чаще всего описывающий непрерывную суггестивную работу контринициатических сил в истории.

гральной идентичности, идентичности возврата в этот мир после того, как ему было дано переступить запретную границу «мира иного». Он был в этом мире, не будучи более в нем, тайно он был уже в другом месте, окончательно и тотально другом.

В чилийском журнале «Город Цезарей» (La Ciudad de los Cesares), издаваемом Эрвином Робертсоном, и представляющем собой в каком-то смысле официальный орган современной боевой национал-революционной линии в Латинской Америке, в свое время должна была появиться статья Мигеля Серрано, названная «Секрет Юлиуса Эволы» (El secreto de Julius Evola), где делался намек, будто этот до сих пор так и нерасшифрованный «секрет Юлиуса Эволы» заключается в некоторых не до конца выясненных обстоятельствах периода советских бомбежек Вены в 1944, которые стали причиной последующей инвалидности Эволы. Статья намекает, что за этими бомбежками Вены скрывалось что-то совершенно иное, что-то таинственное, возможно, какое-то радикально другое событие, какой-то откровенческий узел, о котором сам Юлиус Эвола предпочитал хранить молчание до конца своей жизни. Этот секрет, утверждает Мигель Серрано, «Эвола унес вместе с собой в свою смерть». Этот текст Серрано в «Городе Цезарей» так и не вышел, но появился позже в конфиденциальном испанском журнале «Гиперборея», который сегодня больше не выходит. Здесь нам открывается исключительно решающая перспектива, к которой стоит отнестись с предельным и повышенным вниманием. Поскольку при нынешнем положении дел понять «секрет Юлиуса Эволы» значит опасно приблизиться к тайнам последних исторических и сверхисторических предназначений Запада эпохи Конца.

«Ах, они здорово меня отделали, эти ублюдки», — говорил Эвола мне о группе венских врачей 1944 года, которые после его тяжелого ранения в результате советской бомбардировки изо всех сил пытались превратить его в переживший собственную смерть труп. Они сделали все, что только было им под силу, но большего не смогли — поскольку его собственная жизнь была трансцендентно обеспечена и вне пределов досягаемости до того, пока не пришел его час.

«Не станет ли наступающий на нас финальный распад исторического времени, приближающегося к концу цикла, опасным моментом разоблачения многих великих, величайших секретов, которые были непроницаемыми в свое время, но которые в настоящем вот-вот грозят стать прозрачными

как раз в силу этого расслабления времени, что все чувствуют как нечто неизбежное?

В такой перспективе не следует ли нам ожидать неслыханных разоблачений темных сторон великой западной истории XX века, и в этом тревожном контексте, не сыграет ли в этих будущих расшифровках, в этих потрясающих пересмотрах ключевую роль новое осмысление высочайшей духовной карьеры самого Юлиуса Эволы? Это новое осмысление мы можем предпринять теперь, как уже было сказано, как раз в силу актуального интимного аварийного ослабления исторического времени, дисквалифицированного головокружительными безднами его собственного столь близкого отныне конца?

Если Юлиус Эвола в течение стольких лет ценой своей жизни продолжал делать вид, что является идеологическим агентом особой революционной идеи Европы, то, видимо, только для того, чтобы скрыть от внешних взглядов свою безличную, ставшую концептуальной и неназываемой идентичность — идентичность действующего агента определенных полярных сущностей, имеющих сверхисторическую, архаическую в самом радикальном смысле этого термина, природу, онтологически чуждую временам неполярного становления — такого, каким является актуальная западная история, все более приближающаяся к своему концу» («Возвращение Великих Времен»[12]).

Три конститутивные идентичности Юлиуса Эволы

Будем двигаться от внешнего к внутреннему. У Юлиуса Эволы первой конвенциональной и непосредственной идентичностью была его четкая национал-революционная идентичность, идентичность велико-европейская, «евразийская». Далее, идет идентичность, сопряженная с его интеллектуальными и визионерскими позициями, изложенными в его работах, а также в его «теневых исследованиях», на традиционном инициатическом, иногда даже «оккультистском», уровне. Третьей трансцендентальной идентичностью была его принадлежность к сверхисторическому «полярному» уровню, расположенному в невидимом, «по ту сторону времени». В какой-то момент Юлиус Эвола достиг состояния

[12] Цитата из книги Jean Parvulesco. Le retour des Grands Temps. Paris: Guy Tredaniel, 1997.

«абсолютного концепта», и этого обычно он старался никому не показывать, или почти никому. Однако те, кто часто его видели, и это как раз мой случай, не могли не почувствовать в нем своего рода меланхолическую, молчаливую сладость, своеобразное едва схватываемое экстатическое раздвоение, которые, тем не менее, создавали между ним и внешним миром непроходимый барьер. Будучи полностью присутствующим в отношении всего, он одновременно полностью отсутствовал во всем и для всего, и его самая ободряющая улыбка была в то же время печатью бездонного разрыва с непосредственной реальностью. Отсюда — предельная элегантность и чудовищная доброта, окрашивающие все отношения с ним — как с человеком, лишь изображающим свое присутствие. Я признаю, что это остается для меня до сих пор пылающей раной.

Однако если рассмотреть ее в анфас, жизнь Юлиуса Эволы представляла собой непрерывное развитие, без единого отступления, в высшей степени обостренной страсти по трансцендентальному концепту велико-европейской, евразийской Империи и по тайной сверхисторической спирали возвращения к изначальным «полярным» ее истокам — истокам, расположенным по ту сторону их собственных преонтологических истоков.

В течение 30 лет[13] Юлиус Эвола сражался в авангарде двойного движения: с одной стороны, тотальной революции и безусловной оппозиции в отношении свершившегося упадка актуальной западной истории, достигшей конца своего фатального движения вперед, а с другой — революционного возврата к онтологическим истокам Запада, к его «полярным» и «сверхисторическим» истокам — возврата по ту сторону конца, в сторону конца по ту сторону всякого конца.

В истории скрыт дух антиистории

В активистском журнале «La vita italiana»[14] в октябре 1940 года Эвола писал:

> *«Те, кто верят в существование «оккультных сил», представляют себе при этом чаще всего просто чисто политические тайные организации, заговоры отдель-*

[13] Парвулеско здесь имеет в виду период после ранения Эволы в Вене 1944 и до его смерти в 1974.

[14] Итальянская жизнь.

ных людей плутократического типа или масонов, которые помимо своего искусства маскироваться и действовать непрямыми средствами, в остальном представляли бы собой обычных людей — таких же, как и все остальные. Но это не совсем так. Нити плана мировой субверсии тянутся намного выше — они отсылают нас к сфере «оккультного» в самом прямом и традиционном смысле этого слова: эти силы имеют сверхиндивидуальную и нечеловеческую природу, а различные личности, которые им служат, как на авансцене, так и за кулисами, суть не что иное, как их инструменты. Если мы будем путать между собой эти вещи и довольствоваться «гуманистическим» толкованием истории из-за предрассудков, окружающих термин «оккультное», мы не сможем должным образом понять сущности проблемы борьбы против мировой субверсии».

Учение Юлиуса Эволы есть совершенная традиционалистская ортодоксия, отсылающая нас к тайным указаниям святого апостола Павла в его Послании к Ефесянам (6,12): «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной».

Как всегда под прикрытием, Юлиус Эвола пребывал на линии огня, где он творил скрыто великую историю, как в Италии, так и в Германии, в Восточной Европе, в Чехословакии и в Румынии, в Австрии и в Венгрии. И хотя высшие иерархи фашистского режима в Риме держали его на дистанции, периодически запрещая публикации журналов и сборников с его участием, Муссолини лично поддерживал его, в тени, поручая определенные оккультные стратегические миссии, истинное значение которых и политические цели, балансирующие на грани бездны, мы до сих пор себе не представляем.

Почти то же самое происходило и в Германии, где, находясь под завуалированным, но постоянным и тотальным запретом со стороны гитлеровского режима, Юлиус Эвола пользовался высочайшей поддержкой на высшем уровне. До такой степени, что именно он был избран ключевой фигурой в организации с помощью весомых и тайных средств будущей — как представлялось тогда — политико-идеологической и трансцендентальной структуры Великой Европы после финальной победы Германии и того безымян-

ного могущества, которое скрывалось в тени Третьего Рейха, а тот, в свою очередь, в последнем счете был ничем иным, так как гигантским метаполитическим заговором «против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной».

Итак, Юлиус Эвола был уполномоченным по созданию революционной европейской организации «Ток»[15], которая включала в себя личности, духовно предназначенные для того, чтобы выполнить миссию по организации трансцендентального будущего Европы.

Именно в контексте своих действий в рамках организации «Ток» Юлиус Эвола встретился в Бухаресте, при посредстве Мирчи Элиаде, с Корнелиу Кодряну, которого он тут же опознал как высочайшего харизматического уполномоченного Новой Европы. Как существо, пришедшее из области, лежащей «по ту сторону истории», принадлежащее к полярной зоне

трансцендентального тотального утверждения за пределом конца актуальной истории мира. Как персонажа сверхъестественной идентичности, в котором пребывало сакральное, превращая его в полубога.

Именно после встречи с Корнелиу Кодряну Эвола достиг предельного уровня своей собственной внутренней мобилизации. Все это Юлиус Эвола мне доверительно сообщил, сидя у себя дома, на улице Витторио Эммануэле летом 1968 года, и хотя он напрямую этого не сказал, я немедленно понял, что это собственно и вознесло его на уровень действия, чей онтологический статус превосходит имплицитно саму зону человеческого.

— Корнелиу Кодряну был самым экстраординарным персонажем, которого я только встречал в своей жизни; встреча с ним была настоящей иерофанией, иерофаническим разрывом уровня. Он открылся мне, — сказал Эвола, — как прямое отражение святого Михаила Архангела.

— Естественно, — продолжал он, по возвращении в Рим я тут же поделился этим с Муссолини, которого это глубоко потрясло. Наклонившись вперед, сидя напротив меня, Муссолини погрузился в глубокое молчание и очень надолго.

[15] Фр. Circuit, нем. Schaltung.

«Он сам выпил дыхание своих костей и съел свою живую плоть»

Но с другой стороны, не говорила ли мне со слезами на глазах знаменитая молодая цейлонская целительница С.М.Д., которая была очень близка к Эволе, следующие слова: «Что вы тут можете поделать — он сам выпил дыхание своих костей и съел их костный мозг». Это только укрепило меня в мысли, что инвалидность Юлиуса Эволы была вызвана совсем не какой-то сомнительной советской бомбардировкой, но разрывом онтологического уровня в ходе одного из его сверхмыслимых вторжений в зоны высших «полярных» горизонтов, «по ту сторону последнего предела».

«Секрет Юлиуса Эволы», существование которого заподозрил Мигель Серрано, это, в конечном счете, секрет плохо закончившейся попытки самопреодоления, неудачно проведенный «опыт бездн». В восходящую спираль полета ударила молния.

Не попытался ли он в последней героической попытке взять на себя миссию повернуть вспять ход истории своего проигравшего лагеря, изменив результаты войны, а для этого столкнуться с опустошительными стихиями «внешних могуществ»? С неприкасаемыми космическими напряжениями? Взяв на себя риск абсолютно структурированного и когерентного испытания, открытого любому исходу?

Дапонте Блю

В конце октября 1968 года, за 15 дней до моего вынужденного отъезда из Рима, Юлиус Эвола решил продемонстрировать мне прямое доказательство существования «иного мира», мира, параллельного нашей непосредственной конвенциональной реальности, нашей повседневной жизни, более того, мира параллельного самому этому параллельному миру. На улице Витторио Эммануэле, почти прямо под окнами его квартиры, располагалось довольно своеобразное кафе «Дапонте Блю», которое кроме других своих особенностей отличалось тем, что было открыто всю ночь. Я был конфиденциально приглашен спуститься туда Эволой. Это заведение было полным под завязку призраков, роящихся убийц, деградантов в последней стадии, шлюх обоего пола и теней тревожных покойников, не понимающих, как им вернуться на свое место, потерявшихся на полдороги или даже в самом ее начале. Это были отбросы обоих миров, серебристые,

фиолетовые вспышки, сплошной ужас, одним словом. Но это не мешало тому, что время от времени там появлялись «освобожденные при жизни», существа, принадлежащие к «расе спасенных», преодолевшие человеческие границы, «отдельные существа», спрятанные в массе шатающихся по ночам делинквентов, совершенно бесстрашные, сжигаемые внутренним огнем.

На самом деле, «Дапонте Блю» был метафизическим люком, открывающим путь в «другой мир», порогом онтологического перехода, оккультной гостиной на службе двух миров. В окрестностях Рима на вертикали священной горы, на вершине которой бодрствует всемогущее святилище античной Богини Виктории, метафизический люк «Дапонте Блю» открывал опасно отвесную дорогу, ведущую к запретной долине, запертую между двумя высокими стенами красного грунта, где поднимался сад из красных мраморных статуй таинственной Roma Principia[16], представляя собой священное число римских семейств, предшествующих современной европейской истории, составляющих изначальную имперскую божественную расу; каждая из статуй была украшена фамильным гербом. Это был Зал Гербов.

Но эта предшествующая раса… не представлена ли она в своей позднейшей тотальности в финальной великоевропейской Империи Гогенштауфенов, которая достигла своей кульминации и своего конца вместе с Фридрихом II Гогенштауфеном, чьи священные останки до сих пор пребывают сегодня во дворе собора Палермо и чье царство символизируется в Кастель дель Монте?

Здесь я должен напомнить те заключения, к которым пришел по этому поводу в «Возвращении Великих Времен»:

> *«Монументальные единицы римского имперского утверждения, украшающие Залу Гербов, это не похоронные возвышенности, не мавзолеи, не архаические могилы, как можно было бы предположить, если рассмотреть их в отрыве от тока литургических посещений, но, как я быстро понял, это трансцендентальный инвентарь Корней Крови, являющихся изначальным, архетипическим сверхвременным вместилищем Imperium Magnum[17], а также ансамблем поми-*

[16] Рима Изначального.
[17] Великой Империи.

новений, конституирующим Догматический Историал религиозных, метаисторических событий, секретно брачного, герметического и в высшей степени героического уровня, отметившего собой становление крови первой Расы и принципиальную проекцию этого конституированного — и осмысленного — становления как непрерывного оккультного продолжения Божественного Предназначения, бездонного призвания его и его Финальной Короны. Потому что Коронация — это здесь.

И я мог бы задаться вопросом: почему должно было так случиться, что Рим открылся мне? Какова была последняя скрытая цель этой терапии бездн, этих столь опасных посещений безвременных жилищ Рима в его истоках, в которые я был вовлечен в 1968 году? Я спрашиваю себя, но до сих пор не нахожу ответа».

Дело в том, что, кажется, сейчас я понял.

Больше нет никаких сомнений: истоки того, что Мигель Серрано назвал «секретом Юлиуса Эволы», это нечто не имеющее никакого отношения к человеческой природе.

Эдуард Лимонов
Юлиус Эвола — Маркс традиционализма[18]

В шестидесятые он стал модным. В его римскую квартиру приходили испуганные молодые паломники — интеллектуалы, члены радикальных правых партий. На аудиенцию у папы традиционализма. Это как если бы марксисты могли бы, трясясь от волнения, нанести визит Карлу Марксу.

Старый аристократ разговаривал с робкими юношами и занимался своими делами. Расхаживал по квартире[19], обедал у них на глазах. Неряшливо хлестал куриный суп, принесенный батлером в драном фартуке, пил вино, обгладывал кости и утирался салфеткой. Скорее всего, он нарочно эпатировал посетителей своими манерами. Барон был хулиган,

[18] Глава из книги «Священные монстры» (Ad Marginem, 2003).

[19] После тяжелейшего ранения в 1944 году Юлиус Эвола передвигался исключительно в кресле-каталке. (*Прим. науч. ред.*)

он всегда был хулиганом, и тогда, когда рисовал дадаистские картины. Дело в том, что первую и международную известность барон Эвола приобрел как яркий художник-дадаист. Репродукции его работ включаются и, очевидно, всегда будут включаться в обзоры дадаистского искусства.

Аристократы часто бывают хулиганами. Сикст Анри де Бурбон Пармский, самый легитимный наследник престола Франции (если бы Франция стала королевством, он имел бы более всех прав и занял французский престол), вел себя за столом как изголодавшийся рабочий. Мне пришлось с ним обедать пару раз. Он не церемонился, пожирал хлеб, ломая его, крошил, густо мазал маслом, пил вино с гавканием и удовольствием. Это буржуа всегда чопорно испуган. Только рабочие и аристократы ведут себя в жизни естественно.

Старый хулиган Эвола глодал курицу, бросал кости. На стенах висели его картины, периода дадаизма. Штаб-квартира дадаистов была расположена в Цюрихе, как уже упоминалось. Там, в кабаре «Вольтер», среди разноплеменных эмигрантов и дезертиров и родилось движение «дада». Лидером его был румын Тристан Тцара, но мобилизованный студент-медик Луи Арагон также входил в его ряды, как и барон Эвола. В кабаре «Вольтер» хаживал Ленин, и очень вероятно, что барон Эвола и Ленин были знакомы.

В двадцатые годы Эвола занялся изучением эзотерической литературы. В 1932 году он уже автор великой для традиционалистов книги: «Восстание против современного мира». Примкнув к фашистскому движению, барон Эвола нашел идеи Муссолини слишком вульгарными. Под покровительством радикальных итальянских фашистов Эвола некоторое время издавал традиционалистский журнал.

Он встречался с Гитлером, попал в Вене под обстрел и остался после этого навсегда инвалидом. Он был другом знаменитого «Черного принца» Боргезе — известного героя войны, фашиста и специалиста по подводным атакам. (После войны Боргезе, опираясь на радикальные правые группировки, замышлял переворот в Италии, но переворот провалился, и принц бежал в Аргентину, где и умер от злокачественной пневмонии.) Помимо «Восстания против современного мира» Эвола написал такие книги, как «Скачка на тигре» (1962), «Языческий империализм», «Метафизика секса».

Я читал их все в 80-е годы в Париже по-французски. Позднее издательство «L'Age d'homme» переиздало «Восстание...» и «Метафизику...». Вся моя библиотека, увы, или ва-

ляется где-то в «cave» (подвале) моего друга Мишеля Бидо в пригороде Парижа, или сожжена его квартирантом-солдатом во время затянувшейся поездки Бидо в Таиланд.

Вкратце, для тех, кто не слышал его имени, традиционализм Эволы сводится к следующему. Золотой век был вначале, и налицо регресс человека от года «зеро» до сегодняшнего времени, называемого в индуистской традиции «Кали-юга». Где-то на севере была область «Туле», где первая иерархическая кастовая структура общества впервые зародилась: король, жрецы, воины, земледельцы. Была вертикальная связь с небом.

Впоследствии в мире было несколько эпох, когда изначальная структура возрождалась — Римская империя, священная империя ранней Европы, организации рыцарей-аскетов... Никакого Дарвина, разумеется, Эвола не признавал (как и я, впрочем), к социализму, так же как и к этническому национализму, испытывал отвращение. «Скачка на тигре» — великолепная критика современного общества. Книга оказала на меня в свое время сильнейшее впечатление.

«Восстание» более общая, насыщенная эзотерической терминологией — как красивая сказка, длиной в целый том. (Написана она под большим влиянием французского ученого Рене Генона, ориентолога и эзотерика, осевшего в Каире.) «Скачка», однако, призывает к аскетическому хладнокровию монаха, а не к пробуждению ярости воина. Так что юноши, внимавшие мэтру, в то время как он обгладывал курицу и хлебал суп, уходили от мэтра неудовлетворенными. Он призывал их к холодной позе презрения, а они хотели переделать мир по образу и подобию идеологии традиционализма.

В 1969 году прогремел взрыв на Пьяцца Навоне, унесший огромное количество жизней. Впоследствии другие взрывы сотрясали Италию. Их исполнители вышли из праворадикальных организаций, следы вели в правое подполье, к ученикам мэтра Эволы. В конце 60-х — начале 70-х годов следователи побеспокоили и старого барона. Его вызывали для дачи показаний.

Его, впрочем, быстро оставили в покое. Левому профессору Тони Негри повезло меньше. Его обвинили в том, что он был вдохновителем, идеологом «Красных бригад», и приговорили к 30 годам тюремного заключения. (Он, впрочем, успел сбежать во Францию, а потом на льготных условиях сдался властям.) Эволу сажать было не с руки. Старый чело-

век, живая легенда. Да и к насилию он не призывал, только объяснял.

Барон Эвола верил в то, что «раса есть понятие духовное», хотя солнечные арии — героичны и положительны, а лунные, теллурические расы, такие, как семиты, или ацтеки, или негры,— носители низкого, подземного, ночного, животного начала. Тоже самое Эвола говорит о женщинах в своих книгах. Расист и женоненавистник, аристократ барон Эвола являет своей философией единственный идеологический баланс социализму и марксизму.

Юлиус Эвола
Пришествие "пятого сословия"[20]

Одна из неоспоримых заслуг марксистской историографии состоит в попытке определить основное направление хода истории и точно выделить его фазы — выйдя за рамки рассмотрения отдельных событий, на которые иные историографии обращают обычно все свое внимание. Это войны, национальные потрясения, прочие события того или иного типа. Все эти случаи рассматриваются ею не как произвольные, но как вторичные и эпизодические проявления единого процесса глобального развития.

Практически ни одной попытки такого рода до сих пор еще не предпринималось противоположным лагерем, т.е. «правыми». В действительности же, марксистская интерпретация «смысла истории» (как экономически детерминированной последовательности, фатально приводящей к доминации рабочего класса) должна быть начисто отвергнута. Однако такое отвержение может произойти лишь при постановке проблемы на методологически адекватном уровне, где признается необходимость рассмотрения исторических событий в столь же широкой схеме, но — продиктованной совершенно иными, высшими критериями, в отличие от грубых и примитивных подходов исторического материализма.

Тем не менее, общая концепция, которая могла бы послужить основой антимарксистской историографии, уже существует. Эта концепция прослеживается в трудах неко-

[20] Перевод Вадима Штепы.

торых традиционалистских авторов, в первую очередь, Рене Генона, а также В. Вещцани и Г. Берля, частично — О. Шпенглера, и представляет собой рассмотрение особенностей циклического развития цивилизации. В данной статье нас особо интересует выделяемый в этих трудах феномен пришествия «Пятого сословия». Но прежде всего, для правильного понимания проблематики, здесь необходимо осветить стержневую традиционалистскую идею о регрессе, нисхождении доминирующих ценностей в некогда иерархическом, «нормальном» обществе. В процессе этого нисхождения тип цивилизации и политическую власть определяют последовательно четыре сословия: духовная и сакральная элита, военная аристократия, буржуазия, концентрирующая свои интересы исключительно на экономике (каста вайшья в индуизме), и, наконец, работники, «простой народ».

На примере известной нам истории мы можем утверждать, что традиционная иерархическая пирамида рухнула и нисхождение «прошло» через все эти четыре уровня. Цивилизации, где правящее сословие основывало свою власть на сакральном «богоданном праве», и общества, управляемые военной аристократией, составляли, в сущности, единую фазу, которая завершилась с уходом великих европейских династий. В эпоху Французской революции победу одержали принципы индустриализма и либерализма, к власти пришло буржуазное, плутократическое третье сословие «королей» угля, стали, бензина и т.д. Социалистические и пролетарские движения, которые нашли свое логическое оформление в коммунизме и советизме, возвестили о приходе к власти последнего слоя этой иерархии — четвертого сословия, и начале глобального противостояния стран, где оно победило, с теми странами, где все еще правит третье сословие.

Если бы эта схема заканчивалась таким образом, впору было бы говорить, не о «смысле истории», а о ее бессмысленности. Но прекращается ли процесс нисхождения на четвертом сословии? В период между двумя Мировыми войнами в Карлсруэ вышла маленькая и весьма оригинальная книга, автор которой — Г. Берль — попытался ответить именно на этот вопрос. Эта книга так и называлась — «Пришествие пятого сословия» («Die Heraufkunft des Funften Standes»). Помимо ее теоретического содержания и интерпретации истории как регресса, эта книга преисполнена эмоциями. Берль писал ее в туберкулезном санатории, полностью поглощенный изучаемой проблемой («От каждой страницы исходит жар», — сказал как-то сам автор). Освобожденные от неко-

торых чрезмерностей, умозаключения Берля могут быть довольно интересны для всех, кто хочет разобраться в определенных аспектах нашей эпохи.

По Берлю, историческая деградация отнюдь не завершается на четвертом сословии, на мире коллективизма, марксизма и коммунизма, она продолжается с появлением пятого сословия. Что оно собой представляет? Здесь надо остановиться на идее того, что любая организация рождается во взаимодействии двух элементарных принципов — сил порядка и сил хаоса. Первые либо пресекают вторые, либо сдерживают их в определенных рамках. В традиционных цивилизациях подчеловеческие, «демонические», как говорил Гете, силы хаоса были связаны, обузданы, подчинены высшему закону и авторитету естественного объединения духовных, героических и аристократических ценностей. Но когда цикл подходит к концу, представители этих ценностей утрачивают данную миссию и освобождают место для сил деструкции, которые, в конце концов, одерживают верх. Здесь и пролегает граница, которую можно назвать пришествием пятого сословия.

В феномене «революции», как таковом, всегда происходит выход на поверхность некоего бесформенного субстрата, более или менее выявляющегося в позднейшем развитии, но в этой первой фазе проникнутого диким желанием разрушения и уничтожения, страстным порывом к растворению личности в коллективе и «коллективном демонизме». Страницы, написанные Жозефом де Мэстром о Французской революции, являются в этом отношении вневременным зеркалом. Кроме того, отсюда можно вывести понимание четвертого сословия вообще как антисословия, поскольку любое подлинное сословие имеет традиционный смысл: воплощение в реальности высшей идеи. Исходя из этого видения, Берль считал характерным симптомом современности, например, организованную преступность, типичным образцом которой является, в частности, американский гангстеризм. Вообще, характеристика новых времен невозможна без явного фактора организации. Однако, парадоксальным образом, этот фактор означает «организованный хаос». Те же силы, которые скрываются внутри политических систем, порожденных четвертым сословием, коммунизмом и марксизмом, не исчезают, но продолжают действовать на еще более низшем уровне.

Поэтому пришествие пятого сословия необходимо рассматривать не только в социальном или политическом кон-

тексте, но и на уровне личности, точнее — разрушения личности. История всегда зияла жестокостью и зверскими злодеяниями, но для диагностики именно нашей эпохи типичным элементом выглядит мрачная методичность рационально продуманного вырождения, имеющая целью превратить людей в безвольных марионеток (некоторые ценные соображения по этому поводу, хотя и не лишенные односторонней тенденциозности, выдвигает католический экзистенциалист Габриэль Марсель) Этого достаточно для того. чтобы задуматься о закулисной стороне некоторых процессов, протекающих по ту сторону железного занавеса, в режимах концлагерей и «перевоспитания». Там уничтожается все то, что делает из человека полноценную личность. Такое уничтожение личности, конечно, разнится по форме с западным, но знаки определенной конвергенции между ними — очевидны.

Со времени, когда вышла книга Берля, и в иных сферах современного мира становятся все более явственными феномены «выхода на поверхность» того субстрата, о котором мы говорили выше. Здесь необходимо коснуться, например, некоторых аспектов того, что называется сегодня революционным «поколением». Революция может быть подлинно легитимной, если она направлена против той цивилизации, где все отныне лишено высшей оправданности, пусто и абсурдно, механизировано и стандартизировано, и которая неудержимо стремится к торжеству подчеловеческих реальностей в мире аморфного количества. Но когда речь идет о «бунтовщиках без знамени», когда революция является самоцелью, сопровождается разгулом страстей, примитивизмом, опорой на низшие инстинкты (секс, негритянский джаз, хмельной восторг, беспричинную и криминальную жестокость, потворство всему вульгарному и анархическому), необходимо обозначить прямую связь этих феноменов с действием сил хаоса, прорывающихся на земную поверхность и делающихся все более и более видимыми в нашем мире. Этими силами некоторые люди уже буквально одержимы.

Здесь можно также проследить эти феномены и в иных сферах, осуществляющих массированный натиск на личность. Что представляет собой, например, психоанализ, как не разрушение тех перегородок, доступ к которым был, возможно провиденциально, закрыт ранее, в мире Традиции? Как не вскрытие в душе человека подчеловеческих недр, переворачивающих все ценности и выдающих еще этот переворот за благую попытку объяснить тайны человеческой психики? С помощью левой идеологии этот феномен распро-

страняется и на социально-исторический план: такое замещение оправданных свыше политических структур догмой «прогресса» соответствует восстанию против того, что еще античная мысль называла термином «гегемоникон», «принцип вождя». Человек в этих условиях низводится на уровень простой социальной единицы.

Но основной интерес среди кратко изложенных здесь идей вызывает социальная и экзистенциальная проблема «смысла истории», которую теперь надо рассматривать в контексте знаменательных симптомов, выделенных в логике исследования. Однако надо избегать преувеличений и всех форм «апокалиптизма»: все же многие вещи среди представленных здесь должны лишь побудить к напряженному размышлению того, кто еще пребывает в наркотическом плену мифа о прогрессивной демократии и не способен постичь условия и причины такого течения событий. Четырехчастное нисхождение цивилизации и социальных организаций — это реальность; и после этого в наше бытие прорываются инфернальные силы, силы хаоса, которые уже не принадлежат собственно человеческому миру. И в этом процессе формула «пришествие пятого сословия» служит прекрасным выражением сущности этого страшного и немыслимого ранее периода, характеризующего финальную стадию «темного века», Кали-юги.

архив

Сальвадор Дали
Поэзия стандарта[21]

«...поэзия фактов сильнее.
Предметы, которые что-либо значат
и талантливо, со вкусом скомпонованы,
становятся поэтическим фактом».
Ле Корбюзье-Сонье

Мы уже имели случай сказать: умение видеть — это совершенно новая система измерения духовного пространства. Ле Корбюзье в работе «Глаза невидящие» неоднократно пытался, следуя гибкой, первозданной логике «L'esprit Nouveau», раскрыть нам глаза на простую и волнующую красоту волшебного индустриального мира, красоту техники. На красоту этого новорожденного мира, совершенного и девственного, как цветок. Подавляющее большинство, а в особенности художники и обладатели пресловутого художественного вкуса — люди с беспорядочным внутренним миром, противящимся всякой логике, — до сих пор шарахаются от веселой и четкой ясности уникальных предметов эпохи бесспорной гармонии и совершенства.

Тончайшие механизмы и телефонные проводки таятся под уродливым платьем мадам Помпадур. Робкая нежность черных и красных цифрочек электрического счетчика, чья жизнь, пульсируя, трепещет в кровеносном проводочке, тоже упрятана в безобразный вычурный резной шкаф. Если только вообще счетчик не загнали в затхлый угол под паутину!

Телефон, унитаз с педалью, белый эмалированный холодильник, биде, граммофон — вот предметы, полные истинной и первозданной поэзии!

Асептическая, антихудожественная и ликующая точность — вот дистиллят чудесной технической эпохи, когда

[21] Перевод М. Абрамовой и Н. Малиновской.

впервые в истории человечества само количество стандартных изделий (а это — результат экономной и строго практической логики) стало залогом их совершенства. А так называемый художественный вкус в порыве унылого идиотизма подменяет их предметами, лишенными всякой поэзии, смысла и формы, не годными ни на что! Вместо стандарта нам подсовывают кладбищенскую гниль и рухлядь — след эпох, растраченных впустую. Доколе же рыться в похоронном хламе антикварных лавок? Это, наконец, негигиенично.

О волшебный мир техники! Металлические приборы, в чьем лоне ночь неспешно переливается в плоть, стебель, море, звезду...

Если поэзия — любовное сплетение возвышенно дальнего с абсолютно ему чуждым, то никогда прежде луна не сочеталась так интимно с водой, как сочетается теперь с никелированной физиологией механизма и с сомнамбулой-пластинкой, вертящейся на граммофоне.

О антихудожественный мир торговой рекламы!

Как чудно зовет он нас погрузиться в океан неведомых вещей: серебряная резина шин, гладь ветрового стекла, сладостный вкус дурманящих сигарет в пачках цвета губной помады, чехол для биты, россыпь мармелада всех расцветок, пакетики с чаем высших сортов. А еще — новейший агрегат с фотоснимками, поясняющими тайну его устройства, и целая вереница вещиц самых разных размеров; игра света в извивах громадной окаменелости на спине махонькой улитки — такой огромной на фотографии. Туфли размером в целую страницу—высшее качество, игра ритма кривых и касательных, калейдоскоп материалов и поверхностей— гладких, замшевых, лакированных, пестрых. Ясные, холодные, исполненные смысла блики — символы выразительных объемов, точные метафоры физиологии ступни. Чудесны фотографии туфель — они поэтичны, как самые волнующие творения Пикассо.

Типографская ипостась торговой рекламы диктует строгую последовательность существенных и логичных ракурсов — таков гибкий союз фотографии и полиграфического искусства: ритм передан в шрифтах и красках, музыка видима, калиграмма рождается подсознательно, инстинкт рискованно сливается со всеобщим здравым смыслом. О антихудожественное типографское искусство промышленной рекламы, окрыленное и пластичное! Неиссякаема даруемая им радость!

Что в сравнении с ним жалкая художественная реклама! Невнятная, путаная, она не способна пробудить какие-либо чувства, восхваляя вещь, не имеющую отношения к реальности. Грубый символизм, уродливая пластика.

А ведь и такая реклама подделывается под современное искусство! Но тем не менее остается поверхностной, убогой карикатурой на кубизм. Кубизм—дитя эпохи, он слит со своей эпохой. Но не имеет касательства к тому смехотворному влиянию, которое оказывает его живописная форма на мелкие снобистские умишки.

Современность — это не картины Сони Делоне и не «Metropolis» Фрица Ланга. Это спортивный костюм анонимной английской фабрики. Это кинокомедия, тоже анонимная, из разряда пресловутых дешевок.

Сегодняшнее декоративное искусство — это не керамика, не мебель, не кубистические аппликации. Это — английская курительная трубка, это прибор, определяющий качество стали. А также прибор из алюминия и красной резины, откуда, не торопясь, выбухает пластинчатая слюда гениталий и пробивается, чтобы цвести, дрожащее медузообразное растение.

Стакан сделан из стекла.

Пленка «Кодака» запеленута тщательно, как египетская мумия, и запрятана в сумрак чувствительных рамок.

Новую — высшую — ценность получают любые вещества, впервые познав в совершенных механизмах безупречную завершенность. Сияя полировкой, едва сойдя с конвейера, неведомый механизм самолюбиво и робко шевелит суставами — образцами совершенной конструкции — и дарит нам свою поэзию.

Можно ли быть до такой степени слепым, чтобы не замечать одухотворенности и благородства предмета, прекрасного самого по себе, прекрасного своей уникальной, утилитарной и гармоничной структурой, свободной от украшательства, всегда потакавшего наиболее диким и отсталым инстинктам?

Как чудовищен путь украшательства, оскверняющего стеклянный стакан или белую тарелку!

Как отвратителен декоративизм! В смехотворных витринах — приютах пыли — красуются убогие плоды мертвого труда: разукрашенные, ни на что не годные вещи.

Мерзкие поделки из эмали, кованого железа, тисненой кожи, печатки, камеи, инталии. Рукоделие! Жалкие усилия

возродить мертвые приемы и мертвую технику. Усилия обреченные, суетные, неуместные и бессмысленные.

1928

['ɪntəvju:]

Sex, Drugs & Rock'n'roll Александра Дугина
Интервью с Мишей Вербицким

SEX

“Все естественное в современном (кали-югическом) распределении эротических функций и ролей — неверно и порочно”

МВ: В номере Элементов, посвященном эротике, многие из авторов осуждают модную вседозволенность и распущенность половой жизни, результат революции 1960-х. Это должно влечь за собой осуждение порнографии. С другой стороны, Лимонов в Лимонке писал, что русское телевидение должно показывать больше красивых голых женщин, увеличивая рождаемость. Так получается, что Лимонов, даже и современный, во многом отказавшийся от идей «Эдички», целиком поддерживает распространение порнографии. Как Вы к этому относитесь?

АД: Наше отношение к этому вопросу, равно как и ко всем остальным проблемам, представляет собой динамическое и диалектическое сочетание двух парадоксальных элементов из полярно противоположных сфер. В общем можно сказать, что мы за предельные формы полярных позиций — за сочетание аскетизма и тантры, радикального нонконформизма и жесткой дисциплины. Мы против порнографии, особенно в смысле «порнографии образов» как это понимает Бодрийяр, но и против мещанского фарисейства. Эротика — проблема центральная для всех манифестированных существ, не только для людей. Это вопрос о сущностной двойственности всего проявленного. Поэтому наш ориентир — тотальная сакрализация эротики. Это не противоречит ни сексуальной магии, ни монашеской практике аскетизма. Это противоречит вялотекущему рыночному буржуазному унтерменшевскому сексу, который помещается на пространст-

ве между софт (иногда хард) порно до лицемерной «стрэйт» морали политически корректного большинства. Обратите внимание, современный «центризм» уже не тот, что был раньше — он и более правый и более левый, более пермиссивный, но и более лицемерный. Нам близко все то, что находится за пределами «политически корректного». Порнография (если только речь не идет о тантро-инициатических ритуальных образах) есть десакрализация и дематериализация эротизма.

В «Лимонке» же иногда приходится несколько упрощать общую ситуацию, чтобы нас поняли максимально широкие круги.

МВ: Говорухин продвигает в Думе законопроект, ограничивающий порнографию на российском ТВ. Одобряете ли Вы это начинание?

АД: Говорухин — совок. Его оппозиционность — на уровне противоречий в рамках единого «политически корректного» лагеря. Его законопроект — издевательство над идеей оппозиции. Он снабдил его принятие показательной тирадой — мы не можем остановить гибель великой империи, так пусть хоть наш народ не увидит половых органов и полных пенетраций. Мы не возражаем против софт-эротики, но половые органы при развале Империи — это слишком. В этом смысле наша позиция — прямо противоположная. Пусть полные пенетрации, лишь бы была Империя. А если эти ублюдки не могут ее отстоять, то тем более полная пенетрация лишь обнаружит их ублюдочную недоделанность в глазах народа, который поймет, что это шкурные эгоистичные и тупые степашки, а не оппозиция.

Мы жестко напали на Говорухина и Думу по этому поводу.

МВ: Отто Вайнингер, оккультист и философ, несоменно близкий Генону и Эволе, видел женское начало в сексе как однозначно злое/деструктивное и провозглашал примат мужского гомосексуального секса над гетеросексуальным. Эта тенденция доминирует во многих эзотерических школах; среди близких Вам политических движений (СА Рёма, румынская Железная Гвардия) гомосексуалисты часто в большинстве. Как Вы лично относитесь к мужскому гомосексуализму, его магическим/эзотерическим аспектам?

АД: В «Железной Гвардии» более распространены были аскетические практики и гетеросексуализм (часто с космогоническим оттенком — ритуальная свадьба Кодряну). В этом отношении интересны идеи Ганса Блюхера из Вандерфогеля, а также идеи Бенна о фаллической и гомосексуальной основе государства, рожденного из Меннербундов. Это все занятно и явно соответствует определенным «фашистским» архетипам. Но столь же ортодоксальна и гомофобская линия, равно как и женопоклонничество.

Кроме того, помимо консервативно-революционного наследия, мы апеллируем к «новым левым», где версии эротических архетипов еще разнообразнее. Так что какой-то строгой официальной линии не существует. Как я уже говорил, мы против десакрализированного секса, против его отчуждения в фарисейском обществе и особенно против его коммерциализации. Любовь — антитеза рынка. И она интимно сопряжена с метафизикой и свободой. Любая жесткая легитимация здесь — всегда чревата альенацией.

МВ: Почему в авторитарных консервативных/правых движениях, таких как фашизм, часто доминируют гомосексуалисты[22]?

АД: Есть версия, что фашизм есть замещение отсутствующего отца. Многие тянутся к фашизму как к компенсации за недостаток мужского начала в детстве. Я заметил, что эта особенность повторяется и сегодня. Но неверно утверждать, что гомосексуализм — это предпосылка фашизма. Все сложнее. Часто консерваторы бывают и стрэйт.

---

[22] В отличие от нацизма образца 1937 года, нацизм перед и сразу после захвата власти был более терпим к гомосексуализму. Гитлер заявлял, что ему безразлична половая ориентация членов партии. СА (Sturmabteilung), в то время бывшая основной военной организацией НСДАП, возглавлялась Ернстом Ремом (Roehm), не скрывавшим своего гомосексуализма. Верхушка СА состояла в основном из его любовников и любовников его любовников. 30 июня 1934 года верхушка СА была уничтожена под предлогом борьбы за моральную чистоту и против заговорщиков. Вскоре после этого СА была расформирована. Death in June — название хорошей фашистско-гомосексуальной группы на World Serpent Distribution. (*Здесь и далее в интервью примечания Миши Вербицкого.*)

МВ: Почему в авторитарных прогрессивных/левых движениях (ленинизм, маоизм) гомосексуализма заметно меньше?

АД: Коммунизм есть недостаток материнского начала. Это, кстати, подмечал и Эвола. Что касается меньшего процента гомосексуалистов у коммунистов, это неверно. Европейские компартии и особенно троцкисты сплошь гомоэротической ориентации. Только в случае фашистов такая ориентация связана с акцентуация мэйл, а у коммунистов фимэйл. Вообще вопрос настолько сложный, что всегда имеет две стороны. Любопытно, что и либералы сегодня выдвигают на авансцену явных пэдэ. Но если пэдэ коричневые или красные разоблачаются, то пэдэ либеральные, напротив, только вызывают симпатию. Система — такая свинская вещь, что любой аспект трактует в свою пользу. Логики и последовательности здесь не дождешься.

МВ: Нет ли здесь связи между политикой и алхимией/тантрой/sex magick Эволы и Клоули? Можно ли сказать, что политика бывает связана с sex magick и тантрой? Если да, то не могли бы Вы привести примеры такой связи?

АД: Политика одной из своих сторон (наиболее интересной) связана с миром оккультного. Это — факт. Мир оккультного одной из своих сторон (наиболее интересной) связан с миром инициатической эротики. Примеры вы и сами знаете — Мириам, OTO, Телема, Мартинизм, Иллюминаты, Египетская масонерия, девиантный тантризм и их связь с коммунизмом, фашизмом, либерализмом (в масонском аспекте) и т.д. Мой тезис, который я разбирал во многих книгах, но пока еще не довел до окончательной формулировки, такой. Ось политики — тайная политика, оккультное и мистико-геополитические проекты закрытых организаций и лож (причем здесь все не однозначно, парадоксально, многомерно). Ось оккультизма — магоэротизм, как наиболее действенная, шокирующая, революционизирующая сторона.

МВ: Правильно ли я понимаю, из помянутого выше номера Элементов, что Вы рассматриваете лесбиянство и агрессивность в женском сексе как однозначное зло? Почему?

АД: Не так однозначно. Роль женщины — тайна лунного страдания и духовное восстание против земного подавления субтильной субстанции. Самое омерзительное в эротике — самодовольство — эгоизм, индивидуальный или общеполовой. Эротика — магический путь преодоления ограниченности. В наше время самодовольные истерические и омерзительно тупые гомосексуалисты и лесбиянки профанируют инициатические таинства не менее стрэйт обывателей. Смена пола, отклонение от нормы должны приводить к трагическому шаманскому погружению в иные сферы, а не к проститутской масс-медийной карьере или к комфортному клубному угару. Все это одинаковое свинство.

Женщина должна страстно искать свой архетип. Ее место в революции. Если не способна на революцию, тогда на кухню. А если не хочет (или не может) ни того, ни другого, тогда в исправительно-трудовую колонию.

МВ: Лимонов (в Лимонке) выступает однозначно против гомосексуализма — это партийная политика или его личное мнение?

АД: Лимонов не выступает однозначно против, но и не за. Это не имеет центрального значения. Центральное значение имеет солидарность, пробужденность, активность и революция.

МВ: Как вы относитесь к работам Брэма Дийкстры (Bram Dijkstra), анализирующего демонизацию женского начала в эзотерической традиции масонства и Дао, а также в искусстве викторианства и модернизма?

АД: Этого автора не знаю. Женщина — демон. Но в то же время — падший ангел. В этом виновата не только она сама, сколько семитический (или индоевропейский кочевнический) патриархат, превративший жрицу и фею в глупое и упрямое животное. Я, как и Герман Вирт[23], сторонник «жен-

[23] Hermann Wirth (Герман Вирт) — оккультист, телепат, исследователь Атлантиды, профессор истории и филологии. Помещал Атлантиду на Крайнем Севере. В 1935, Вирт основал Институт Германского Наследия (Deutsche Ahnenerbe). Аненербе было поначалу независимым от правительства частным учреждением, курировавшимся Гиммлером. К 1938-39 Вирт потерял контроль над Аненербе, и в 1939 институт перешел в ведение СС. Аненербе занимался арио-

ского апокатастазиса». Это путь через сублимацию и интеллектуализацию женщины. Она может и должна стать андрогином. Мужчина — как не андрогин — такой же демон и идиот, будь он стрейт или пэдэ. Все естественное в современном (кали-югическом) распределении эротических функций и ролей — неверно и порочно.

МВ: Лимонов выдвигал свою кандидатуру в Думу под лозунгом полного запрета абортов. Как Вы относитесь к этому начинанию?

АД: Я против абортов. Дети — самое нормальное, что осталось в современном мире. Их так называемые родители, на самом деле, много возомнившие о себе нанятые сотрудники субтильных сил, которые никакого права не имеют распоряжаться тем, что созидается через них.

Я сторонник санации против абортисток. Кроме того, в Православной стране это тяжкий грех. Дети не виноваты, что их родители ублюдки. Возможно, они рвутся в этот мир, чтобы опрокинуть власть нового мирового порядка, а шкурные воняющие тетки и самодовольные кретины папаши — холуи системы — им в этом препятствуют.

МВ: Видели ли Вы журнал Answer Me! #4, ``Rape'' issue? Как Вы относитесь к воинствующей мизогинии Петера Сотоса и Бойда Райса («Let's hear it for violence against women")? Вообще, какое отношение в Бойду Райсу (NON)?

АД: Не видел. Мизогиния — элемент здоровой калиюгической нонконформистской мизантропии. Это очень понятно. Отношение к Бойду Райсу — спокойное. Он культовая фигура в некоторых американских и европейских нацисатанинских молодежных кругах. Лучше это, чем софт и «политическая корректность». Сергею Курехину музыка NON нравилась. Мне не очень. Это все занятно, как и индастриэл в целом или дарк вэйв. Но как-то не вдохновляет. Однако есть нюанс. Онтологическое различие России и Запада еще настолько велико, что, попадая на Запад, Райс и Ко видятся по-другому — намного, намного приятнее. В России же есть столько реальных магических энергий и сил, что странно

софией, измерением черепов, теорией космического льда Ханса Хорбигера, теорией полой земли и другими интересными научными поисками.

было бы брать это за образец. Другое дело, что у нас фатально отсутствует концептуально-интеллектуальный аппарат, чтобы осознать великое наследство. Выработка этого аппарата — национальный императив.

МВ: Про mainstream феминизм я даже не спрашиваю, потому что отношение, вероятно, будет резко негативное. А как Вы относитесь к радикальному феминизму в духе Валери Соланас (Society for Cutting Up Men — S.C.U.M.) и книги Re/Search «Angry Women»? Как насчет гиноцентристского язычества и поклонения Богине? Как Вы относитесь к традиции Wicca[24]?

АД: Лично я по мере знакомства с Виртом постепенно менял свое отношение к феминизму — от отрицательного (эволаистского) к нейтральному и положительному. Концепция Вирта, ученика Бахофена и основателя Аненэрбе в следующем. Нордизм — арийский матриархат, оседлость, гнозис, руны, Бог-Внутри, Магические короли, Туле. Делее приходят народы Финды — патриархат, кочевничество, эксплутация, государство, рабство, номократия. Этакий иудаизм, исламизм и бюрократическая российская империя (после Петра). Во главе народов Финда — «голены», мужские жрецы. Они свергают власть «Белых Дам», «весталок», «гигантш». Арийские женщины — одного роста с мужчинами. Отсюда тема «гигантши» в бессознательном. Феминизм — арийское учение, консервативная революция. Тема Богини (откуда пародийная Вика, но в нашем мире все пародийно) — тема эсхатологическая и позитивная. Но ее ортодоксальной версией является (как и во всех остальных случаях) Православие и культ Богородицы.

---

[24] Wicca есть наиболее популярная форма современного язычества. В США число верующих оценивается между 200 000 и 500 000. Традиции Викка восходят к работам оккультистов начала века — Джеральда Гарднера и Маргарет Муррэй, пытавшихся воссоздать религию ведьм и друидов, по мотивам книги Фрезера «Золотая Ветвь». Результат, по аналогии с Кришнаизмом (справедливо называемым Карма-Кола), можно назвать Ведьма-кола. Основная заповедь (бастардизованное Кроулевское «Do what though wilt shall be the whole of the Law») есть «as it harm none, do what you will». Wicca есть самая популярная гиноцентристская религия за последние несколько тысячелетий (а может и вообще). Викканцы поклоняются Богине в трех обличиях: Девушки, Матери и Старухи. Викканские ритуалы свершаются по возможности в голом виде под полной луной.

МВ: Если Вы отказываетесь от диалога/сотрудничества с радикальным феминизмом, то как это согласуется с программой объединения всех маргинальных/радикальных групп в борьбе с Системой? А если Вы за диалог с женским движением — как это согласовать с запретом на аборты?

АД: Мы не отказываемся от феминизма, но вместо абортов предлагаем женское монашество или институт неовесталок.

DRUGS

"...Амфетамины, пэцэпэ, некоторые лекарства на основе коки и маков, пэдэ, вырожденцы, фриксы, уроды, мулаты, монстры, сифилитики и спидоносы, карлос кастанеда и ряд других химических веществ..."

МВ: Классический лозунг Тимоти Лири — «turn on, tune in, drop out» — как Вы понимаете смысл этой фразы (магический/эзотерический/социальный)? Как Вы относитесь к этому лозунгу? К Тимоти Лири вообще?

АД: Все нонконформное имеет положительные стороны. Психоделика вводит человека в мир параллельный — как и алкоголь, помешательство, большое личное горе, шок, интенсивное чувство, опыт войны и т.д. Но дело в том, чтобы превратить пассивный опыт контакта с потусторонним в активный. Наркотики редко когда оставляют открытой такую возможность. В магии есть два этапа — растворение и кристаллизация. В революции есть два этапа — разрушение и нигилизм и созидание нового порядка. Подозрительно drop out. Истинно активный магический опыт не имеет предела, он не заканчивается. Грубо говоря, наркотики надо принять только один раз, но так чтобы уже никогда из этого состояния не выходить. Только одноразовый и однонаправленный опыт является инициатическим[25]. Лири — неплохой человек.

[25] Мне кажется, Лири имел в виду, что результатом знакомства (tune in) с психоделическими препаратами наступает просветление (turn on), а затем фабрика социальных отношений разрушается, и субъект выпадает из замкнутого круга производство-потребление (drop out). Лири умер этим летом, и спросить не у кого...

Он совершенно прав в ситуации омерзительного и безысходного Запада. Пусть Запад будет пропитан наркотиками, пэдэ, вырожденцами, фриксами, уродами, мулатами, монстрами, сифилитиками и спидоносами. Это — авангард Евразии. Позитивный идеал будет предложен Западу только после радикального слома его системы, а пока нигилистическая фаза наиболее актуальна. У нас двойная мораль — для Евразии все это не так актуально, и мы заинтересованы по меньшей мере в строгом контроле над нигилистическим этапам магического становления. Отсюда осторожность в таких вопросах. Для Запада мы имеем иную модель. Полная деструкция, поддержка всего, что способствует размыванию мондиалистского мира.

Хайль Тимоти Лири! Хайль ЛСД!

(Мы же ограничимся пивом и размышлением.)

МВ: Доктор Лири считал, что изобретение LSD открыло перед человечеством революционные перспективы социального переустройства. Очевидно, Транснациональное Оккупационное Правительство США было того же мнения, потому что ЛСД было запрещено и Лири приговорен к тюремному заключению. Как Вы считаете, повлечет ли социальные потрясения появление психоделических препаратов в свободной продаже? Если да, то каково Ваше отношение к «психоделической революции»?

АД: Предыдущий ответ покрывает этот вопрос. Свободу наркотиков в свободном мире. Мы найдем иные, более традиционные и евразийские, вещества.

МВ: Многие считают медицинским фактом, что марихуана не вызывает привыкания и гораздо более безопасна для здоровья, чем алкоголь и табак. Жители штата Калифорния с этим, похоже, согласны, поскольку через головы Клинтона и конгресса провели референдум, легализующий медицинское использование марихуаны. Одобряете ли Вы такое решение?

АД: Мы абсолютно солидарны с жителями штата Калифорнии. Только не надо останавливаться, а продолжать в том же духе. Очень положительное воздействие на здоровье оказывают также амфетамины, пэцэпэ, некоторые лекарства на основе коки и маков, лфофора вильямси, карлос кастанеда и ряд других химических веществ.

МВ: Согласны ли Вы с конспирологическими теориями, объясняющими криминализацию марихуаны сексуальными проблемами гомосексуалиста Эдгара Гувера и финансовыми интересами газетной корпорации Херста[26]?

АД: Не в курсе этой теории, но по опыту знаю, что чем нелепей конспирологическая модель, тем больше у нее шансов оказаться чистой правдой. Более того, я проводил серию экспериментов с моделями дезинформации. Например, утверждается предельно гротескная и по видимости совершенно лишенная всяких внешних подтверждений теория. Обнародуется. Возмущенные наглостью идиотских инсинуаций оппоненты начинают собирать факты, доказывающие нелепость утверждений. Информация начинает циркулировать в массах в виде слухов по принципу «нет дыма без ог-

---

[26] Эдгар Гувер был начальником ФБР на протяжении почти 50 лет. Агенты ФБР собирали секретные досье на всех сколько-нибудь заметных политиков (например, фотографировали и записывали постельные звуки Кеннеди), что делало Гувера виртуально всемогущим серым кардиналом Америки. Гувер вел интенсивную гомосексуальную половую жизнь, что не мешало ему бороться с гомосексуализмом в американском истеблишменте; еще он имел инцестуальную связь с собственной матерью и был масон высшей (33-й) степени. Одним из его друзей и соратников был Херст, протагонист главного героя фильма Citizen Kane. Херст контролировал больше половины американской масс-медиа и вместе с Гувером организовал 5-летнюю компанию по демонизации марихуаны, финансированную из правительственных фондов и личных денег Херста. Результатом была криминализация каннабиса. Причины этого, как обьясняется, были чисто экономические: Херст вложил уйму денег в бумажные древообрабатывающие заводы как раз перед тем, как была разработана новая технология по производству бумаги из стеблей каннабиса. В американских климатических условиях каннабис есть одна из самых устойчивых и быстрорастущих технических культур. Еще Т. Джефферсон писал, что конопля положит основу благосостояния Америки (посмотрите на доллар: орел держит в лапе пучок анаши). Херст посчитал, что он разорится, если эта технология будет применена, и, чтобы раздавить конкурентов, развязал в подведомственных ему газетах беспрецедентную пропагандистскую кампанию.

Когда Орсон Уэллс снял Citizen Kane, на этот фильм был наложен запрет монополией Херста, и ни одна газета не осмеливалась даже напечатать объявление о демонстрации Citizen Kane или других фильмов Уэллса. Имя Орсона Уэллса было запрещено употреблять в печати. В результате Уэллсу прошлось нищенствовать, снимая рекламные ролики, целых двадцать лет, пока Херст не умер.

ня». В конечном итоге, оказывается, что самые дикие выдумки были очень близки к правде. (Эту методологию я почерпнул из замечательного руководства по революционной подрывной работе «Протоколов сионских мудрецов», гениальное произведение).

МВ: Чем это объяснить?

АД: Человеческая фантазия — не произвол, но особая жестко структурированная реальность, чья деятельность протекает в особом аналитически-синтетическом режиме, оперирующем с реальными, но не осознанными данными. Человек не способен придумать чего-то нового. Фантазия имеет дело с рециклированием множества реальных данных, обрабатываемых по модели, гораздо более совершенной, нежели устройство рассудка. Это не так уж и сложно.

МВ: Правда ли, по-Вашему, что марихуана нисколько не вредна и является во многих практических вопросах заменителем алкоголя? Если да, то не послужит ли законодательное внедрение употребления каннабиса в России решению проблемы алкоголизма и ужасающей смертности? А поскольку марихуана есть такой действенный афродиазик, то не послужит ли эта же самая мера увеличению рождаемости?

АД: Я сторонник более традиционных для России средств — водка, пиво (арийские психоделики на основе зерновых), мухоморы на худой конец. Смертность у нас растет не от физических причин, но от тоски. На глазах Система упускает последние запасы геополитической континентальной жизни. Стимулировать эротику должна революция, а не химия. Мужчина должен быть мобилизован на войну, женщина — на страдание (и сострадание). Пробуждение — лучший наркотик. «Ивресс люсид» тантрического посвященного превращает стимуляторы в гнозис, а гнозис в наркотики.

МВ: (чтобы это не выглядело как КГБ-шная провокация: мой лично ответ на эти вопросы: ДА).

МВ: А. Кроули, У. С. Барроуз и другие были уверены в чудесных качествах yage, марихуаны и прочих психоделических препаратов и рекомендовали их употребление в ок-

культной практике и для стимуляции творческих способностей. Каково Ваше мнение на этот счет?

АД: Самый лучший наркотик — социальное восстание, вооруженное сопротивление, напряженная медитация. Химия может в этом помогать, а может и мешать. Кроули не показатель, он был выдающимся и активным магом и легко (относительно) перерабатывал всякие психоделические субстанции в материю созерцания и медитации (равно как и сексуальные энергии). Но его последователи — уже совсем иная история. Истерики, неумные, претенциозные неудачники, тщеславные недоучки, сколько они ни жрали и не пили, толку от этого было очень мало. Их творческие способности — вызывают большие сомнения.

Бэрроуз и вовсе человек глубоко индивидуальный. Он сам замечателен, но есть ли такая вещь как «школа Бэрроуза»?

Я полагаю, что практически каждого можно заставить служить Социальной и Национальной Революции. Но сделать из человека посвященного настолько трудно, невероятно трудно, что я склоняюсь к тому, что посвященными рождаются. Уж больно по-идиотски выглядят все эти оккультисты или даже «генонисты»... Нормальному человеку все идет на пользу, ублюдок умудряется из высшей ортодоксии сотворить свинство.

Кроули интересен, глубок и талантлив. А Гермер? А Крумм-Хеллер? А Парсонс, у которого Рон-Хаббард угнал жену и яхту, а сам он тупо взорвался в лаборатории (не антихрист, а устрица)?

МВ: Кстати, практикуете ли Вы церемониальную магию, высокую тантру или практическую Каббалу? Как Вы относитесь к еноховской магии (enochian magick)?

АД: Энохианские темы очень интересуют. Как и Джон Ди, Голден Доун, Телема и т.д. Каббалу прилежно изучал, равно как и тантрические доктрины и магические учения. Вопрос о практике предпочитаю оставить в стороне.

МВ: Как насчет еретических/эзотерических теорий в науке? Теории полой земли? Теории космического льда Ханса

Хербигера[27]? Теории катастроф Иммануеля Великовского[28]? Оргонной теории Вильгельма Райха[29]?

АД: В науке как в политике — чем экстравагантней и «бредовей» теория, тем она более интересна, перспективна и в конечном итоге истинна. Теория катастроф не очень абсурдна, хотя интересна. Хорбигер более странен и привлека-

---

[27] Ганс Хербигер считал, что космическое пространство заполнено гигантскими кусками льда. Одним из таких кусков является Луна, обреченная упасть на землю, равно как и десятки лун перед этой. Падение предыдущей луны вызвало потоп Атлантиды, а падения других лун вызывали преисторические катастрофы.

[28] Доктор Великовский делал предсказания структуры Солнечной Системы, шедшие вразрез с представлениями научного истеблишмента. С развитием космических исследований, многие из предсказаний Великовского загадочным образом оправдались. Основной идеей Великовского была теория регулярных столкновений Земли с гигантскими кометами, приводящих к потопам и экологическим катастрофам планетарного масштаба.

[29] Вильгельм Райх (Wilhelm Reich) был одним из наиболее талантливых и знаменитых учеников Фрейда. Оргонная теория была его наименее ортодоксальным проектом: попыткой дать квантитативный анализ психоаналитическим категориям. Антифашист Райх уехал в Америку, где продолжал развивать оргонную теорию и строить генераторы и измерители оргона. По причине, никому достоверно неизвестной, его исследования были встречены в штыки американским научным истеблишментом. По приговору суда его теория была признана неправильной, и за это (в 1956) все его книги были сожжены на костре, лабораторные инструменты разрушены до винтика, а сочинения по оргонной теории изъяты из всех американских библиотек и тоже сожжены. До настоящего момента, исследования в этой области запрещены, и последние работы Райха запрещено публиковать до сих пор. Вплоть до 60-х годов правительство Америки продолжало изымать и сжигать его книги.

Райх был, вероятно, первым в мире исследователем влияния радиации на живые организмы. Его идеи весьма влиятельны; так, например, критика фашизма Фроммом и Франкфуртской школой философии основана на психоанализе нацизма, проделанном Райхом в 1933. Оргонная теория, несмотря на запрет, до сих пор популярна; так, например, на ней построен сюжет «Городов Красной Ночи» У. С. Барроуза. Барроуз, начиная с 1940-х годов, регулярно экспериментировал с оргоном; им было построено несколько установок по накоплению оргона (оргонных генераторов). Гениальный Роберт Антон Уильсон написал пьесу Wilhelm Reich in Hell.

Райх умер в тюрьме, где он провел два года за неуважение к суду, проявившееся в развитии неправильных научных теорий. Никто не знает точно, что произошло с его тюремными рукописями.

телен. Райх вообще прав. Все еретическое, даже взаимоисключающее, позитивно и заслуживает интереса.

ROCK'N'ROLL

"...Подделки нам враждебнее открытых врагов..."

МВ: Когда-то очень давно (году в 1987-89) Вы совместно с очень странной компанией участвовали в книге Rock in USSR, написанной на густом таком broken English. Редактором был Троицкий. Поддерживаете ли Вы с ним отношения? Как насчет Васина и прочих петербургских рокеров и функционеров от рока?

АД: Броукен инглиш на совести «Прогресса»: я писал на русском. Компания была совершенно случайная, подобранная идиотами-издателями. Проект получился настолько неудачным, что я с женой отказался даже давать свое фото. С Троицким я пересекался в то же время, но никаких отношений не поддерживал. Он очень плохо и злобно прореагировал на нашу дружбу с Курехиным. Вообще он конформст и софти. Очень, кстати, мало что понимает в современной музыке (как говорят специалисты). Васина я видел. Это просто бессмысленный унтерменш. Петербургских рокеров я не знаю.

МВ: Вашим соавтором по этой книге был Гейдар Джемаль, также появлявшийся в первом номере Элементов. Лимонка его в данный момент активно ругает за связь с Лебедем. Разделяете ли Вы этот критический взгляд на Г. Дж.? Если да, то почему? Лимонка, как оно обычно бывает, своих пристрастий не объясняет. Джемаль, поддержав чеченский джихад, нисколько не изменил тому, что он говорил в Элементах #1.

АД: Джемаль мой старинный друг и духовный учитель. Его позиция очень логична и последовательна. Когда мы пребывали в относительно безответственной ситуации антисоветского подполья, вопросы конфессиональных расхождений (я — православный) и отношения к нации (мы все ненавидели Совдеп и желали ему скорее провалиться) вообще не стояли. Когда дело дошло до развала страны и межконфессиональных конфликтов, все изменилось. Джемаля я считаю абсолютным гением, величайшим мыслителем и человеком нашего эона. Но он последователен в акцентуации своей

особой трансценденталистской метафизики и исламской идентичности (в том числе геополитической). Он — крайне правый. Он остался анти-социалистом и русофобом, как и ранее. Я эволюционировал в сторону национал-большевизма, левого национализма и христианской (православной) метафизики. Позиции несводимы, особенно у тех, кто стремится как можно ярче обозначить специфику своей позиции, сопряженной с осмыслением истории и ее тайной логики в самый критический и эсхатологический момент. Лебедь — для меня воплощение полного зла. Хуже ничего не существует. Он фатален для России. Джемаль также это понимает и именно поэтому его приветствует и поддерживает.

Все это довольно логично...

МВ: Меня в свое время буквально потряс роман Тимура Пулатова «Плавающая Евразия». Каково Ваше мнение об этой книге и о Пулатове вообще? Image Джемаля, по первой книге Элементов, мне напоминал персонажей из «Плавающей Евразии» — есть ли какая-то связь между Джемалем и Пулатовым, или это мне показалось?

АД: С Пулатовым дружил Проханов, я его на знаю и не читал. Пулатов, если я не ошибаюсь, был функционером Союза Писателей. Джемаль печатался и в «Дне», когда я там сотрудничал.

МВ: Егор Летов громко порвал отношения с Лимоновым, и, кажется, примерно в это же время его интервью появилось в седьмой книжке Элементов. Значит ли это, что Вы продолжаете поддерживать с ним отношения? Если нет, то почему — партийная дисциплина?

АД: Летов человек талантливый, недооцененный, позитивно ориентированный. Но с очень склочным и дурным характером, исполненный рессантиманта (по Ницше). Он не только разошелся с угловатым в общении Лимоновым, но умудрился повздорить по пустякам с мягчайшим и деликатнейшим Курехиным. Летов очень сложный человек. Я с ним отношений не порывал, хотя и особенной близости нет. В «Элементах» появляются интервью не только с друзьями, хотя это интервью было взято в период нашего довольно тесного сотрудничества.

МВ: Как вообще Вы относитесь к политической инициативе Егора Летова, Романа Неумоева и других — «Русскому Прорыву»? Они, мне кажется, пытаются объединить русские имперские традиции и идеологию анархизма (скорее даже, ситуационизма) — это должно быть очень близко НБП.

АД: Летов и Неумоев (который очень оригинален и талантлив, вообще странная, но аутентичная личность) идеологически нам крайне близки. Но жизнь рокеров анархична не на уровне теории, но на уровне быта. У них каждую минуту меняются настроения и планы. В целом они союзники, а прозюгановские девиации Летова или черносотенный уклон Неумоева я не склонен воспринимать чересчур серьезно.

МВ: А как к творчеству самого Летова, Неумоева и прочих сибирских панков (Черный Лукич, Манагер, Кооператив Ништяк, Чернозем и других), за последние 2-3 года?

АД: Летов и Неумоев чрезвычайно талантливы. Они создали стиль и особую квази-идеологию. В настоящее время их нагнетенная конструкция, однако, начинает резко осыпаться. Во-первых, Система не дремлет и сумела настолько их маргинализировать или очернить, что они как бы растворились. Во-вторых, у них явно не хватает прагматических навыков для экспансии даже в маргинальном секторе. И наконец, они слишком неустойчивы психически, чтобы проводить свою культурную линию рационально, а менеджеров у них вообще нет (тем более идеологических). Боюсь, что скоро они растворятся (не без помощи Системы). Остальные вообще малоинтересны — это свита.

МВ: Есть ли, по-Вашему, связь между политикой творческого человека, его магией/эзотерическими пристрастиями и эстетикой? Нужен ли такой синтез? Если нужен, то есть ли в России писатели/философы/музыканты, способные к такому синтезу, в рамках близкой Вам философии? (могу предугадать ответ: Мамлеев, Головин. А кто еще?)

АД: Связь есть и огромная. Такой синтез неизбежен, Тот кто это отрицает, просто свидетельствует тем самым о своей периферийности в отношении инстанций реальной власти (независимо от поста). Если политический руководитель или

идеолог не интересуется оккультным, значит кто-то рядом интересуется, и этот «кто-то» и есть сознательный и настоящий властитель. Это настолько очевидно, что не хочется доказывать. Вы всех назвали. Но это только наиболее яркие и глубокие фигуры. Существует масса недоделанных полуполитиков-полуэзотериков, которые с интеллектуальной точки зрения неинтересны, но зачастую намного более приближенны к централу власти. Сейчас такой синтез в России — это норма и мода. У каждого губернатора — свита колдунов, шаманов, экстрасенсов, рерихианцев и прочих дебилов. Коржаков содержал при охране Ельцина огромный штат терелочников, целителей и гадателей. Оккультные тексты читают в политике и экономике в России все. Колдуют все. Но это уже настолько банально, что неинтересно.

МВ: Вл. Сорокин, Сердца Четырех: магический реализм Великой Империи или руководство по прикладной Каббале? Мне кажется, Сорокин (сознательно или нет) воплотил в этой книге многие из идей НБП — не в меньшей степени, чем Лимонов в «У нас была великая эпоха...». Что значит для Вас эта книга Сорокина в контексте имперской эзотерики национал-большевизма? Были ли у НБП контакты с Сорокиным?

АД: Сорокин — неудачный на мой взгляд римэйк Мамлеева, подделка, конформистский дубль. Как и Пригов и совсем уже бездарная вереница «постмодернистов». Эти люди ничего не знают и ничего не умеют. Книга Сорокина — ничтожна. У нас контактов с ним не было. Вообще сложилась ситуация жесткого противостояния вторичных персонажей и плагиаторов против оригиналов и источников плагиата. Это клановая позиция. Мамлеева активно релятивизируют. О Головине не упоминают. Лимонова демонизируют. Летова замалчивают. Курехина подонки почти убили. Это не случайность, а продолжение советской культурно-политической стратегии. Подделки нам враждебнее открытых врагов. Из-за океана, возможно, этого не видно.

МВ: Слушаете ли Вы современную музыку? Какую? Во времена Егора в Лимонке была серия статей о музыке World Serpent Distibution (Current 93, Death in June, Sol Invictus, Boyd Rice...). WSD, с постоянными отсылками к текстам Эволы, F. Yockey и прочих философов Консервативной Революции,

должна быть Вам близка по крайней мере идеологически. Какие из альбомов/артистов WSD Вам нравятся?

АД: Я ничего не понимаю в музыке. Дарк вэйв, цитируемый Вами, мне известен, идеологически симпатичен, музыкально неубедителен. Йоки — гениальный человек, Эвола — мой духовный ориентир наравне с Геноном. Мне очень нравится Катарина Валенте и музыка фрикс пати с «Репертойр рекордз». Это называется, если не ошибаюсь, стиль «лунстерз». Легкая музыка 50-60-70, чья легкость и юмор постепенно превратились в самый агрессивный и разоблачительный антигуманизм, который только можно придумать.

Я сотрудничаю в настоящее время с Георгием Осиповым и Борисом Симоновым, которые являются, на мой взгляд, лучшими музыкальными экспертами в области музыки в России. Борис был информатором Курехина многие годы. Их вкусам я доверяю и на этой базе подбираю музыку к программам. Хотя иногда я и использую в качестве иллюстраций «Сайкик ТВ», Сроббинг Гризл, Сванс, Сол Инвиктус, Тайбета и т.д.

МВ: Не планируете ли Вы дальнейших контактов с WSD (прерванных, как я понимаю, трагической кончиной С. К. 418)?

АД: Лично я довольно далек от этого. У Бориса Симонова свой музыкальный магазин, он, по-моему, связан с этой фирмой каким-то образом. Я был бы заинтересован в более общем проекте — изложение базовых национал-большевистских и евразийских теорий на английском языке и их распространение в различных художественных и академических средах. С этой целью я предполагал создать англоязычный сайт. Но этот проект только начал осуществляться. Кстати, данное интервью могло бы фрагментарно стать первым аккордом концептуального диалога, если это в Ваших силах и если Вы, как я понял, имеете некоторое отношение к американской дарк-вэйв культуре.

Март 1997

Фариза Муртазалиева: Бессознательная математика механизма[30]

Интервью с Вадимом Климовым

Сальвадор Дали называл фотографию «бессознательной математикой механизма». На текстуальном уровне фото можно уподобить интервью. Девять хлестких вопросов и девять лаконичных ответов, как девять последовательных фотокарточек одного и того же человека. Девять дублей респондента.

Чтобы взять интервью у Фаризы Муртазалиевой, мне пришлось отправиться в Махачкалу, где я и нашел знаменитого психоаналитика на берегу Каспийского моря. Фариза купалась. Я задавал ей вопрос, Фариза уплывала, а возвращалась уже с ответом, проговариваемым, пока высыхало тело. Затем новый вопрос, Фариза снова уплывала и возвращалась с новым ответом.

Так мы заполнили своей болтовней пустые страницы «Опустошителя» в точном соответствии с дефиницией Сальвадора Дали. Это интервью о бессознательном, математике и механизмах в голове.

[30] Рисунки Мурада Халилова.

1. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в рамках психоанализа?

Сначала я хотела ответить только «занимаюсь психоанализом». Чем еще можно заниматься на работе, кроме работы? Как назвать дело, которое считаешь своим? «Я занимаюсь своим делом», хорошо и так. Но «рамками» вы меня смутили. В рамках психоанализа я живу как-то не так? Что вы имели в виду? Например, спасатель на водах на работе как-то особенно спасает, не так, как в свой выходной, если кто-то вдруг решит тонуть в это время? Надо поинтересоваться, если у меня будет такой знакомый спасатель.

2. То есть психоанализ для вас слишком естествен, чтобы вдаваться в детали?.. У Маруси Климовой есть любопытные рассуждения о профессиях, проживающих жизнь вместо человека. Например, о дизайнерах, которые учат клиентов, где им поставить стул и стол, в какой цвет покрасить стены и как прикрыть свои свиные рыла, чтобы не слишком бросались в глаза. Можно ли работу психоаналитика отнести к подобной деятельности?

Вопрос ведь был не о деталях. А о том, чем я занимаюсь. И вы правы, неестественного для меня в анализе нет. Хотя обычной профессией свою работу я не назову. Вы рассмешили меня этими «свиными рылами», и я согласна с Марусей Климовой. Не знаю, надо ли дизайнеру слушать всю дорогу своих клиентов, в отличие от аналитика. Аналитику, кстати, не чужды проблемы дизайнеров. Может быть, все дизайнеры становятся мизантропами, а как по-другому, если тупые заказчики мешают им делать их работу. В анализе пациент не может «мешать», он просто живет. Задача аналитика не помогать, не исправлять образ жизни или даже не «менять психику» (и такое обещают) пациента. Аналитик слушает, пациент говорит. Ничего не происходит? А дизайнер поменяет обои или раскрасит пол в шашечку, состарит мебель или поменяет раму у картины на стене. В зависимости от современных направлений или пожеланий заказчика. Если сворачивать тему с дизайнерами, то аналитик ближе к реставраторам картин, икон. Снимать — особенно с икон — слой за слоем краску, одновременно защищающую и в то же время скрывающую первоначальный замысел автора. Который, конечно же, не мог быть плохим.

3. Весьма любопытная аналогия с реставратором икон. Обнажая изначальный замысел человека, психоаналитик освобождает его от кокона, собственно, от всего человеческого. И в конце концов должен упереться в идею Человека, предложенную богом. Внутри этого кокона будет одно ребро, если клиенткой была женщина, или некто без ребра, если клиентом был мужчина. Психоаналитик добирается до них сквозь толщу культуры и цивилизации, разворачивая их вспять. Такой взгляд на анализ вам близок?

Зачем я вспомнила про иконы? Про замысел какой-то? Так недалеко и до понимания, и до смысла, до которого мне никакого дела нет. Просто мне очень нравится какая-то воображаемая картинка, как из-под грязи на черной доске проявляется золото. Так обнажается первоначальное изображение. Опять оно будет незащищено ничем, или теперь его защитят от потускнения или исчезновения каким-то незаметным лаком? Я не знаю, но теперь эта доска будет жить другой, новой жизнью.

Про «изначальный замысел человека» вы как-то неожиданно начали. Но тут же загнули про освобождение от «всего человеческого»! Так мы с вами людей распугаем. Но я про непосредственно «освобождение». Это большая и хорошая иллюзия, что можно оставить дурные привычки, начать жить заново, найти друга или оставить страхи в прошлом. То есть собственно эта иллюзия и есть жизнь. Хотеть узнать о ней больше и быть в ней и есть повод искать себе психоаналитика. Поиск его — это самое главное! — найти того, к кому зачем-то приходить долгие годы. Об этом будет следующий вопрос?

Ваша метафора про кокон, в котором от человека, «предложенного богом», останется только ребро или некто без ребра, похожа на фантазию пациента об аналитике, который сможет «очистить» пациента от его бэкграунда или вообще не учитывать его бэкграунд. Чтобы стать другим, лучше, как если бы он и правда был задуман богом, рожден человеком без чувства вины.

4. Действительно, как проницательный человек вы угадали следующий мой вопрос. Расскажите, как вас находят клиенты и насколько долгий, полный препятствий путь они проделывают.

Как меня находят те, кто хочет ко мне в анализ. (Я могу назвать их пациентами, но не клиентами.) Вы тоже угадали — меня находят. Я не делаю рекламы, но и не скрываю своих взглядов или ожиданий от тех, с кем мне интересно. Эти люди могут быть знакомы со мной или моими знакомыми. Интересна ваша фантазия о препятствиях. Или это такой оборот речи? Как будто речь о каких-то персонажах, которые все время что-то преодолевают. Они мне малоинтересны. Преодолевают болезни, или горы. Психоанализ не про «лечение». Идея о людях, нуждающихся во мне как в том, кто им поможет, мне не близка. Правильнее будет сказать, что находят меня те, кому хочется говорить о себе то, что другие не готовы услышать. Или, услышав их рассказ, никак не реагируют. И так всем становится тяжело жить.

5. В абстрактной науке есть математический анализ. Это одна из самых архаичных линий, которую во многих современных курсах вообще не проходят. Она существует лишь на факультетах динозавров вроде мехмата МГУ. А у вас нет такого ощущения относительно фрейдизма? Это ведь тоже жутко устаревшая дисциплина? Или вы так не считаете? Три вопроса вместо одного.

Может, вы пошутили, но я-то сама училась матанализу. По учебнику Берманта-Арамановича. Толстый учебник, как его могли отменить. Посмотрела в интернете, есть он, уже 14-е издание. Наверное, вы это придумали. Про абстрактную науку. И про фрейдизм придумали меня спросить. Потому что не хотите про другое. Как может устареть желание говорить? Просто — желание? Про «устаревший» психоанализ я ничего не считаю. Нельзя же считать трагедию царя Эдипа устаревшей. Или кино. Или сны. Или себя.

6. Мне кажется, вы смешиваете предмет изучения и метод. Конечно, ни древнегреческие трагедии, ни, тем более, сновидения устареть не могут. Но может устареть способ их восприятия и изучения. Я знаю, что вы большой ценитель Зигмунда Фрейда, но как насчет ревизии его учения, описанной той же Жюли Реше в статье «Живой труп Фрейда: психоанализ vs нейронаука»?

О ревизии учения? Перечисленные Жюли Реше взгляды специалистов не-аналитиков (наверное, их гораздо больше, но указаны чем-то близкие автору) на «ненаучность» фрейдовой науки психоанализа могут вызвать интерес у тех, кому анализ не близок. Жюли Реше собрала материал для статьи, как это делает теоретик. Ссылки на авторов, названия источников, все как надо. Чтобы заявить о себе, тоже-теоретике. Когда-то я стала читать Жюли как психоаналитика, но что она не «он», поняла достаточно быстро. Возможно, и она о себе это знает. Поэтому все эти темы с нейронами и чем там еще. (Странным образом и я не избежала темы нейронов. Мой диплом по первой специальности был «Моделирование проводимости нейрона по уравнению Ходжкина-Хаксли». На больших машинах, еще до ПК. Бессознательное не отступает.)

Аналитик не тот, кто не сомневается и не хочет узнать больше. Аналитик тот, кто все это проделывает с собой и другими, в анализе, много лет (всю жизнь). Аналитик не инструктирует, как обходить препятствия. Не пытается «улучшить» метод и «инструменты», ведь «предмет изучения» не меняется. Узнавать аналитику о разном себе и быть с собой разным в ладу — вот о чем можно говорить, вместо «улучшения метода». А вместо этого уходить от человеческого, от беспорядка к упорядоченному, от связей любви-ненависти-знания к связям нейронным меня не привлекает.

На статью Жюли ей ответили разные люди. Тот, кто хочет называть себя психоаналитиком и заниматься анализом, должен иметь длительный опыт личного анализа. Говорить о психоанализе и заниматься всем чем угодно, кроме психоанализа, — не новый способ спекулировать на имени Фрейда. Доставляя себе при этом удовольствие, как нам демонстрирует это Жюли Реше.

7. Я подложил вам Жюли Реше, чтобы вы хорошенько прошлись по ней, и вам это удалось. Браво! Но следующий вопрос будет совсем о другом. Как вы считаете, беседа о психоанализе и психоанализ конгруэнтны? Или, может быть, изоморфны? Вообще, насколько психоанализ гуманитарен в понимании Джорджа Сороса? Сорос определял гуманитарную науку как область знания, способную трансформироваться из-за того, что ее обсуждают. Мы можем говорить о температуре в комнате, никак на температуру не влияя, но не о политическом явлении, меняющемся в зависимости от того, какие мнения мы о нем высказываем.

Беседа о психоанализе — то, что у нас с вами происходит. А психоанализ — другое. Он может быть беседой. Может быть монологом, молчанием, разговором на повышенных тонах, тихим общением и вообще всем, что объединяет людей для разговора несколько раз в неделю в одно и то же время в одном и том же месте. Конгруэнтность — это про подобие? Тогда они конгруэнтны. А про изоморфность сейчас посмотрю… Нет, не изоморфны. Психоанализ имеет жесткие рамки — время встреч, дни недели, продолжительность сессий. И этим он может быть изоморфным только сам себе. Является ли психоанализ гуманитарной наукой? В свете подхода Сороса? Нет. Анализ не меняется. Область его исследований неизменна. Это человеческое: сексуальность, агрессия, страхи и проблемы. Что вы меня путаете? Температура в комнате от нашего разговора меняется, а человек нет. Меняется его способ жить среди других. Вы совсем бы меня озадачили с корректностью ответа, не встреть я случайно недавно свою знакомую. Когда у человека едет крыша, ее удерживать негуманно.

8. Замечательно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Недавно я наткнулся в сети на одну даму, возможно, вы ее знаете, а может быть и нет, которая решила высказаться на популярную тему всеобщей слежки. Джордж Оруэлл приучил обывателя к страху, что он кому-то нужен, кроме горстки близких родственников. Дама поведала публике, что держит телефон только в таком положении, чтобы он никогда не снимал ее саму. А глазок камеры на ноутбуке и вовсе заклеивает пластырем, отклеивая исключительно для бесед со своим психоаналитиком. Кажется, здесь все так гармонично сплелось, что лучше и не сформулируешь. Экзистенциальная неудовлетворенность, соци-

альная паранойя, техническая безграмотность и вдобавок психоанализ. Как вы считаете, органичен ли в этом ряду последний элемент (для пущей наглядности психоаналитика можно было бы заменить психиатром) или он здесь случаен?

Конечно, психоаналитик не случаен. Так же, как неслучаен именно этот ваш вопрос. Мало ли персон мужского и женского пола пишут в сети, и в том числе о психоанализе. Иметь проблемы и хотеть знать о них естественно. Или думать, что имеешь проблемы, и хотеть узнать об этом. Что может испытывать человек от мыслей о чужом присутствии в своей жизни, для каждого человека вопрос его психической реальности. Делиться своими мыслями в присутствии тех или иных лиц, очевидно, говорит что-то о человеке, но что? Ваше право считать это неграмотностью или паранойей. Я не раздаю диагнозов. У женщины, написавшей текст, очевидно желание втянуть вас и вам подобных в обсуждение ее взглядов. Ведь про других это интересно.

9. Бояться подсматривающих глазков и вести психоаналитические беседы по скайпу — все равно как поместить себя в стальной кокон чопорности и ходить справлять нужду за кустики у оживленной улицы. Однако оставим это и перейдем к последнему вопросу.

Как мне кажется, на протяжении всего интервью вы проявляете восторг неофита. Любой вопрос вы рассматриваете с точки зрения психоанализа, то есть изнутри явления. Я же в своих формулировках исхожу из взгляда со стороны, то есть извне. Давайте поменяемся местами и попробуем исполнить роли друг друга. Представьте, что я мальчик из анекдота, который приводит Владимир Набоков в эссе «Что всякий должен знать?». Я объявляю папе, что хочу жениться на бабусе. Не мели ерунды, говорит он в ответ. На что я замечаю: «Почему же, папа, ты можешь жениться на моей маме, а я не могу на твоей?» Как вы прокомментируете эту ситуацию с позиций того, кто находится вне доступа психоанализа?

Все равно что далеко, все равно что близко, как говорил Хлестаков Марье Антоновне. Кто говорит о себе в глазок камеры, кто фейс ту фейс, кто на кушетке. Кто никуда не говорит. Живет, ходит кругами. Примеряет на себя разные роли. Хочет быть то мальчиком, то папой, то аналитиком, то

['ɪntəvju:]

пациентом. Хочет говорить, или молчать, или ответить так, чтобы ответ запомнился надолго, как ваш мальчик из анекдота.

школа трупов

Кладезь человеческого благоразумия
от черепахи Зенона до патриарха Кирилла

χέλυς
-490 :: -430

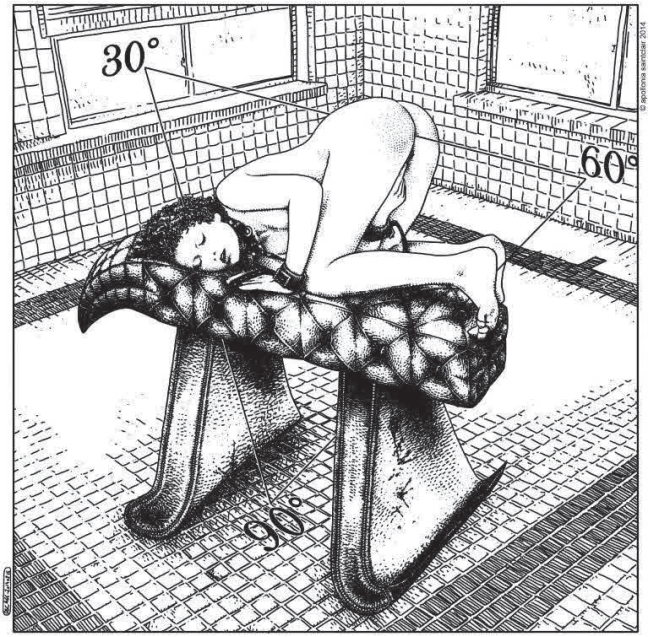
Ты меня никогда не догонишь, Юнгер.

Мишель де Монтень
1533 :: 1592

Философия призывает только к праздности и веселью. Если перед вами нечто печальное и унылое — значит философии тут нет и в помине.

Галилео Галилей
1564 :: 1642

И все-таки она вертится!



Рене Декарт
1596 :: 1650

Я даже не хочу знать, были ли люди до меня.

Людовик XIV
1638 :: 1715

Я убил в себе государство...

Георг Кристоф Лихтенберг
1742 :: 1799

Скромность должна быть добродетелью тех, у кого нет других.

Новалис
1772 :: 1801

Настоящая анархия есть именно тот элемент, из которого возникает религия.

Артур Шопенгауэр
1788 :: 1860

Поэтому я советовал бы своим остроумным землякам, если им опять придет охота какого-нибудь дюжинного человека в течение 30 лет провозглашать великим гением, не выбирать себе любимца с такою физиономией трактирщика, какую имел Гегель, на лице которого самым разборчивым почерком было написано природою столь знакомое ей название «дюжинная голова».

Федор Достоевский
1821 :: 1881

Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него.

Жорж Шарль де Геккерен д'Антес
1812 :: 1895

Если бы французы выражались так же точно, как я стрелял Пушкиных, мир избежал бы ужасной встречи с французской философией. Если бы мои соотечественники мочились хотя бы частично с той же меткостью, с которой я отвечал великой русской поэзии, в парижских сортирах можно было бы оперировать больных.

Владимир Ленин
1870 :: 1924

Кто же теперь будет спать со мной?

Константин Циолковский
1857 :: 1935

И снится нам не рокот космодрома,
Не эта ледяная синева,
А снится нам трава,
Трава у дома.
Зеленая, зеленая трава.

Луи-Фердинанд Селин
автор 32-й книги «Опустошителя»
1894 :: 1961

Говорят, что молодость губят иллюзии. Сказки! Мы ее без всяких иллюзий погубили!..

Марсель Дюшан
1887 :: 1968

Нет решения, так как нет проблемы.

Бертран Рассел
автор 27-й книги «Опустошителя»
1872 :: 1970

Когда королева крестится, мне делается неловко за то, что я англичанин.

Юлиус Эвола
барон, а так же автор 7-й и 22-й книг «Опустошителя»
1898 :: 1974

Ах, они здорово меня отделали, эти ублюдки.

Мартин Хайдеггер
1889 :: 1976

Рождественский сыр только в рождественской мышеловке.

Жан-Поль Сартр
1905 :: 1980

Тошнит решительно от всего.
Однако никто не умрет вместо меня.

Жорж Перек
1936 :: 1982

Если физика постулирует «у тебя есть брат и он любит сыр», то метафизика отвечает: «если у тебя есть брат, то он любит сыр». А `патафизика же заявляет: «у тебя нет брата, и он любит сыр».

Андрей Тарковский
о своем операторе Георгии Рерберге
1932 :: 1986

Всё то, что мы сняли с Рербергом в Таллине, — дважды брак. Во-первых — технический. Во-вторых — состояние оптики и аппаратуры. Главный инженер Коноплёв ответственен за это. Рерберг ответственен тоже, но по другой причине — он надругался над принципами творчества и таланта. Он считал, что талант — это он сам, поэтому унизил его и разрушил его, как и самого себя. Пьянством, безбожием и непорядочной вульгарностью. С моей точки зрения, он труп.

Сальвадор Дали
1904 :: 1989

В наше время, когда повсеместно торжествует посредственность, все значительное, все настоящее должно плыть или в стороне, или против течения. Теперь, в эпоху духовного упадка, всякая творческая личность автоматически попадает в разряд экстравагантных чудаков, все делающих наперекор своим предшественникам, и примером тому — деятельность нашего генералиссимуса Франко[31].

Ги Дебор
автор 1-й и 14-й книг «Опустошителя»
1931 :: 1994

Спектакль продолжается!

[31] Удивительное и одновременно предельно симптоматическое открытие. Цитату пришлось набирать из книги почти целиком, так как в Интернете она присутствует только первым предложением. Ценители экстравагантных формулировок Дали решили обрезать фразу, оставив лишь морализаторскую часть. Но ведь этим осторожным усекновением они подтвердили мысль сюрреалиста о торжестве посредственности. Генералиссимус Франко подвернулся так удачно, словно лакмусовая бумажка в мутных водах афористичных тупиц. (*Прим. науч. ред.*)

Элиас Канетти
1905 :: 1994

Книги пахнут трупами.

Эмиль Мишель Чоран
1911 :: 1995

Освободите нас от психоанализа, а от болезней, про которые он толкует, мы себя сами освободим.

***

Порою ночь так черна, что затмевает будущее, и оно сводится к одному-единственному мгновению, которое мы выбрали, чтобы разделаться с жизнью.

Евгений Головин
1938 :: 2010

Мы бросаем пить, надеясь высвободить силы, время и деньги на нечто, что нам кажется более существенным, но не получаем взамен ничего — ни лишних сил, ни лишнего времени, ни лишних денег. Нельзя отказываться от мечты и пытаться разменять ее на что-то еще.

Жан-Люк Годар
1930 :: 2020

Они все мертвы, эти ублюдки!

Петр Павленский
1984 :: 2021

Я поджог исторические двери Лубянки, прибил мошонку к брусчатке Красной площади, катался голый в мотке колючей проволоки, зашил себе рот, а вы… все равно слиплись разрозненными телами.

Владимир Путин
1952 :: 2027

Мочи их, Эрдоган!

Жюли Реше
1983 :: 2034

Наконец-то кому-то удалось определить мою политическую ориентацию — я более левая, чем Вадим Климов.

Вадим Климов
автор 3-й, 9-й, 19-й и 31-й книг «Опустошителя»
1982 :: 2044

Если бы я был Марусей Климовой и тоже писал книги вроде «Безумной мглы» или «Профиля Гелдерлина на ноге последнего мерзавца», то мне обязательно пришла бы в голову следующая мысль:

«Трогательная вера в то, что именно инопланетяне оставляют на пшеничных полях знаки для нас, напоминает убежденность в том, что ваши тапочки перенес в другую комнату кто-то неизвестный, проникнувший в жилище, пока вы отвернулись».

Патриарх Кирилл
1946 :: 2046

Когда пьешь чай из чашки с оставленным пакетиком, а чая остается совсем чуть-чуть, дабы пакетик не выпал на лицо, приходится придерживать его за ниточку. Но и в этом случае он не оставляет вас в покое, елозя по носу и увлажняя вас остатками чая. В конце концов, пакетик может даже обжечь вашу холеную физиономию… Черт бы вас всех подрал за такое мироздание!

Zoe Reshe
2009 :: 2054

Mommy! Mommy! Why child pornography & hard drugs are prohibited? It's so funny!

камушек в ботинке

Вадим Климов
На пороге нового мира: антиУтопия
кинотриптих

Бегство главного героя от жестокой действительности…

Его уже зафиксировали в кресле, приготовив к пыткам, но ни одно изощренное орудие не успевает коснуться Сэма Лаури: нервная система бесхитростного клерка не выдерживает и упрятывает сознание в капсулу беспричинного блаженства — он сходит с ума.

Пытать преступника в коматозном состоянии лишено всякого смысла. И тоталитарная репрессивно-бюрократическая машина вынуждена отступить. Так заканчивается фарсовая антиутопия Терри Гиллиама «Бразилия».

Несмотря на легковесность картины Гиллиама, не лишенной, однако, весьма остроумных находок, ее финал поистине поучителен, можно считать его символическим содержанием всего антиутопического направления.

Произведения этого жанра доводят расхождение с обыденной современностью до такого предела, что зрителю не остается ничего другого, как преисполниться самоуважением. Ведь он никогда бы не оказался в подобном обществе, а если бы и оказался, то вел бы себя совсем иначе.

Жанр антиутопии помещает «маленького человека» в защитную капсулу. Однако, в отличие от Сэма Лаури из «Бразилии», зрителя или читателя спасают не от реальности, а, напротив, от ее переосмысления, еще глубже укореняя в привычной действительности.

Схожий эффект достигается при знакомстве неискушенных людей с историей, даже самой недавней. Мрак, невежество, идиотизм и отсутствие цивилизации — вот что обычно выносит дилетант из исторических экскурсов. Он

совсем не замечает, в каких нелепых предрассудках погряз он сам и его время.

Современность для критического мышления дилетанта целиком умещается в слепом пятне. Он ее не замечает, не чувствует и не осознает. Профан всего лишь находится в современности, словно неодушевленный предмет.

Отбрасывая развлекательный аспект массового искусства, мы видим, как радикальная критика насущных проблем вынужденно отодвигает их в несуществующее место или время. Так появляется антиутопия.

Обыватель, упрятанный в кокон комфорта, выстраивает на ней апологию своего ничтожества. Мы же хотим рассмотреть в антиутопии нечто большее.

1. 1984: вызволение посредственности

«1984» (режиссер Майкл Рэдфорд, 1984)

Экранизация одной из самых популярных антиутопий — «1984» Джорджа Оруэлла — безусловно хороша. Кинематографический аспект не вызывает никаких нареканий. Великолепная атмосферная картина, аутентичная литературной основе. Здесь все на своих местах и как будто совсем не видны недостатки. Однако, чем убедительнее режиссура Майкла Рэдфорда, тем отчетливее проступают концептуальные изъяны Джорджа Оруэлла.

Сюжет разворачивается вокруг взаимоотношений членов внешней партии Уинстона Смита и Джулии, противопоставивших свой любовный азарт тоталитарному монстру государства. Собственно драматическая составляющая произведения малоинтересна — антиутопия актуализируется в декорациях, в той безумной и бесчеловечной самоуверенности, с которой Новый этатистский тип навязывает себя обществу и личности.

Мораль всегда институциональна, поэтому любовникам не остается ничего другого, как признать свой аморализм. В перевернутом с ног на голову мире этот шаг вполне естественен, более того, он кажется единственной возможностью, чтобы противостоять враждебному окружению.

Авторский гуманизм помещает в сознание главного героя парадоксальную идею о том, что крах тоталитарной Системы придет от пролов — безликой массы, существующей на периферии социальной организации.

По Оруэллу, общество расслаивается на партию, в свою очередь разделенную на внутреннюю и внешнюю, и пролов.

Деятельность партии описана в романе довольно подробно, а пролам автор левых взглядов не уделил почти никакого внимания.

Пролы — это обслуживающий персонал, среди которого тучная женщина в возрасте, развешивающая белье и напевающая сочиненную машиной песенку. Этой домохозяйкой любуется Уинстон Смит из окна комнаты, снятой для подрывных любовных утех с Джулией.

Жанр антиутопии, в 1920 году инициированный романом Замятина «Мы» («1984» вышел 28-ю годами позже), открывает новое измерение «маленького человека». Если раньше он выводился в литературе запутавшимся в мелких страхах и желаниях филистером (как, например, в Гоголевской «Шинели»), то теперь «маленький человек» оказывается не только в центре авторского внимания, он является центром всего событийного ряда, сосредотачивая на себе бесчисленные радары всемогущего государства.

Промежуточным звеном между литературой «маленького человека» и антиутопией можно считать романы Франца Кафки «Процесс» (1915) и «Замок» (1922). Ничем не примечательный индивид оказывается здесь единственным нормальным человеком в полностью абсурдном мире. Общественное пространство превращается для него в запутанный лабиринт, имеющий массу входов и ни одного выхода.

Антиутопия идет дальше абсурдизма, убеждая «маленького человека», что это он ненормальный, а не все остальные. С точки зрения всеобщего консенсуса это абсолютно оправданно: если бы у всех вокруг вас вырос третий глаз, то вашу «двуглазость» считали бы дефектом.

Однако вернемся к «1984». Джордж Оруэлл завершил свое произведение спустя три года после окончания Второй мировой войны, столкновения двух тоталитарных режимов и примкнувшего к одному из них «свободного мира». В условиях тотальной войны «свободный мир» спешно мимикрировал под тоталитарный.

Анархист Оруэлл воспринял это как утрату последних островков свободы. Вселенная на глазах превращалась в нескончаемую бойню тоталитарных систем, низводящих личность Уинстона Смита до винтика в бездушном механизме распространения лжи.

В 1967 году ситуационист Ги Дебор транспонировал художественный мир Оруэлла в философско-социологическое пространство. Дебор ввел понятие концентрированного спектакля, отчужденность человеческой жизни в тоталитар-

ном окружении. Однако французский мыслитель не питал никаких иллюзий и в отношении «свободного мира», который имел ту же спектакулярную природу, но несколько иного, более совершенного, типа. Дебор назвал ее распыленным спектаклем.

Оруэлл стянул будущее смирительной рубашкой, причем сделал это самым буквальным образом. В качестве беллетристики его роман великолепен, но ведь «1984» воспринимают главным образом как предвидение, причем предвидение свершившееся.

Поклонники английского писателя подслеповато не замечают, что реальный мир, вопреки Оруэлловским пророчествам, отказался от ремней, подарив «маленькому человеку» полное раскрепощение, иллюзию свободы. Под конец жизни, в 1988 году, Ги Дебор описал и этот акт манифестации спектакля. Так называемый интегральный спектакль, наследующий самым одиозным, но хитро завуалированным качествам предшественников.

Уинстон Смит давно никого не интересует, он может любить свою Джулию хоть на скамейке в парке, это не привлечет ни зевак, ни полицейских. Механизм отчуждения реализовался совсем иным образом — через потребление, а не его сворачивание, как в романе.

Диктат всеобщего благоденствия оказался нисколько не легче тоталитарной полночи во лжи и нищете. Да, он поместил «маленького человека» под морфинистскую капельницу, атомарному индивиду сложно выбраться из эйфории беззаботного утра, поэтому он пассивен, хотя и принимает с легкой руки поп-культуры свою бессмысленную суету (нескончаемое образование, карьеру, путешествия, устройство в жизни) за активность.

Аляповатый Большой брат Оруэлла распался на миллиард осколков рекламных экранов, сверхреалистичного видео, ослепительно ярких витрин и полок круглосуточных супермаркетов… Вот мир, где оказался читатель «1984», а не в том параноидальном колодце, где каждая щепка следит, чтобы Уинстон Смит не получал ни от кого записок и не вел дневник, спрятавшись от вездесущего государственного ока в углу своей каморки.

Сравнивая конечные этапы смыслового пути от «Шинели» Гоголя (1841) до антиутопии Оруэлла (1948), мы видим, что «маленький человек» нисколько не изменился. За столетие фланирования в направлении свободы он так и остался бледным Акакием Акакиевичем, разве что слегка раскрепо-

стился. Главные перемены произошли вне «маленького человека».

…Акакий Акакиевич надевает долгожданное пальто и обнаруживает, что все оно — целиком! — создано лишь затем, чтобы следить за ним, контролировать, репрессировать и запрещать произносить банальности.

«Свобода это возможность сказать, что дважды два — четыре» — рассудительно выводит в своем тайном дневнике Уинстон Смит. Свобода для «маленьких людей» именно такова — свобода заполонить мир своей откровенной посредственностью.

Понятно, почему герой «1984» видел спасение в пролах — ниже «маленького человека», винтика в огромном механизме, который он не понимает и оттого жутко боится, только бессловесные твари — пролы и животные.

Свободный человек, надевая пальто, остается самим собой. В отличие от героя Джорджа Оруэлла, вынужденного постоянно убегать от его пуговиц, пол и двойных швов. Точнее, не постоянно — когда-то они все же настигают Уинстона Смита и разделываются с ним, как с персонажем Кафкианского «Превращения».

2. Заводной апельсин и свобода выбора

«Заводной апельсин» (“Clockwork Orange”, режиссер Стэнли Кубрик, 1971)

Прежде чем рассмотреть следующий фильм, поясним некоторые моменты, касающиеся предыдущего. Мы не стали разбирать кинематографические особенности «1984», ограничившись их высокой оценкой, так как экранизация Рэдфорда достаточно аккуратно воспроизводит роман.

Но и сюжет романа остался в стороне. Мы посчитали, что центральное произведение Джорджа Оруэлла слишком известно, чтобы останавливаться на сюжете. «1984» — как Библия — даже ни разу не раскрыв этой книги, вы уже обо всем осведомлены: культура позаботилась об этом до вас. Одного только пребывания в общественном контексте достаточно, чтобы быть знакомым с Библией и романом «1984».

Теперь же от мрачных и пессимистичных предсказаний Оруэлла/Рэдфорда перейдем к злой и остроумной, полной сарказма и насилия, коллаборации Берджесса/Кубрика. «Заводной апельсин» был написан английским беллетристом Энтони Берджессом в 1962 году, и спустя девять лет экранизи-

рован перебравшимся в Великобританию американцем Стэнли Кубриком.

В отличие от педантичной кинотранспозиции «1984», киноверсия «Заводного апельсина» заметно отличается от литературной. Поэтому мы сосредоточимся на интерпретации Стэнли Кубрика, а к роману больше возвращаться не будем. Заметим лишь, что Берджесс приступил к работе над «Заводным апельсином», узнав, что у него опухоль мозга и жить осталось не больше года. Вдобавок писатель пытался избавиться от воспоминаний о первой жене, во время Второй мировой войны изнасилованной четырьмя американскими дезертирами. Женщина была беременна и ребенка потеряла. Позже она по-тихому спилась и умерла.

Антиутопия Берджесса/Кубрика изображает мир раскрепощенного насилия. Причем насилие смещено к полюсу юности: банды старшеклассников терроризируют взрослых и друг друга. За редким исключением молодость в «Заводном апельсине» изъясняется на языке физического подавления.

Главный герой, школьник Алекс, глава одного из хулиганских квартетов, помимо драк и грубого секса увлекается еще и классической музыкой. Особенно он любит симфонию №9 Людвига ван (Бетховена). В перерывах между сеансами «ультранасилия» Алекс с упоением погружается в симфоническую сокровищницу предшествующих поколений. В его коллекции сотни пластинок, Алекс — большой ценитель.

Но жизнь скоротечна. Из-за внутренних разладов *bratsy* подставляют своего главаря, и он на четырнадцать лет отправляется в тюрьму. Лишенный свободы, в окружении убийц, насильников и извращенцев (что любопытно, из заключенных Алекс явственно выделяет себя), герой сближается с тюремным священником и всячески убеждает администрацию в том, что он жаждет перевоспитаться.

Как нельзя кстати проникает слух о новом способе исправления преступников — быстрой процедуре под контролем докторов вместо бессмысленных лет в пенитенциарном учреждении. С присущими наглостью и напором Алекс навязывается в качестве подопытного для опробования метода. Отбыв в тюрьме всего два года из положенных четырнадцати, он выходит на свободу.

В чем заключается коррекция преступника? Алекса сажают перед большим экраном, на котором демонстрируют фильмы о насилии. Специальная система зажимов не позволяет ему ни закрыть глаза, ни повернуть голову. Он вынужден наблюдать бесконечные избиения и принудительные

соития в сопровождении любимой Девятой симфонии Бетховена.

Алекс наблюдал бы за всем этим с огромным удовольствием, жалея только о том, что не может присоединиться к действию на экране. Но предварительно введенный препарат постепенно вызывает у него отвращение, слабость и тошноту, которые после многократных повторений рефлекторно связываются со сценами насилия.

Так героя «Заводного апельсина» возвращают в лоно общества, исправленного и перекроенного для большего удобства. В свободном мире Алекс сразу же натыкается на неприятие — он слишком многое позволял себе до заключения, чтобы возвращение прошло безболезненно.

Родители сдали комнату сына хамоватому юнцу, который под видом заботы о стариках вынуждает Алекса уйти из дома. На набережной изгнанник встречается с бродягой, который узнает в нем своего давнего обидчика. Бывший хулиган сам подвергается экзекуции толпы старых бродяг, которым, однако, не оказывает никакого сопротивления, переживая приступ слабости и тошноты. Обратная сторона лечения — неприятие насилия ни в качестве агрессора, ни в качестве жертвы.

В довершение всего Алекс попадает в руки полицейских, своих бывших соратников по «ультранасилию», радикально сменивших амплуа. Они до сих пор злы на него. Героя вывозят за город и жестоко избивают, пытаясь утопить в ванне с грязной водой.

Предоставленный самому себе, едва живой, с трудом понимающий, где он находится, без дома, денег и документов, Алекс бредет по ночному пригороду и натыкается на дом писателя, в котором когда-то повеселился с друзьями. Итог того вечера: супруга писателя скончалась, а он сам стал инвалидом, передвигающимся в кресле-каталке.

Но именно здесь бывший хулиган находит пристанище. Писатель связан с политической оппозицией и намерен использовать Алекса в качестве жертвы бесчеловечного эксперимента по борьбе с насилием: из-за преступных новшеств правящей партии хулиган сам становится жертвой насилия, утратив средства самозащиты.

Узнав, что в процесс насаждения условного рефлекса случайно затесалась музыка Бетховена, писатель запирает юношу в комнате и включают симфонию №9. Алекс сходит с ума из-за жуткого дискомфорта, пытается выбить дверь, умоляет выключить музыку, но все бесполезно.

Взгляд падает на окно, и юноша принимает решение покончить с собой, чего и добиваются оппоненты правящей партии: мертвая жертва режима лучше живой. Алекс залезает на подоконник, открывает окно и, продолжая зажимать уши руками, бросается вниз.

Он не погибает, но оказывается в больнице с многочисленными переломами. Правящая партия выцарапывает его у оппозиции, теперь козырь переходит к ним. А Алекс? Этот бунтарь с предпочтениями, но без идеала?..

Его жизнь нормализуется. Он снова может слушать классическую музыку и рассуждать о насилии. Павловский рефлекс выбили из-под него, словно табуретку из-под ног висельника. Министр внутренних дел обещает бывшему хулигану интересную и хорошо оплачиваемую работу. Их рукопожатие на больничной койке снимают десятки фоторепортеров.

Кажется, Алексу больше не о чем беспокоиться, кроме как болтаться в петле устроенной жизни. Финальный кадр демонстрирует действие в замедленной съемке — обнаженная девушка извивается на обнаженном мужчине, пытаясь избежать домогательств. За происходящим наблюдает театрально разодетая публика.

Это фантазия выздоравливающего Алекса. Его закадровый голос перед финальными титрами:

— Меня и в правду вылечили.

Центральная проблема фильма и его литературной основы — проблема выбора, которого пытаются лишить нового человека. Опасения по поводу упразднения свободы выбора Берджесс/Кубрик саркастически вкладывают в уста тюремного священника. Однако, как бы комично тот ни выглядел, это едва ли не ключевая мысль всего произведения, стержень сконструированной антиутопии.

Зритель наблюдает мир предельной распущенности, к которой приводит свобода, изнанку раскрепощенного выбора. Затем ему демонстрируют то, к чему приводит отсутствие свободы выбора, базового элемента христианской религии и западной цивилизации.

Популярный на заре кинематографа американский комик Граучо Маркс однажды заявил, что не желает состоять ни в каком клубе, согласном принимать в свои члены людей вроде него. Этот логически безукоризненный протест, не оставляющей лазейки для обретения идентичности, можно применить и к «Заводному апельсину».

Фокусируясь на противоположных полюсах свободы выбора, антиутопия Берджесса/Кубрика демонстрирует одинаковое отторжение. Ни развращенного бесконтрольностью Алекса, ни его исправленную копию нельзя назвать удовлетворительными, они в равной степени неприемлемы.

Здесь снова полезно вспомнить Ги Дебора и его разделение на концентрированный и распыленный спектакль. Эти версии спектакля внешне антогонистичны, но внутренне крайне близки. В конце концов они сливаются в единое целое.

«Заводной апельсин» рисует мир столкновения чудовищных противоположностей. Это мир до их синтеза, до рождения третьей альтернативы, интегрального спектакля. Если бы показанное в картине оставило в воображении зрителя хоть немного свободного пространства, он обязательно достроил бы того монстра, в которого бы превратился Алекс, преодолев противоречия выбора и его отсутствия.

Быть может, финальная сцена с перформансизированным изнасилованием приглашает зрителя пофантазировать именно на эту тему.

3. Бегство от идентичности

«Лобстер» (“The Lobster”, режиссер Йоргос Лантимос, 2015)

Фильм грека Йоргоса Лантимоса «Лобстер» начинается с абсурдной сцены, снятой в гиперреалистической манере без единой монтажной склейки. Женщина ведет автомобиль, останавливается, вылезает наружу и направляется к пасущимся ослам. В руках у героини пистолет, из которого она тремя выстрелами убивает одно из животных и возвращается к машине. После титра с названием картины зрителю медленно, с частыми отступлениями и забеганиями вперед объясняют, казалось бы, лишенную всякого смысла вводную сцену.

Тема свободы, ключевая в двух предыдущих картинах, поднимается и в фильме Лантимоса. Покоритель артхаусного проката последних лет, «Лобстер» рассказывает историю, случившуюся после триумфа семьи (или того, что от нее осталось в гипотетическом будущем).

Гражданам нового общества не позволено оставаться в одиночестве. Как только союз с «партнером» распадается, бессемейного гражданина помещают в специальный отель, где он в течение сорока пяти дней должен подыскать себе

новую пару. В противном случае его обращают в животное и отпускают на волю.

Свое будущее воплощение узник нового абсолюта вправе выбрать по собственному усмотрению. Таковы новая свобода и новая гуманность (считается, что жизнь животных не так тосклива, как жизнь одинокого человека).

Кто-то решает стать собакой, кто-то — ослом, разведенный архитектор Дэвид предпочел лобстера. Однако перевоплотиться в новом качестве ему не так и не довелось — из-за конфликта с бесчувственной и властной избранницей, Дэвид убивает ее и сбегает в лес, где присоединяется к подполью, оппозиции доминирующему порядку.

Жизнь в *дисциплинарном санатории*, исправляющем одиноких людей, полна условностей и ограничений. Она мало кому нравится, но бунтовать осмеливаются лишь самые отчаянные, уходящие от цивилизации в лес. На них регулярно охотятся узники санатория: за каждого убитого *одиночку* охотнику положен лишний день на поиски пары.

Однако порядки в военизированном подполье закрепощают личность ничуть не меньше, чем в санатории или обычном городе. Так, под страхом жестокого наказания, Дэвиду приходится скрывать свои чувства к близорукой девушке. Любовные связи среди *одиночек* запрещены, на то они и *одиночки*. Оступившихся карают: за поцелуй лишают губ, за секс — половых органов.

Условность институционализированной антиутопии накладывается на условность антиутопии периферийной, маргинальной. Причем это наложение встык. В свойственном прошлым лентам стиле (гиперреалистичная манера съемки, антипсихологизм, гротеск) режиссер демонстрирует, что антагонисты не так уж разительно отличаются. Они и не могут существенно отдалиться, вынужденные существовать бок о бок, наследуя недостатки друг друга.

Магистральная идея картины Йоргоса Лантимоса кроется в недостижимости коллективной свободы. Заподозрив связь между Дэвидом и его возлюбленной, предводительница лесной группы отправляет девушку на операцию к подкупленному офтальмологу, который навсегда лишает ее зрения.

Некоторое время опальные любовники (оппозиция внутри оппозиции) пытаются приспособиться к новым условиям. Дэвид изображает, что не замечает слепоты подруги, но бесконечно так продолжаться не может.

Любовники убивают предводительницу группы и сбегают в город. Там, укрытые анонимностью мегаполиса, они

решаются на ослепление Дэвида. Этот неожиданный и парадоксальный акт единения и есть их приближение к свободе. Он происходит в уборной кафе при помощи столового ножа, который приносит официант.

Дэвид затыкает рот салфеткой для вытирания рук и приноравливается нанести себе необратимое увечье, пока слепая возлюбленная дожидается его за столиком перед стаканом воды.

Он и она надеются намертво соединиться в единое целое, упрятанное от враждебного окружения мраком слепоты. Только они вдвоем, свободные от вездесущего коллектива и идентичности, анонимные в мире, где анонимность больше недопустима: она незаконна и безнравственна.

Это волевое решение поистине обособленных людей, безразличных к условностям официальных норм и морали. Невесомый росток частной свободы, показавшийся из трещины коллективного принуждения.

Вы хотели выбраться из кокона несвободы? «Лобстер» показывает, как выглядит свобода на обочине антиутопии, подразумевая, конечно же, тот невыносимый эрзац всеобщего благоденствия, в котором живете сейчас вы.

Эпилог под грузом лишнего веса

Джордж Оруэлл закончил роман «1984» спустя три года после завершения Второй мировой войны в изможденной, полуразрушенной, голодающей Англии. Энтони Берджесс приступил к работе над «Заводным апельсином» после известия о скорой смерти из-за опухоли мозга, вдобавок переживая групповое изнасилование жены. Неизвестно, в каких условиях работал над «Лобстером» Йоргос Лантимос, но нарратив всех его фильмов говорит о весьма сложных взаимоотношениях режиссера с действительностью.

Как видно, создатели наиболее ярких и глубоких антиутопий приходили к ним в состоянии глубокого кризиса. Не творческого, разумеется, но экзистенциального — мировоззренческого коллапса, разводящего реальность и ожидания.

Жанр антиутопии явился реакцией на преломление устоявшегося порядка, когда упадок цивилизации стал слишком очевиден в контексте культуры. *Буквально вчера наши дамы щеголяли в изысканных нарядах, высокомерно задрав ухоженные носики, а сегодня готовы отдаться любому янки за пачку сигарет и банку тушенки…*

Но ведь и цивилизационные коллапсы не случаются просто так. Одной из ключевых причин видится излишнее обогащение, когда жажда накопительства вытесняется страстью к соперничеству. И ком противоречий разрешается самым диким и расточительным образом. Не считаясь ни с какими потерями… не глядя… ва-банк…

Заметим, отбросив сантименты, что взрыв враждебного мотовства — далеко не худший выход из ситуации. А уж в отсутствии других методов его запросто можно считать исцеляющим. Так болезненно толстого человека сажают на жесткую диету, принуждают к физической активности вроде зарядки и прочих унизительных упражнений.

Я сам побывал в подобной ситуации. Спустя пару лет после окончания института я вдруг обнаружил, что безобразно поправился. Разглядывал свое отражение в зеркале и не мог узнать. Вроде бы я, но как бы и не я. Одновременно. Вдобавок я с трудом влезал в привычную одежду, и даже завязывание шнурков превратилось в акробатический трюк.

Такое положение меня категорически не устраивало, и я решил спешно его исправить. Я не стал знакомиться с теорией, узнавать, какие бывают диеты. Просто сократил ежедневный рацион (упразднил завтрак и «перекусы», уменьшил порции обеда и ужина) и вернулся к заброшенным тренировкам. Довольно скоро мне удалось сбросить двадцать килограммов, и я снова стал похож на самого себя.

В опыте похудения присутствует важный нюанс, который редко проговаривается. Сокращение рациона вкупе с физическими нагрузками приводит к тому, что вы постоянно испытываете голод. Вначале это переносится крайне болезненно. Но со временем, если проявить выдержку, чувство голода обретет терпимую форму и перестанет докучать.

Более того, если вы обладаете хотя бы щепоткой фантазии, то сможете перестроиться так, чтобы получать от легкого голода удовольствие. Это и есть ключ к успешному завершению.

Более того, это еще и ключ к дальнейшей жизни. Легкий голод абсолютно естественен и не нуждается в немедленном утолении. Забудьте о нем или, что еще лучше, научитесь получать от голода удовольствие. Ведь, пока он с вами, вы точно не наберете лишний вес.

Подобно заурядному недостатку питания тем же конструктом можно охватить дефицит условного счастья. Для полноценной и полнофункциональной жизни человеку необ-

ходимо испытывать легкий недостаток счастья (или, немного иначе, легкий голод несчастья).

Полностью удовлетворенный индивид становится пассивным, быстро обрастает лишним весом и заболевает. Его приходится лечить или он умирает.

Проблемы удается избежать, когда до пресыщения всегда чего-то недостает. Но не восполнение конкретного недостатка заставляет человека реализовывать свой функционал в полной мере, а само ощущение недостижимости окончательной диссолюции.

Все сказанное следует перенести с индивидов на их общности — племена, нации, цивилизации. Антиутопия начинается не с попадания в новый зловещий мир, здесь она как раз переходит в конечную стадию вырождения. Подлинное рождение антиутопии приходится на тот момент, когда обществом овладевает желание удовлетворить все свои потребности.

Комфорт, стабильность, безопасность, блаженство, конец истории — все это знамения приближающегося финала. А сразу после — воцаряется антиУтопия. Приставка ‘анти’ означает здесь не отрицание, но мнимое приближение. Путешествие по дороге, уводящей совсем в другую сторону.

polaroid

Егорий Простоспичкин
Total war

Копирайт есть поганое зло. Ежели довести здание, сооружаемое на базисе копирайта, до логического завершения, то есть до трубы на крыше, то и получится идеальная демократия, в условиях которой каждый простой, хороший, добрый гражданин станет генерировать «духовные ценности». Неизбежно это приводит к возникновению так называемой терпимости, то есть активного нежелания что-либо судить (или осуждать). Возникают пирамидальные схемы, круговая порука, черт знает что. Появляется порочная идейка о том, что человек — таков, каков он, по собственному убеждению, есть; чувства и эмоции первого встречного дегенерата начинают казаться достойными не только внимания, но даже и приятия; ценность человека определяется по шкале добродушия. Главное, значит, он должен быть улыбчивым, добреньким и спокойным, а все остальное — прилагается к нему в качестве периферийного оборудования, ибо родился-то он, понимаете, Человеком.

«Интеллектуальную собственность» придумали ничтожества, существа, способные восторгаться своими ничтожными свершеньицами и с высунутыми языками, истекая слюной, приплясывать на братской могиле, полагая, что это никакая не могила, но именно танцплощадка, причем, сооруженная исключительно ИМИ-ЖЕ, самостоятельно... И на протяжение тысячелетий человек сажает древо и порождает сына, который впоследствии срубает древо и сажает свое, которое, как он думает, и есть настоящее древо, в противность всем прежним, и уж это древо, вне всякого сомнения, посажено на века. Но вырождаются новые дети и вострят топоры; у них «культура» — это, конечно, настоящая Культура, в противность всем прежним... Только те, которые постоянно вырождаются, растут и вострят топоры, те «смелые, отважные, свободолюбивые», телесные, всегда голодные, жаждущие удовольствий и бессмертия, сажающие деревья,

смеющиеся, поющие и танцующие, только они умеют по-настоящему мыслить, чувствовать и жить, и на их стороне Истина. Истина всегда с ними, поскольку она в афористической форме написана на оборотной стороне бирок, которые «смелые и отважные» получают в родильном доме и в оставшиеся годы трепетно лелеют, рассматривают с осоловевшей улыбкой долгими зимними вечерами.

Любопытно, что, чем больше прав, тем больше каждый норовит снять с себя всю ответственность за то, что интеллектуально натворил. Почему это так? Потому что — того требует «гуманизм». По этой же причине любое краткое, ясное и душераздирающе истинное Слово удлиняется, опошляется, сводится к шутке и превращается в площадку для массового танца...

С апологетами копирайта надо обращаться просто (они же все-таки простые люди), а именно: под страхом телесного наказания раз и навсегда запретить пользоваться чьей-либо собственностью, кроме своей. Родился? Воспитывайся сам, как можешь! Хочешь получать знания — получай, но чужую собственность не трожь! И не только интеллектуальную, а всякую! Иными словами, не замечай бревна в глазу ближнего и будь сам собой, уважаемый гражданин, будь всегда весел и получай свое удовольствие.

Я объявил войну всему, которое способно заключиться в кавычки. Нет, вру, и без кавычек тоже.

Будем жить воистину.

extremum

Кнут Гамсун
О духовной жизни современной Америки[32]

Первое, что в Америке обрушивается на уставшего от долгого пути чужестранца, повергая его в растерянность, — это, конечно, великий шум, суета, торопливость всех и вся на улицах, рискованная, лихорадочная гонка решительно во всем и повсюду. А если вдобавок чужестранец высадится в Нью-Йорке летом, то еще и удивится несколько при виде того, как мужчины без сюртука и жилета, с помочами поверх рубашки прогуливаются по улицам под ручку с дамами, одетыми в шелковые платья.

Непривычность и раскованность, какая-то стремительность ощущается в этих нравах. И это ощущение стремительности не убывает по мере того, как чужестранец едет дальше на Запад. Повсюду все та же вдохновенная спешка, тот же грохот парового молота, то же шумное движение во всем происходящем вокруг. Америка — страна пионеров в своем становлении. Новый мир, где люди только готовятся жить. Такая беготня, такая суета обычно сопутствует переселенцам, и всякий здешний день — переселенческий день. Этот шум, этот гам вполне естественны для людей, лишь наполовину обосновавшихся в своей стране и по-прежнему суетящихся в поисках постоянного приюта для себя и своей семьи, но именно этот шум, этот гам воспет нашими газетами, ораторами и поэтами как некий плод республиканской свободы. Да и сами американцы тоже совершенно убеждены в том, что вся эта суета, весь этот расход энергии и бесконечное снование взад-вперед есть свойство, привнесенное в американский национальный характер самой свободой. Только не вздумайте спорить! Такова воспитующая сила свободы! Всего за какие-нибудь два столетия Америка сделала людей из худшего европейского отребья — сбежавшихся со

[32] Глава из одноименной книги (Владимир Даль, 2007). Перевод с норвежского А. Сельницина.

всех концов света бездельников превратила в полноценных работников; сколько удивительных историй выслушали мы про таких, которые дома у себя еле переставляли ноги в своих деревянных башмаках, а там только что не летали по воздуху, так легки стали они на подъем, и все это будто бы заслуга свободных республиканских порядков! Не смейте усомниться — такова воспитующая сила свободы! Но такое объяснение быстрого перевоплощения эмигрантов все же покажется опытному человеку чересчур идеальным, истинная причина много проще, имя ей — материальная необходимость. Та же самая семья, которая у нас могла прожить всего на две кроны в день, здесь, в Америке, тратит ежедневно полтора доллара, и большинство переселенцев вынуждены предпринимать множество самых разнообразных усилий, чтобы добыть эти полтора доллара — ради этого приходится изрядно побегать. Вдобавок в Америке они оказываются в чужой стране, которая, сколько бы они там ни жили, остается для них чужой страной. Весь американский жизненный уклад настолько отличен от того, к чему эмигрант привык у себя на родине, что никогда до конца не войдет в его плоть и кровь — эмигрант всегда будет чувствовать себя чужестранцем. Это-то и нервирует переселенцев и заставляет их торопиться. Они снуют взад и вперед в состоянии непреходящего испуга, подавленные непривычными здешними условиями, в изумлении от всего нового, в смятении от всего чужого. Они входят в раж всякий раз, как им потребуется купить новую пару ботинок, и горюют, что недостаточно владеют английским, чтобы торговаться. У них начинается сердцебиение при одном только виде желтой бумажки, присланной городским казначеем, и они тут же во весь опор бегут платить налоги. Они лишились покоя, но зато сделались деятельными людьми, стали вдруг необычайно легки на подъем. Пребывание в Америке и впрямь действенное стимулирующее средство, руки и головы приезжих начинают лихорадочно работать, но деятельными и легкими на подъем люди становятся с той самой первой минуты, как только ступят на американскую землю и столкнутся с необходимостью заработать себе на первый обед — задолго до того, как успеют соприкоснуться с политической свободой республики.

Второе, что поражает чужестранца, как только он начнет различать какие-то детали в обступившей его шумной жизни, — это редкостный патриотизм американцев. То и дело встречает он на улицах процессии ветеранов войны,

причудливо разряженных, с пестрыми ленточками и флажками на шляпах и латунными медалями на груди, ветеранов, печатающих шаг под звуки сотен медных труб, на которых сами же и играют. Эти процессии имеют одну-единственную цель: привлечь внимание толпы эффектным шествием по улицам под звуки сотен труб. Никакой другой цели марширующие не преследуют. Все эти часто повторяемые шествия — всего лишь символическое изъявление пылкого американского патриотизма. Когда по улицам идет эта процессия, из-за нее останавливается всякое движение, даже трамваи и те вынуждены остановиться, служащие учреждений бросают работу и толпятся на лестницах, торопясь лицезреть это чудо, повторяющееся каждую неделю. Лицезреть это комическое движение без тени улыбки американцы считают своим гражданским долгом. Потому что люди, играющие на медных трубах, — патриоты. В ходе последней войны эти солдаты покарали аристократов южных штатов за непослушание, и, вдохновленные их примером, соотечественники и сейчас готовы сражаться с любым народом, который воспротивится их устремлениям. Поистине удивительна наивная убежденность американцев в том, что они могут справиться с любым возможным противником. Их патриотизм не знает границ, при том он никогда не изменяет им и столь же громогласен, как и могуч. Американская пресса долгое время в приказном тоне разговаривала с Англией насчет рыболовецкого договора с Канадой, а в частных беседах мне не раз доводилось слышать от американцев: «Пусть Англия только сунется!» Когда некоторое время назад в Нью-Йорке умер депутат германского рейхстага Ласкер, глава немецких национал-либералов, то американский конгресс послал письмо с изъявлением сочувствия… Бисмарку! Но Бисмарку ничто человеческое не было чуждо, и он не особенно оплакивал смерть своего злейшего врага, а потому и не оценил этот великолепный образчик американского такта и, запечатав американское послание в конверт, отослал его обратно. Но тут в Америке разразилась патриотическая буря: как только посмел этот Бисмарк поступить с посланием высочайшего органа Соединенных Штатов будто с каким-то клочком бумаги! Пусть Германия только сунется — пусть только попробует! Американские газеты того времени дышали негодованием, направленным против Бисмарка. В те дни мне довелось немного попутешествовать, и повсюду, куда бы я ни приехал, народ негодовал против Бисмарка, словом — стоял скрежет зубовный. Кое-какие из крупных газет на Востоке

страны в конце концов признали, что конгресс, может, несколько оплошал, послав германскому правительству официальное соболезнование, но на другой день те же газеты вновь вернулись к своему первоначальному мнению: оказывается, их одолели возмущенные читатели, за одни сутки эти газеты потеряли множество подписчиков.

Американский патриотизм не упускает случая громогласно заявить о себе и не страшится последствий своей резкости. Настолько необуздан он, что у людей, не обладающих достаточным уровнем развития, он переходит в грубое чванство. На свете, мол, есть одна-единственная стоящая страна — Америка, все прочее — от лукавого. Истинная свобода, истинное развитие, истинный прогресс, истинно умные люди — все это встречается только в Америке. Подобное нелепое самодовольство иной раз способно оскорбить иностранца. День-деньской он по всякому поводу вынужден страдать от этой непомерной американской заносчивости. Его постоянно затирают, над ним посмеиваются или даже потешаются, он беспрерывно становится то объектом жалости, то мишенью насмешек. Из-за всех этих повседневных унижений чужестранец в конце концов начинает стремиться по мере сил «американизироваться», стать настоящим американцем, за что в день выборов его наперебой хвалят кандидаты на разного рода политические посты. Формальный «американизм» он освоит быстро — долго ли выучиться говорить по-английски, носить шляпу набекрень, уступать дамам внутреннюю часть тротуара, словом, он освоит все внешние атрибуты, присущие янки в его отечестве. То-то национальная гордость американцев будет удовлетворена: в Америке отныне стало одним американцем больше.

Но сплошь и рядом эта национальная гордость принимает крайне наивные формы. Как бы ни оскорбляла она чужеземца, сколько раз ему вдобавок придется удивиться невежеству, элементарной неосведомленности, на которой зиждется эта гордыня. Его удивит, что народ, с удовольствием предающийся самолюбованию, так мало знает о других народах. Сколь часто американцы гордятся вещами, в Европе давным-давно пущенными в обиход, только американцы этого не знают, сколько раз я сам слышал, как норвежские брошки и немецкие ручки провозглашались изобретением американцев. Я привез с собой в Америку нож с выскакивающим лезвием — и эта моя вещица повсюду вызывала необыкновенное восхищение; на одной ферме в Дакоте мой ножик имел несравненно больший успех, чем я сам. «Да, чего

только не выдумают чертовы янки!» Мне понадобилась целая неделя, чтобы убедить тех добрых людей, что такой нож придумали шведы!

Это неведение, отсутствие каких-либо знаний о других народах и странах присуще отнюдь не только низшим слоям общества — вы встретите его во всех сословиях, у людей всех возрастов, повсеместно. Незнание жизни чужих народов и чужих заслуг — один из национальных пороков американцев. Обычная средняя школа не дает им широкого спектра знаний о мире. В этой школе предписано преподавать географию как географию Америки, а историю — как историю Америки; весь прочий мир умещается в «Приложении», занимающем в учебниках всего несколько страниц. Американские школы поторопились объявить образцовыми школами. Ораторы, восхвалявшие Америку, равно как и газеты, вторившие этим дифирамбам, единодушно твердили, что нигде в мире больше нет таких замечательных общедоступных школ, во всяком случае, в наших странах таких не сыщешь, да и вообще — никакие другие школы в мире не сравнятся с американскими. В частности, подчеркивается такое уникальное достоинство этих школ, как их отделенность от церкви. Но, во-первых, и это достоинство в наши дни отнюдь не уникально, а во-вторых, религия вовсе не изгнана из этих школ. Нам сказали неправду. Это просто легенда. Закон Божий как предмет и впрямь не включен в расписание уроков, но ортодоксальная христианская вера с железной последовательностью протаскивается в обучение по всякому поводу, ее вбивают в голову детям, сколько длится их школьная жизнь, — догму за догмой, догму за догмой. Я сам был тому свидетелем: даже на уроке арифметики, когда одного из учеников поймали на том, что он кидается бумажными шариками, ему велели попросить прощения у Иисуса Христа. Вдобавок во всех американских средних школах обучение начинается с молитвы, пения псалмов и чтения вслух отрывков из Библии. Поэтому трубить о том, что американская школа-де отделена от церкви, следовало бы чуть потише.

Однако крупнейшее упущение системы преподавания в этих школах состоит в том, что они не преподносят детям никаких сведений о других народах и условиях их жизни. Американские дети вырастают, зная о мире лишь то, что сообщают им об Америке. И потому впоследствии, уже будучи взрослыми людьми, они изумленно разевают рты, услыхав, что некий швед изобрел нож с выскакивающим лезви-

ем; по этой же причине американский патриотизм сплошь и рядом становится столь громогласен. Стало быть, невежество обрело опасную плотность не только в низших слоях общества, но и в кругах повыше, даже в весьма высоких; мало того, я сталкивался с ним даже в кругу самих учителей. В одной из средних школ в Эльройе, штат Висконсин, я встретил в 1883 году учителя, который чрезвычайно изумился, когда я рассказал ему, что у нас в Норвегии тоже имеется телеграф, — подумать только, в 1883 году! А марки на письмах, которые присылали мне с родины, он обычно разглядывал с таким удивлением, что казалось, не верит собственным глазам. «Неужто и у вас в Норвегии тоже почта есть!» — воскликнул он. «Так ведь на дворе как-никак 1883 год!» — отвечал я. Этот учитель, подобно своим ученикам, почерпнул сведения о Норвегии из школьного учебника, из четырехстраничного путевого очерка американского президента Тейлора, в пятидесятые годы изучавшего Норвегию из окна кареты.

Так слабо осведомлены здесь о других странах и народах, что повсюду в Америке, где только ни доводилось мне бывать, большинство янки попросту именуют шведами всех скандинавов. А поживешь какое-то время среди них, скоро поймешь еще и другое — что слово «швед» употребляется ими с уничижительным оттенком, вроде не мешало бы тебе еще и прощения попросить у них за то, что ты швед. Как правило, совершенно бесполезно пытаться возразить им, что ты вовсе не швед, а норвежец или датчанин; обычно все это оказывается впустую; уж коли ты скандинав, стало быть, ты швед. Однако если скандинава именуют шведом всего лишь с некоторым высокомерием, то уж выходца из Франции именуют французом с полным и совершенным презрением. В Америке слово «француз» для мужчины все равно что презрительная кличка, ругательство, примерно такое же, как бытующее у нас на родине слово «турок», и если человека без всякой вины с его стороны назвали «французом», он должен воспринять это как оскорбление, какое нельзя сносить. Американцы в этом смысле ведут себя в точности так же, как портовые грузчики у нас в Христиании, которые обзывают друг друга «депутатами стортинга», а не то «гениями». Подобная глупость смешна — казалось бы, можно попросту посмеяться над ней и стать выше этого, но кормильцу, отцу семейства, не до смеха, когда его лишают работы за то, что он швед, или за то, что он француз. Уж эта сторона дела совсем не смешна. Я сам испытал в Америке все это: ведь и

меня, как норвежца, причислили к шведам, и, как шведа, меня оттесняли в сторону, надо мной смеялись и потешались, меня унижали и осыпали насмешками.

В этих условиях вполне естественно, что эмигранты стараются как можно быстрее «американизироваться»: в борьбе за хлеб насущный в этой стране от этого зависит благополучие всей семьи. И поскольку всякий эмигрант все время слышит, как ему твердят про превосходство американцев, он уже считает делом чести для себя походить на них. Он начинает одеваться по-новому, всем своим видом показывая, что отринул прошлое, он и дома теперь изъясняется исключительно по-английски, даже со стариками родителями говорит только на этом языке, хоть они и не понимают его, да и во всем решительно силится стереть любые следы своего чужеземного происхождения. И потому когда к нам на родину возвращается из Америки человек, который некогда вяло переставлял здесь ноги в деревянных башмаках, а нынче удивляет земляков невероятной стремительностью и быстротой в движениях, обретенной им за океаном, то причина тому отнюдь не американский климат, не американский республиканский строй, а нечто совсем другое — резко выраженная национальная спесь американцев, заставившая его в силу материальной необходимости совершать, что называется, десять оборотов в секунду.

Еще более убедительное свидетельство непомерного американского патриотизма представляют дебаты в американском конгрессе по вопросу об ограничении иммиграции. Американцы ныне всерьез хотят закрыть свои двери для иностранцев не потому, что в ближайшие сотни лет действительно может явиться такая необходимость, а исключительно потому, что таково уж нынче их желание, своего рода патриотический каприз. Запрет на иммиграцию, в сущности, всего лишь проявление того же американского самодовольства, которое заставляет янки полагать, будто они превосходят шведов, французов, как и всех прочих чужеземцев, решительно во всем и потому в любом соревновании возьмут над ними верх. Не пускать в страну неамериканцев надо по той причине, что все неамериканцы — плохие. Утверждали, что страна Америка ныне уже полностью заселена, что народу в ней хватает. Но это пустое утверждение, попросту смехотворное. Нет, из чистого патриотизма хотят американцы закрыть свои двери для иностранной рабочей силы, хотя без нее они не в состоянии справиться с собственными делами. А все потому, что американцы-то не работают. Неправда

ведь, что они работают. Это — тоже легенда. Статистика свидетельствует, что непосредственно физическим трудом занята лишь одна пятидесятая часть американцев; землю этой страны возделывают чужеземцы. И вот этих-то чужеземцев теперь не хотят больше пускать в Америку, «потому что страна заселена и народу в ней хватает».

В Америке шестьдесят миллионов жителей приходится на два миллиона девятьсот семьдесят тысяч квадратных миль земли (не считая Аляски), из этого числа пригодной сельскохозяйственной площади — полтора миллиона квадратных миль. Однако из этих полутора миллионов квадратных миль в настоящее время возделана лишь девятая часть, и тем не менее Америка за последний финансовый год вывезла двести восемьдесят три миллиона бушелей зерна, после того как насытились пятьдесят миллионов жителей, в ту пору составлявших все население страны. А у американцев отличный аппетит. Один янки потребляет вдвое, а то и втрое больше еды, нежели любой европеец, втрое-вчетверо больше любого скандинава. Если в Скандинавских странах на каждого жителя в год приходится в среднем двенадцать бушелей зерна и пятьдесят один фунт мяса, то в Америке эти цифры составляют соответственно сорок бушелей зерна и сто двадцать фунтов мяса.

Если бы вспахали всю пригодную для обработки землю Америки, она могла бы прокормить шестьсот миллионов человек (основываясь только на расчетах, сделанных на основе урожая, собранного за последний отчетный год, то есть в 1879 году, который выдался среднеурожайным). Эдвард Аткинсон, известный американский эксперт по вопросам сельского хозяйства, в очередной своей работе указывает, что та же американская ферма, которая ныне кормит всего с десяток людей, вполне могла бы прокормить двадцать человек — нужно лишь вести хозяйство современными методами, внедрить сколько-нибудь целесообразную в агропромышленном плане систему эксплуатации земли. Потому что американское солнце такое теплое, что плоды созревают там за несколько дней, а американская почва такая жирная, что в ней утопаешь, будто в хвойной пене. Значит, если обращаться с ней разумно, она может дать необыкновенно щедрый урожай, однако американский фермер не способен воспользоваться этой возможностью. Он эксплуатирует свою землю двадцать-тридцать лет подряд, не удобряя ее, а семенами пользуется лишь такими, какие вывел сам, на одном и том же поле он десять, а то и двадцать лет подряд высеивает

пшеницу, никогда не прибегает к травопольной системе и не дает полю отдых. По подсчетам Эдварда Аткинсона, при минимальной разумной обработке всей американской полезной площади Соединенные Штаты могли бы прокормить один миллиард двести миллионов человек, то есть примерно всех ныне живущих на земном шаре.

Стало быть, людей в Америке не хватает[33].

А разговоры о том, что страна якобы уже полностью заселена, не соответствуют действительности (это пустое утверждение, попросту смехотворное). Во-первых, страна Америка «заселена» настолько, что многие акционерные общества захватили десятки тысяч акров земли, однако не возделывают ее, а просто владеют ею в ожидании максимального вздорожания земельных участков. Одна компания приобрела семьдесят пять тысяч акров, другая — сто двадцать тысяч акров и т.д. и т.п. Стало быть, на самом деле страна вовсе не заселена, просто землей завладели люди, которые ее не обрабатывают. Во-вторых, данные за последний отчетный год показывают, что, несмотря на подобную практику землевладения, в девятнадцати американских штатах обнаружен пятьсот шестьдесят один миллион шестьсот двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят один акр необработанной, но вполне пригодной для земледелия земли, находящейся в общественном владении. Одна эта огромная земельная пустошь, по подсчетам Аткинсона, способна прокормить сто миллионов жителей, пусть даже они едят втрое или вчетверо больше того, к чему привыкли скандинавы.

Стало быть, Америка не заселена в достаточной мере.

Предложения ограничить иммиграцию лишены сколько-нибудь серьезного обоснования. Это всего лишь незрелые

---

33 При этом не учитывается еще объем фабричного производства и горнодобывающей промышленности Америки. Она одна добывает половину всего необходимого миру золота и серебра, в двадцати трех штатах располагает железными рудниками и вдобавок владеет огромными запасами нефти и компактного (твердого) угля. В то время как в Англии добыча угля из глубоких шахт связана с постоянно возрастающими расходами, вследствие чего за последние десять лет были закрыты пятьсот шестьдесят четыре шахты, в Соединенных Штатах уголь залегает на поверхности, и его запасов хватит на многие века всему человечеству. А еще ведь есть у американцев — на всем протяжении от Атлантического до Тихого океана — реки и озера, изобилующие рыбой, и в каждом ручье водится и лосось, и белуха. — *Прим. автора.*

плоды американского патриотизма; американцам важно лишь отвергнуть любую помощь и любое влияние со стороны чужеземцев. Тому причиной — непомерная закоснелая самоуверенность американцев, считающих, что нет необходимости в иностранной рабочей силе и по качеству она уступает американской. Вот до чего дошел американский патриотизм, вот в какой мере его исповедуют американцы. Комиссия конгресса, из множества проблем выбравшая для обсуждения проблему ограничения иммиграции, разослала американским посланникам во всех странах запрос: не полагают ли они целесообразным и необходимым закрыть Америку для иностранцев уже сейчас — чем не гигантская патриотическая акция? И все послы, во всех странах, как один, клянясь именем Вашингтона, ответили: «Истинно говоришь ты!»

Самым простодушным из всех оказался американский посланник в Венеции. Описав итальянских эмигрантов, их нищету, их лохмотья, он затем буквально заявил следующее: «Они (итальянцы) не более способны исполнять обязанности гражданина, чем рабы, только что отпущенные на свободу. У них и в мыслях нет стать гражданами Соединенных Штатов. Они хотят одного — получить более высокую плату за свой труд, но за эту плату трудиться как можно меньше». Вот какие скверные итальянцы! Это зловещее обличение итальянских иммигрантов журнал «Америка» сопроводил следующим кратким и веским редакционным примечанием:

«Слова посланника должны запечатлеться в сознании каждого американского патриота, их следует хранить в памяти как величайшую истину, высказанную о величайшем современном зле»[34].

Накал и всеохватность американского патриотизма совершенно непостижимы для всех, кто не испытал его гнета в повседневной жизни. Такой силы достигает он, что вынуждает чужестранцев отказываться от своей национальности и лгать, приписывая себе американское происхождение, если только им представляется такая возможность. Быть уроженцем Америки — сплошь и рядом это непременное условие для получения работы, особенно когда речь идет о сколько-нибудь ответственной должности, как, например, в банке, общественном учреждении или в железнодорожном ведомстве. Единственный народ, который пользуется уважением

---

[34] Журнал «Америка», декабрь 1888 г. — *Прим. автора.*

американцев, вопреки ненависти к этой нации со времен Войны за независимость, — это англичане. Во многих отношениях Англия по-прежнему служит Америке образцом и примером; даже последний крик моды в современной Америке сплошь и рядом всего лишь отсвет старинной британской культуры. Кто захочет польстить американскому щеголю, тот пусть притворится, будто принял его за англичанина; щеголи эти шепелявят, как истинные британские лорды, а садясь в трамвай, такой тип непременно протянет кондуктору для размена золотую монету или крупную банкноту.

Бертран Рассел
Материалистическая теория истории[35]

Так называемая материалистическая теория истории, связанная с именем Маркса, лежит в основе всей коммунистической философии. Я не думаю, конечно, что человек, не разделяющий таких взглядов, не может быть коммунистом, но фактически эта концепция принята коммунистической партией и целиком определяет ее точку зрения в вопросах политики и тактики. Название неточно передает смысл теории. Теория утверждает, что все массовые явления истории обусловлены экономическими причинами. Эта точка зрения не имеет какой-либо существенной связи с материализмом в философском смысле. Материализм в философском смысле можно определить как теорию, которая психические явления сводит к физическим или по крайней мере имеющим чисто физические причины. Материализм в этом смысле также проповедовался Марксом и принят всеми ортодоксальными марксистами. Доводы в его защиту или против него длинны, запутанны и не очень для нас интересны, так как фактически все это имеет весьма мало отношения к политике.

В частности, философским материализмом не предполагается, что экономические причины являются основными в политике. Взгляды Бокля, например, согласно которым климат — один из решающих факторов, равно совместимы с материализмом. Это относится и к взглядам Фрейда, кото-

[35] Глава из книги 1920 года «Практика и теория большевизма» (Наука, 1991).

рый во всем обнаруживает секс. Существует бесчисленное множество способов рассмотрения истории, которые являются материалистическими в философском смысле, не будучи при этом экономическими и не подпадая под формулу Маркса. Таким образом, «материалистическое понимание истории» может оказаться ошибочным, даже если сам по себе философский материализм является верной теорией.

С другой стороны, экономические причины могли бы лежать в основе всех политических событий, даже если философский материализм оказался бы ложным. Экономические причины действуют через человеческую потребность обладать собственностью и могут быть определяющими при условии, что указанная потребность была определяющей, даже если эта потребность и не объясняется в философских терминах.

Следовательно, не существует логической связи между философским материализмом и тем, что называется «материалистическим пониманием истории».

Это важно осознать, иначе мы будем подтверждать или, напротив, опровергать политические теории на основании доводов, не имеющих отношения к делу, используя аргументы теоретической философии там, где решение вопроса зависит от конкретных фактов человеческого бытия. Такое смешение наносит вред как философии, так и политике, и этого важно избежать.

Также по другой причине попытка обосновать политическую теорию философской доктриной является нежелательной. Философская доктрина материализма, если она по сути истинна, истинна везде и всегда; мы не можем делать исключения, скажем, для буддизма или движения гуситов. И получается, что люди, чья политика, вытекая якобы из философии, становится абсолютной и всеохватывающей, не способны признать, что общая теория истории истинна в лучшем случае лишь в целом и в основных чертах. Догматический характер марксистского коммунизма усиливается наличием предполагаемого философского базиса доктрины; он приобрел характер незыблемой католической теологии, а не динамичной, не склонной принимать что-либо на веру современной науки.

Трактуемая как практическое приближение, а не как точный метафизический закон, материалистическая концепция истории в очень большой степени истинна. Как пример ее истинности можно привести влияние индустриализма на идеи. В упадке религиозной веры у городского рабочего

класса индустриализм сыграл заметно большую роль, чем аргументы дарвинистов или критиков Библии. В то же время индустриализм возродил религиозную веру среди богатых. В XVIII в. большинство французских аристократов стали вольнодумцами; сегодня их потомки большей частью католики, потому что возникла необходимость объединения всех реакционных сил против революционного пролетариата. Возьмите опять-таки эмансипацию женщин. Платон, Мэри Вулстонкрафт и Джон Стюарт Милль привели замечательные доводы, но оказали влияние только на горстку идеалистов. Началась война, что привело к широкомасштабному вовлечению женщин в производство, и тотчас аргументы в пользу предоставления женщинам права голоса стали рассматриваться как неопровержимые. Более того, потерпела крах традиционная половая мораль, потому что в ее основе лежала экономическая зависимость женщин от их отцов и мужей. Изменения в таком предмете, как половая мораль, принесли с собой глубокие изменения в мыслях и чувствах простых мужчин и женщин; они модифицировали закон, литературу, искусство и все виды институтов, которые казались далекими от экономики.

Факты, аналогичные отмеченным выше, показывают, что марксистские представления о «буржуазной идеологии» не беспочвенны, означая тот сорт морали, которая была навязана миру собственниками капитала. Довольство собственной судьбой — типичный образчик добродетели, которую богатые проповедуют бедным. Первые искренне верят, что это добродетель; во всяком случае, так было раньше. Наиболее религиозные среди бедных также верят в это, частично под влиянием авторитета, частично по привычке к подчинению, которую Мак-Дугалл называет «негативным самоощущением» и которая более распространена, чем обычно считают. Подобным образом мужчины проповедовали добродетель женского целомудрия, и женщины обычно признавали их наставления; и те и другие верили в эту доктрину, но устойчивой она была только при экономической власти мужчин. Грешные женщины наказывались здесь, на Земле, отчего казалось вероятным их наказание там, в потустороннем мире. Когда экономическая власть исчезла, то и осуждение греховности постепенно пропало. В таких случаях мы наблюдаем крах «буржуазной идеологии».

Но несмотря на основополагающую важность экономических факторов в определении политических действий и верований поколений или наций, я считаю, что нельзя пре-

небрегать неэкономическими факторами, не рискнув впасть в ошибки, которые на практике могут оказаться роковыми.

Наиболее очевидным неэкономическим фактором, отрицание которого ведет социалистов по ложному пути, является национализм. Конечно, нация, сформировавшись, имеет экономические интересы, которые в большей мере определяют ее политику; но, как правило, не экономические мотивы определяют, из какой группы человеческих существ будет формироваться нация. Триест до войны считался итальянским, хотя процветание его как порта зависело от его принадлежности к Австрии. Никакими экономическими мотивами не объяснить противостояние между Ольстером и остальной частью Ирландии. В Восточной Европе процесс балканизации, вызванный потребностями самоопределения, был катастрофой с экономической точки зрения и произошел вследствие причин по сути своей эмоциональных. Во время войны наемные рабочие за небольшим исключением находились во власти националистических чувств и игнорировали традиционный призыв коммунистов «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Согласно марксистской ортодоксии, их сбили с пути коварные капиталисты, которые наживались на убийстве. Но для любого человека, способного к исследованию психологических явлений, очевидно, что это в большой степени миф. Огромное количество капиталистов было разорено войной; те из них, кто был молод, так же подвергались опасности быть убитыми на войне, как и рабочие. Несомненно, что основной причиной войны явилось экономическое соперничество Англии и Германии, по соперничество в корне отличается от погони за наживой. Вероятно, что при объединении английские и немецкие капиталисты могли бы получить больше, чем они получили, соперничая, но вражда была инстинктивной, а ее экономическая форма стала случайной. Капиталисты были охвачены националистическим инстинктом так же сильно, как и их пролетарские «жертвы обмана». В обоих классах кто-то выиграл от войны, но всеобщее желание воевать не было вызвано надеждой на обогащение. Желание воевать происходило из другого комплекса инстинктов, который марксистская психология не в состоянии адекватно осознать.

Марксисты полагают, что для человека «стадом» с точки зрения стадного чувства является его класс и что человек будет объединяться с теми, чьи экономические классовые интересы такие же, как у него. На самом деле это только часть истины. Наиболее влиятельным фактором, опреде-

ляющим действия людей на протяжении длительных периодов мировой истории, была религия. Даже сегодня рабочий-католик скорее будет голосовать за капиталиста-католика, чем за неверующего социалиста.

В Америке разделение голосов избирателей на местных выборах также носит религиозный характер. Это, несомненно, устраивает капиталистов и склоняет их к тому, чтобы быть религиозными, но одни капиталисты не смогли бы добиться результата. На результат влияет и то, что многие рабочие предпочитают распространение своих убеждений улучшению своего образа жизни. Как ни прискорбно такое состояние умов, оно вовсе не обязательно обусловлено ложью капиталистов.

Все политики руководствуются человеческими желаниями. Материалистическое понимание истории в конечном счете исходит из допущения, что каждый политически сознательный человек руководствуется единственным желанием — желанием увеличить свою собственную долю предметов потребления и что достичь этого можно через увеличение доли его класса. Но это допущение далеко от истины. Люди хотят власти, удовлетворения своей гордыни и чувства собственного достоинства. Они желают победы над соперником так глубоко, что готовы придумать соперничество — лишь бы одержать победу. Во всех этих случаях чисто экономический мотив исключается.

Существует необходимость исследования политических мотивов методами психоанализа. В политике, как и в частной жизни, люди выдумывают мифы для объяснения своего поведения. Если человек единственным существенным мотивом политики считает экономический успех личности, он будет убеждать себя: то, что он хочет сделать, позволит ему разбогатеть. Желая сражаться с немцами, он говорит себе, что их конкуренция разрушает его торговлю. Если же он «идеалист», считающий целью своей политики прогресс человечества, то он говорит себе, что преступления немцев требуют их уничтожения. Марксисты находятся во власти последнего, а не первого мифа. Стремление к достижению собственного экономического успеха достаточно разумно; для Маркса, унаследовавшего рационалистическую психологию от британских ортодоксальных экономистов XVIII в., самообогащение выглядело естественной целью человеческих политических действий. Но современная психология погрузилась гораздо глубже в океан безумия, по которому неуверенно плывет утлое суденышко человеческого разума. Интеллек-

туальный оптимизм прошлого века невозможен более для современного исследователя человеческой природы. И все же он задержался в марксизме, сделав марксистов непреклонными наследниками Прокруста[36] в их лечении инстинктивной жизни. Материалистическая теория истории становится выдающимся примером этой непреклонности.

В.Ч.
Мухо¨бы

Один из самых загадочных и образных лозунгов, украсивший стену одной из аудиторий университета Нантер во время майской революции 68 года, гласил: «*CAMARADES VOUS ENCULEZ LES MOUCHES*» («Товарищи, вы еб¨те мух»[37]).

Пользователь двух языков (русского и французского) сразу же отметит, что устойчивое выражение *ENCULER LES MOUCHES* должно переводиться не дословно (в прямом смысле), а образно (в переносном). Действительно, оно используется для того, чтобы описать чрезмерную тщательность, маниакальную кропотливость, болезненную скрупулезность при каком-либо действии, причем, если не совершенно бесполезном, то уж во всяком случае, не очень нужном.

Двуязычный пользователь также отметит неточность в дословном переводе и будет совершенно прав: французский глагол *ENCULER* (середина XIX в.) имеет узкую специализацию, особенную, так сказать, ориентацию: этим глаголом пользуют сугубо в зад (словарь французского языка «Le Petit Robert» недвусмысленно определяет «*par sodomie*»). Этот глагол может использоваться и в расхожем оскорблении «*VA TE FAIRE ENCULER*» («да пошел ты на этот самый, чтобы тебе или тебя это самое, но не куда-нибудь, а именно туда»), которое — в отличие от других, синтаксически идентичных «*VA*

---

[36] *Прокруст* — в древнегреческой мифологии прозвище великана-разбойника, который насильно укладывал путников на ложе и тем, кто был больше его размеров, обрубал ноги, а малорослых вытягивал до размеров ложа.

[37] Впрочем, при переводе, «мух» можно было бы заменить на «Муму», но вряд ли французские студенты в мае 68 года читали Тургенева.

TE FAIRE FOUTRE» (акцент на сперму как результат) или «*VA TE FAIRE METTRE*» (акцент на вставление как процесс) — отличается содомитской целенаправленностью, другими словами четкой анатомической локализацией. И действительно, в нарочито вульгарном глаголе *ENCULER* легко определяются приставка *EN* (предлог «в») и корень *CUL* (существительное «жопа» (*вульг.*), образованное к XIII в. от *лат.* culus).

Это пространный филологический разбор терминологии не должен нас уводить в сторону от осмысления самого высказывания: как нам представляется, ¨бля мух — занятие совершенно бессмысленное. Лишенное всякого смысла.

Как же так? Вполне осмысленная — с точки зрения лингвистической нормы — речевая цепочка («люди ¨бут мух») выдает информацию о совершенно бессмысленном занятии («люди мух ¨бут(!)»). Получается, что слова, каждое из которых наделено смыслом, составленные в правильно осмысленную последовательность (подлежащее сказуемое дополнение) являют осмысленное высказывание о совершенно бессмысленном занятии. Ничего нового и удивительного в этом нет. Бессмысленность занятия — явление далеко не редкое, а наоборот, весьма частое и столь распространенное, что только ленивый о нем не рассуждал. Осмысленное описание бессмысленных явлений собственно и является основой для многих неточных наук, в первую очередь философии, истории и социологии. Бессмысленное явление может описываться с искажением смысла, и подобное недомысленное описание также имеет свои традиции, но относится скорее к области поэтической. О категории бытовой недомысленности поэтического текста, о разделении практического и поэтического написаны сотни научных и псевдонаучных трудов, один убедительнее другого, но это выходит за рамки нашего рассмотрения.

Вообще-то поэтика и практика (в частности, политическая) редко пересекаются как для выявления смысла, так и бессмыслицы: в идеологической ажитации/агитации практическая функция почти всегда превалирует над поэтической, пусть даже политика, так же как и коммерция пытается использовать поэзию, приукрашивая свои призывы (на баррикады! в супермаркет!) риторическими фигурами. Если теория может позволить себе роскошь неспешности и усложненности, то практика требует незамедлительности и упрощения, другими словами, этика выпихивает эстетику понятно куда (см. выше). В рассматриваемом случае имеет место

удивительное противоречие между осмысленностью слов и бессмысленностью призыва, удивительное, прежде всего, в силу исторического контекста (май 68). Рассматриваемая фраза резко контрастирует с прочими майскими лозунгами, призывающими пусть к утопической, но все же осмысленной и даже в некотором смысле героической деятельности: «быть реалистом — требовать невозможного», «делать революцию здесь и сейчас» и т.д. Данный же лозунг, как ни странно, ни к какому героизму не призывает и ни к какой утопии не ведет. Если он куда-то и ведет, то в заурядно конкретную мухожопию.

Сей лозунг примечателен и тем, что лишен обязательной для этого жанра императивности, категоричности: нет ни призыва, ни восклицания («!»), хотя пафос и эмфаза вроде бы присущи любым социальным волнениям, а молодежным в особенности. В этом лозунге нет ни удивления («?»), ни возмущения: он словно иллюстрирует собой саму идею о(т)странения, ибо не инициирует сопричастность к процессу и еще в меньшей степени сопереживание. Эмоции отсутствуют. Есть отстраненный взгляд, но не активного участника, а стороннего наблюдателя или даже случайного свидетеля, невольного очевидца, эдакая слегка печальная констатация факта: вот, дескать, чем вы занимаетесь, товарищи. М-да…

К кому обращается анонимный автор? К идеологическим противникам, к сторонникам ненавистного режима? Все режимы (будь то революционные или контрреволюционные) склонны попустительствовать и чуть ли не поощрять мухо¨бство в своих бюрократических рядах, это понятно. Как только проект становится режимом, он незамедлительно начинает бронзоветь и пользовать мух. Так удобнее выстраивать вертикаль, горизонталь и диагональ власти. Но тогда почему «товарищи»? Какие они ему товарищи, все эти Петэны и Папоны? Волк из Виши им товарищ!

Не исключено, что обращение относится к временным союзникам по оппозиции (читай: завистникам и конкурентам): к каким-нибудь коммунистам; ленинистам, сталинистам, маоистам и -истам вообще, которые, как и всякие партийцы, в своих ячейках и фракциях, тяготеют к крючкотворству и канцелярщине, что им нисколько не мешает все обращать в свою пользу, не гнушаясь ни скрытым ренегатством, ни явным предательством. В этом случае обращение принимает более ироничный, если не саркастичный характер. Дескать, вот вы, «товарищи», дебатируете и декларируе-

те, покрываете стены агитационными писульками, а на баррикадах вас нет, да и полицейскими дубинками по голове получаете не вы, а разные беспартийные анархические элементы. М-да…

А если автор обращается к своим же соратникам? Тогда к чему ирония? Почему сарказм? Пишущий не доволен медленным характером революции? Он разочарован в ее мелких и мелочных результатах? Или же скептически относится к смыслу революционных воззваний и любому революционному романтизму? Дескать, вот вы, товарищи, дебатируете и декларируете, покрыли все стены своими агитационными писульками, на заводах и фабриках поработали, на баррикадах побывали и даже получили по голове полицейскими дубинками, а ведь все равно… М-да.

В таком случае вместе с очевидностью факта и ироничностью высказывания может прочитываться и мудрое предвидение того, что произойдет с революцией уже через несколько месяцев, а с призывающими к ней пиитами — через десять, двадцать, тридцать лет? Дескать, время пройдет, и вы сами забудете, что говорили, о чем писали и к чему призывали; революционная поэзия закончится и начнется контрреволюционная проза жизни. К этому времени вы — коли не сопьетесь и не скуритесь, — наверное, станете делегатами и депутатами, ректорами и директорами, претендентами и президентами, и будете заведовать издательствами, телеканалами, журналами и чуть ли не морщиться при упоминании о некогда летавших булыжниках и замирающих заводских цехах, так что все эти писульки не что иное, как…

А возможно, это пророчество относится ко всем активистам, которые считают себя вправе призывать и вести за собой? Возможно, имеются в виду и ловкие карьеристы, занимающие протестное поле из корыстных интересов (позиционирование на рынке идей и выстраивание коммерчески перспективного бренда), и тонкие артисты, использующие протестный эфир для саморекламирования и прославления (формирование и закрепление своего имиджа в медийном пространстве)… Возможно, речь идет обо всех лидерах и руководителях, включая тех немногих, кто искренне верит в *свою* революционную значимость, в *свою* причастность к истории, то есть, всерьез полагает, что *их* личная революционность призвана и способна привести к общественной революции и изменить жизнь миллионам? (За один этот вопиющий нарциссизм вожди и кормчие уже достойны если не

кремового торта в рожу, то хотя бы — чисто символически — зачисления в категорию «мухо¨бов»). В таком случае «¨бля мух» является уже не только и не столько устойчивым выражением для обозначения трусливой мелочности, а некоей зоо-филической (зоо-фаллической) метафорой, призванной раскрыть явное несоответствие меж описываемым явлением (¨блей мух) и заявленным идеалом (например, ¨блей слонов). Дескать, к чему вы нас призываете, и чем на самом деле это обернется?

В чрезмерной идеализации *своей* революционной роли есть романтический пыл, юношеский задор; (само)уверенность, озаренность, одержимость слоно¨ба могут подкупать искренностью, даже завораживать, но не должны вводить нас в заблуждение: он — мухо¨б и вся его деятельность сводится к мухо¨бству. Не надо делать из мухи слона. Мухо¨бство можно и даже должно рассматривать не как невинную и наивную утопию, а как конкретную и пагубную пропаганду. Как дискредитацию языка возмущения и протеста, как профанацию любой попытки усомнения и осмысления.

Если в плохих стихах регулярно (например, в каждой второй строчке и как минимум один раз) употреблять слово «революция», то от этого они не станут ни хорошими, ни революционными, а вот идея поэзии и революции окажется в очередной раз извращенной, загаженной. Результат подобных опытов — замутнение революционного сознания (когда оно есть) псевдореволюционной риторикой: мушиное тиражирование слоноподобных слоганов и гимнов. Продираясь сквозь исторический и истерический сумбур якобы поэтических политизированных воззваний, мы должны понимать, что, ¨бя мух, мухо¨бы ¨бут нам мозги. Им, мухо¨бам, наверное, никто никогда не говорил, что поэзия — дабы стать глубокой, пронзительной и истинно революционной — вовсе не обязана апеллировать к какой-то конкретной исторически-географической революции; ее революционность — не в публично-распахнутом оглашении радикальных прокламаций, а в лично-затворническом согласовании формы и духа слова, и редко имеет что-либо общее с подстрекательством нерадивых масс. Как, впрочем, и с содомией двукрылых насекомых.

Пускай попробуют в каждой второй строчке и как минимум один раз вставлять слово «муха» (или его производ-

ное), а в каждой четвертой — слово «слон» (или его производное)…

А мы почитаем и осмыслим…

Вот так, поначалу бессмысленное заявление на стене университетской аудитории постепенно осмысливается, то есть наполняется вполне определенным, и даже в некотором роде мета-определенным смыслом.

Ты читаешь то, что поэт-мухо¨б пишет. И вчитываешься, и вычитываешь, и что-то прочитываешь, и пытаешься прочитанное рассчитать, то есть разделить поток букв на отдельные элементы — абзацы, фразы, слова, — чтобы каждый из них понять, а затем все вместе соединить.

Ты слушаешь то, что поэт-мухо¨б читает. И прислушиваешься, и вслушиваешься, и кое-что слышишь, и пытаешься услышанное, то есть отдельные элементы, — абзацы, фразы, слова, — понять по отдельности, а затем все вместе соединить.

В принципе осмысление частей должно явить смысл целого. Логика подсказывает именно такой подход, но он не всегда оказывается эффективным. В поэтических текстах поэта-мухо¨ба понимание отдельных слов или даже фраз не гарантирует понимание всей речи: порой самые простые слова, обозначающие самые простые понятия, вроде бы и связываются вместе, но результат связки оказывается обескураживающее пустым, бессмысленным.

Полученный результат нельзя назвать ни заумным, не абсурдным, ни сюрреалистическим, ни поэтическим. Мало того, что в мухо¨бистой поэзии нет ни открытого, ни сокрытого, ни вообще какого-либо смысла. Ее бессмысленность тупа и абсолютна. Но она еще и тоскливо серьезна, ибо не предполагает ликования, ни веселья, ни даже намека на улыбку. Но это не значит, что она предлагает другие чувства: нет в ней ни огорчения, ни грусти. В ней нет ничего, кроме прямой декларативности.

Парадокс представляется настолько вопиющим, что иногда появляется ощущение, что мухо¨б сам не знает, что хочет сказать. Нередко он действительно не знает, что хочет сказать, и сам не понимает, о чем говорит. Большая часть слов ему понятна, но общий смысл не совсем ясен. Говорящий не понимает, о чем он говорит; пишущий не понимает, о чем он пишет.

И вот, что получается: ты, слушающий, не понимаешь, что слушаешь; ты, читающий, не понимаешь, что читаешь. От этого у тебя, слушающего и читающего, создается очень неприятное, дискомфортное, чуть ли не физиологически болезненное ощущение, что тебя нагло обманывают. Ты верил в шум и ярость, пыл и порыв, ты мечтал, но *задумавшись* и *вдумавшись* не только в смысл отдельных слов или фраз, а в глубинную суть того, что они отражают и что за ними скрывается, ты наконец-то понял, что получилось. Ты — жертва амбиций артиста и цинизма карьериста; ты — жертва издевательства, надувательства, вдувания; ты — бессловесная и безответная тварь отпущения, ты — использованное насекомое, вдутая и вздутая муха.

В другой стране почти через сорок лет после французских майских событий, десяток молодых людей вышли на центральную улицу центрального города с заклеенными скотчем ртами и веселенькими флажками из наволочек в цветочек. В руках молодые люди держали самодельные таблички с короткими текстами, которые сводились к протесту против полицейского произвола. Минут через десять молодых людей с флажками и табличками уже довольно грубо заталкивали в подогнанный спецтранспорт местные органы правопорядка. В этой эфемерной акции было куда больше смысла и поэзии, чем в сонмах мухо¨бистых воззваний.

Не дай себя вдуть!
Думать!
Merdre.

В.Ч.
(СПБ, май 200?)

Алексей Лапшин
Лента времени

Вопрос о времени неразрывно связан с темой Бога. Если был совершён акт творения, то как проявлял себя Бог до него? Доминирующая сегодня теория Большого взрыва, в результате которого, как предполагают, возникла Вселенная, по сути не находится в принципиальном противоречии с актом творения. Ведь данная теория не даёт никакой возможности отрицания или утверждения чего-либо предшествовавшего взрыву. Существующая модель пространства и времени к состоянию до Большого взрыва неприменима. То есть современная наука, на данные которой с наивным восторгом ссылаются атеисты, вовсе не доказывает отсутствие Бога. Наоборот, она подводит к мысли об абсолютно трансцендентном и недоступном человеческому пониманию.

Абсолютно трансцендентное можно только помыслить, как чистого субъекта без объекта, вне времени и пространства, и вне любых законов. Объект появляется лишь с возникновением Вселенной. При этом трансцендентное остаётся абсолютно чистым субъектом, поскольку продолжает своё одиночество за пределами всего имеющего начало. Это состояние полного одиночества чистого субъекта и есть вечность и великое Ничто.

Время и пространство — понятия, имеющие своё начало, а значит и свой неизбежный конец. Открытие процесса ускоренного расширения вселенной фактически опровергло представление о равномерном течении времени. Здесь можно вспомнить образ камня, скатывающегося с горы с разной скоростью от вершины к подножью, использованный Рене Геноном. К концу спуска камень катится быстрее. Такова эсхатологическая аналогия движения времени.

Согласно Аристотелю, время неотделимо от движения, но неравнозначно ему. Скорость движения может меняться, тогда как время остаётся единственным и неизменным — считал философ. Аристотелевское представление с разными серьёзными вариациями кочевало из века в век. И только после открытия того, что вселенная не просто расширяется,

а расширяется ускоренно, стали возможны не только умозрительные рассуждения о разных скоростях и самого времени. Ощущение того, что время в разные моменты имеет неодинаковую скорость, получило аналогию в космических процессах.

Но почему тогда не допустить, что время является заранее созданным целостным объектом с границами начала и конца? Движется не время, а совершают свой путь тела во времени. Во многом такое представление смыкается с христианским пониманием бытия: всё уже свершилось, книга жизни написана. Чем ближе конец, тем быстрее движение. Как у камня, катящегося с горы.

Понятным тогда становится и знакомое практически всем людям ощущение того, что «это мгновение» уже было когда-то. Ведь оно уже действительно было в определённой точке между границами времени. Свободу воли это не отменяет, поскольку человек ещё не знает конечных результатов свершившегося времени и действует по собственному выбору. Таким образом он сам оказывается ответственным за итоги жизни.

Объяснение времени как объекта в уже оформленных границах даёт ключ к пониманию феноменов пророчеств, предсказаний или, наоборот, проникновения в прошлое. Дар предсказателя заключается в способности улавливать то, что уже есть, но ёще не случилось. Своеобразным путешествием во времени можно назвать и такой редкий вид памяти, как эйдетизм. При эйдетизме человек продолжает явственно воспринимать предметы или явления, когда они уже отсутствуют. При этом память сохраняет не только зрительные, но и слуховые, тактильные, обонятельные и другие чувственные переживания. Человек как бы остаётся в прошлом, находясь уже в ином моменте.

Чисто теоретически, некая условная машина времени, видимо, возможна. Разумеется, под машиной времени я понимаю не какую-то железную конструкцию, а сам принцип движения. Однако такое путешествие было бы подобно обзору картин в галерее, а не попаданием в качестве участника в прошедшие или будущие события, как воображают фантасты. В числовом ряде, как известно, не бывает повторений. Между тройкой и четвёркой не может вклиниться пятёрка. Человеческая жизнь совершенно индивидуальна и проживается только один раз. Именно поэтому в событиях прошедших или не наступивших ничего нельзя изменить. Тем не менее, вполне допустима возможность некоего ней-

трального обзора этих событий со стороны, через проникновение к информационному полю бытия, которое является как бы лентой времени. Повторяю: чисто теоретическая возможность.

В сущности, возникновение и развитие социума можно трактовать как попытку организации времени и поиск форм самозащиты людей от окружающей их природы. Правда, самозащита впоследствии превратилась в нападение. Заметим, что понятия «общество» и «социум» во многом совпадают, но не тождественны друг другу. Как движение и время у Аристотеля. И дело здесь не в отношении к собственности или механизмах социального воспроизводства. Эти факторы, разумеется, важны, но всё же вторичны. Главным отличием общества от социума является отношение человечества ко времени. Во избежание недоразумений уточню, что речь не о социальной общности как объединении людей, а о социуме, как глобальном структурировании общественной жизни.

Существование древнейших обществ Месопотамии, Египта, гомеровской Греции протекало в так называемом естественном времени. Не случайно первыми часами были водяные и солнечные. Жизнь общества ориентировалась на поток бытия, понимаемый через миф, и не предполагала изменений. Сущее воспринималось как установленный свыше нерушимый порядок вещей. Отчасти время ассоциировалось с судьбой.

Перелом наступает в период перехода от естественного времени, ориентированного на бытие, к социальному времени, ориентированному на человека. В известной исторической концепции Карла Ясперса этот период называется «осевым временем» и датируется примерно 800-200 гг. до нашей эры. По мнению Ясперса и его последователей в эти века происходит переход от мифологического мировоззрения к философскому и рациональному мышлению, сформировавшему современный тип человека и общества. Возникает представление о том, что общество не статично во времени, а может изменяться. Следовательно, человек способен быть не только свидетелем, но и организатором этих изменений.

С теорией Ясперса можно в целом согласиться, хотя фрагменты мифологического мировоззрения, пусть и в сильно искажённом виде, на самом деле, никогда не уходили из истории. Ясперс был как раз одним из мыслителей, рассматривавших технику как важнейшее средство создания людьми собственного мира, независимого от природной данно-

сти. Казалось бы, это бесспорно, однако не всё здесь проговорено до конца.

Переход от естественного времени к социальному и есть процесс формирования социума как всеобъемлющей структуры, покрывающей общество. Попытка создания отгороженного от потока бытия человеческого мира оборачивается утратой людьми их естественного времени. Его похищает социум, превращающий человека в свою функцию. Чем более развит социум, тем меньше у людей времени. И в социальном, и в эсхатологическом смысле.

Нестор Пилявский
Время блох

Жилю Делезу очень нравились клопы, клещи, блохи и философствовать. Впрочем, вредных насекомых и философию он практически не разделял, познавая одно через другое. И все-таки, почему французскому мэтру полюбились эти далеко не самые приятные животные? Данный вопрос в рамках своего знаменитого интервью мыслителю задавала и Клер Парне[38]. Делез ответил, что предпочитает клещей, потому что они реагируют всего на три фактора из всего природного многообразия, да к тому же умеют создать свой удивительный и невероятный мир. Это звучало почти как отговорка, тем более что являлось кратким пересказом пассажа из книги «Складка. Лейбниц и барокко».

В общем, кажется, никто так и не понял, почему Делезу нравились мелкие отвратительные твари. Одни списали это на оригинальничание (что-то вроде его знаменитых ногтей), вторые на то, что Делез был адептом демонического короля насекомых Вельзевула (вот, например, А. Дугин пишет, что Делез выбросился из окна, поскольку его одолели те самые бесы, коих Иисус в Евангелии переводил с одержимых на свиней-самоубийц[39]), а третьи вообще не придали делезовским клещам и блохам никакого значения. Однако, на мой

[38] Телеинтервью «Альфавит Жиля Делеза» (L'abécédaire de Gilles Deleuze), 1996 г.

[39] Это фундаментальное (или фундаменталь-онтологическое?) предположение А. Г. Дугин сделал в своей монографии «Постфилософия», вышедшей в Москве в 2009 г.

взгляд, ни один уважающий себя интеллектуал современности не может позволить себе игнорировать делезовских клещей, и должен честно ответить себе и всему миру на вопрос, почему Жилю Делезу нравились мелкие паразиты.

Возможно ли, чтобы вопрос о блошках и клещах стал философским вопросом? Да, и более того: возможно, это один из самых актуальных вопросов познания. Я не знаю, истинно ли мое отвечание на этот вопрос (возможно, он даже неправильно задан — ведь, как известно из Хайдеггера, важные философские вопросы, как правило, задаются неправильно, и потом люди целыми столетиями зря на них отвечают). Лучше, конечно, было бы помыслить становление клеща, быть может, спросить у самого клеща, но прежде попробуем рассмотреть мою версию, которая делает акцент на четвертом измерении Времени. Именно из него, как я полагаю, кусачие насекомые и сыпались на голову французского философа. Позвольте, но ведь четвертое измерение времени открыл Мартин Хайдеггер, а не Жиль Делез? — скажете вы. Это, конечно, правда, но не полная.

Делез, как известно, выделяет две возможности времени — Хронос и Эон. Напомню: Хронос бесконечен, цикличен, глубинен, находится в определенности, существует в форме телесности. Эон бесконечно делим, представляется в виде прямой линии с отдаляющимися точками прошлого и будущего, поверхностен, действует как инфинитив, существует в пустой форме бестелесности. Хронос — это Настоящее, которое стягивает в себя Эон. Эон, соответственно, есть Прошлое и Будущее, и то и другое как сборка бегущих по плоскости (плато) эффектов. Стягиваясь в Хронос, Эон вытягивает его вдоль себя. Делез говорит, что Эон — это лабиринт, построенный из одной линии, начертанной произвольной сингулирующей точкой. Событие помещается в Эоне, но эта помещенность представлена как стягиваемость в Хронос[40].

Таким образом, событие охвачено особым видом Настоящего — отвлеченным настоящим, о котором философ пишет: *«Стоики иногда говорят, что знаки — это всегда настоящее, знаки присутствующих в настоящем вещей: о том, кого смертельно ранили, нельзя сказать, что он был ранен и что он умрет, но можно сказать, что он получил ранение [il est ayant ete blesse] и что он вот-вот умрет [il es*

[40] Как и М. Хайдеггер, Делез оперирует понятиями места и местности Времени.

devant mourir]. Такое настоящее не противоречит Эону: напротив, именно настоящее как отвлеченное понятие подразделяется до бесконечности на то, что только что произошло или вот-вот произойдет, всегда ускользая в этих двух смыслах-направлениях сразу. Другое настоящее — живое настоящее — происходит и осуществляет событие»[41].

Теперь послушаем Хайдеггера: *«Собственно время четырехмерно. Однако, то, что мы называем при перечислении четвертым, по сути дела — первое протяжение, поскольку оно все собою определяет. Им несомо в будущем, в прошлом, в настоящем их Вот-бытие, каждый раз особенное. В просвете Вот-бытия они разведены между собой и тем самым сведены во взаимной близости, из–за которой три измерения оказываются близки друг другу. Поэтому первое, начальное, буквально зачинающее протяжение, в котором покоится единство собственно времени, мы называем близящей близью, пользуясь словом «близь», которое ранее употреблял еще Кант. <…> Близящая близь имеет характер отклонения и отказа. Она заранее содержит способы протяжения бывшего, прошлого и настоящего в их взаимном единении»*[42]. Напомню, Время по Хайдеггеру «не есть, но имеет место», или, можно сказать, оно есть в том смысле, в котором его фундаментальная конечность совпадает с конечным Бытием. Говоря о месте, вмещающем время, Хайдеггер называет его «местом, определяющимся из отклоняюще-отказывающей близости», «местом утаивающего протяжения», то есть место четвертого измерения времени.

Близящая близь Хайдеггера и отвлеченное настоящее Делеза — это, конечно, не один и тот же концепт, но они, пожалуй, легко соотносимы как Вот-Бытие и вот-вот-бытие («он только-только получил рану», «он вот-вот умрет»), как разные манеры приближения.

Кроме открытия четвертого измерения Времени и срастания семантических и «натуральных» категорий, язык обоих философов характеризуется апофатическими тональностями, когда они говорят о будущем (а в случае Делеза и о прошлом). Актуальное время у Делеза — это ужасная линия без толщины, линия всегда блуждающей кочевой точки, линия сингулярных эонов — то есть событий и их семантиче-

---

[41] Ж. Делез. Логика смысла. М., 2011.

[42] Доклад М. Хайдеггера «Время и Бытие», прочитанный в 1962 г., впервые опубликован в «L'endurance de la pensee» в Париже в 1968 г.

ски значимых серий. Само по себе будущее у Делеза бестелесно и не-онтично, но потенциально (будущее у Хайдеггера скорее бытийствует, нежели существует, оно не присутствует ни в чем из сущего, но представлено через его бытие). Обнаруживая линию сингулирующего лабиринта, мы узнаем, что Вечное возвращение не относится к цикличности Времени, как это полагается в некоторых метафизических моделях, например, в восточных учениях о перерождении душ. Ницше, кстати, не раз высказывался против механистического и метафизического истолкования Вечного возвращения. Предвидел он и событийно-историческую победу пустоты будущего над не удержавшимся в культуре стержнем прошлого-настоящего. Он искал новый центр, познал неосуществимость его нахождения и «пошел дальше по пути разложения»: *«В этом нашел я для немногих новые источники силы. Я познал, что состояние разложения, в котором единичные личности могут достигать небывалой степени совершенства, является отображением и частным случаем всеобщего бытия. Против парализующего ощущения всеобщего разрушения я выдвинул идею Вечного Возвращения»*[43]. Эта ядовитая идея дает эпохе, когда больше не верят в центр (в субъекта, объекта или их ось), свои отблески в виде разных концептов, образов и ощущений, к числу коих относятся также открытия Хайдеггера и Делеза. Невинность становления, о которой так хорошо писал Ницше, и есть номадизм беспричинно и безответственно флуктуирующей точки, блуждающий огонек лабиринта делезовской поверхности, или, пользуясь мистической метафорой Гераклита, Дитя, которое играет во времени мира.

Не стоит категорически заявлять, что ризома исключительно не линейна. Она не линейна в классическом смысле, но она продуцирует некую новую линейность, такую невидимую линию, которая (от)соединяет гетерономную колонию ползающих по шаровой поверхности головы вшей или блох. В отсутствующей толщине этой линии «спрессованы самые разнообразные виды деятельности — лингвистической, перцептивной, миметической, жестикуляционной, познавательной» (ну, или три выделенных перцепции у клещей — механизм тот же). Наползающие друг на друга колонии животных, их дыхание, тайные отношения, многочисленные лож-

[43] Ф. Ницше. Воля к Власти. М., 2005.

ноножки и шевеления напоминают размещенные по поверхности эоны настоящего и будущего.

Однако, что это за поверхность, которая стала бестелесностью? Возможно, это такая поверхность, которая — есть — при проникновении под кожу, но не внутрь, а наружу. Чтобы ее об-наружить, наша мысль (подкожный философский импульс) должна двинуться в обратном направлении, навстречу кусающему насекомому. Если Гуссерль призывал *«Назад к вещам!»*, то мы, размышляя над нашим вопросам, можем сказать: *«Вперед, ко вшам!»*, но это «вперед», разумеется, обозначает и «назад»: телесность, испаряющаяся с поверхности — она находится где-то между кожей и одеждой, кожей и косметикой (телесность ближе к динамике макияжа, чем к статике татуировки). Вопрос поверхности может быть истолкован и как вопрос стиля: темпоральное событие, обитающее на одежде как на вывернутой наизнанку коже присутствующего в нем существа.

Как-то раз, в одном разговоре, я понял, почему мне никогда не нравилось выражение «в глубине души», и почему я его никогда не использую — нет, не из–за банальности (ничего не имею против банальных словосочетаний и понятий), а из–за того, что никакой глубины у души, конечно, нет и быть не может. Душа гораздо поверхностнее тела. Если она локализована, то локализована между телом и феноменом — как размазанный по своей границе смысл или даже как процесс его расположения. Я бы обозначил душу как игру телесного и бестелесного на поверхности человеческого существования. То же можно сказать о подсознании и многих других пляшущих от «психеи» концептах. Мы правильно говорим «я был во сне» — наше существо пребывало в облаке сна, тело было окутано морфеем, мы гуляли по своей поверхности изнутри и вниз головой (вниз головой по отношению к сердцу) — но никогда сон не бывает в нас, внутри нас самих. В нас не бывает ничего. Или в редкие моменты бывает «ничто большее».

Кстати — говоря о душе, нельзя не заметить, что это как раз то «место», в связи с которым Жиль Делез поминает мелких паразитов, когда не поминает их в связи с шевелением перцепций. Сам Делез считал себя продолжателем философской традиции, противостоящей мысли платонизма и постплатонизма (то есть всей классической философии), но говорит он не от имени досократиков (на связь с этой традицией претендовал Хайдеггер), а скорее как сторонник стоиков и киников (и, вероятно, отчасти софистов). В «Логике смысла»

Делез триумфально оглашает, что «философским символом» этой традиции, в пику платоновским крыльям и эмпедокловским сандалиям, стал выворачивающийся плащ Антисфена и Диогена, посох и плащ, напоминающие Геркулеса с его дубиной и львиной шкурой: *«Как назвать это новое философское свершение, противостоящее сразу и платоновскому преображению, и низвержению досократиков? Может быть, извращением, которое, по крайней мере, согласуется с системой провокаций этого нового типа философа — если верно, что извращение предполагает особое искусство поверхностей». «Вши в львиной гриве»* (плащ Геркулеса) появляются и в делезовском «Анти-Эдипе». А в «Логике смысла» он раскрывает суть антиплатоновской революции плаща и посоха: *«Поверхность подобна запотевшему стеклу, на котором можно писать пальцем. Философия бьющего посоха киников и стоиков вытесняет философию ударов молота. Философ теперь не пещерное существо и не платоновская душа-птица, а плоское животное поверхности — клещ или блоха».* Также клещ мелькает у Делеза в ряду *душа—монада* в его знаменитой книге о складчатой тайне барокко[44]. Насекомое, и скорее ползающее, а не крылатое — такова метафора души у Делеза. Важно для него и то, что вши и блохи менее всего индивидуальны, они — суть множество. Душа не атомарна, она скорее событийна на поверхности знаков всегда-настоящего, а порывы души — это подвижная складчатая экстериорность, наползания колоний насекомых друг на друга, их скольжение по поверхности времени, множество делезов, еще больше гваттари, тысяча плато[нов]. Тут можно сказать, что Делез метафорически пересекается с буддийским мировоззрением, в котором сознанием (онтологическим началом, непроявленной природой Будды) наделено даже мельчайшее существо, в частности, насекомое. Можно пофантазировать: вот Делез машет своим когтем у задранного человеческого носа: довольно тешиться сравнением своей души с расписной птицей в красивом полете, — посмотрите уже на себя, наконец, трезво.

Полет — это тот постуральный образ, которому мы обязаны самой распространенной мифологической метафорой души-птицы, души-бабочки, души-ангела. Человек встающий, человек развивающийся, человек, устремленный ввысь. Благодаря христианской идее об индивидуальной

[44] Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1997.

ответственности и индивидуальном спасении душа-птица со временем отбилась от стаи и превратилась в индивидуального субъекта, в мыслящего человека. Потом духовное сменилось научным и социальным, а прогресс-полет продолжился. Впрочем, уже в XIX веке стало ясно, что человеческий субъект слишком оторвался от жизни, а во второй половине XX века интеллектуалы объявили, что человек на все смотрит уж очень свысока — и, дескать, именно эта позиция (не столь важно, религиозная, политическая, нравственная, мировоззренческая, романтическая или какая-то иная: психоанализ как фашизм — см. «Анти-Эдип») как раз и позволяет насилию и репрессиям продолжать свое триумфальное шествие в нашем обществе. Антитезой души-птицы стала душа-клещ, душа-поближе-к-телу, душа-множество.

Характерно, что насекомые в развитых мифологических системах чаще всего символизировали хтоническое, теневое или даже демоническое начало (например, в ведической культуре насекомые ассоциируются с Раху, самым мрачным и загадочным персонажем небесного пантеона). Множественное копошение мелких существ, которое психиатры отмечают как преобладающую форму галлюцинаций при белой горячке, любопытным образом совпадает с представлениями ряда восточных народов о джиннах, которые, вопреки модерновым стереотипам, чаще всего описывались не как старики хоттабычи или здоровяки из волшебной лампы, а как слабо дифференцированное множество мелких существ, на которых можно нечаянно наступить в темноте (за что сразу же последует наказание от этого мелкого, но могущественного народца)[45]. Насекомых и пресмыкающихся, ползающих гадов, постуральный режим возвышения считает своими символическими врагами, существами плоскости, плоскатиками низа, агентами мира, от которого человек прямоходящий давно оторвался, чтобы познавать мир, пространство и время с позиции своего возвышения, роста и развития. Человек-архангел закалывает змеиного гада копьем, а человек-дезинсектор травит насекомых инсектицидами; в подсознании все еще жив образ мелкого врага: с открытием мира бактерий и микробов теперь уже они, а не насекомые, мыслятся главными недругами человечества, и вот апостол нашего времени Стивен Хокинг пророчит, что человечество

[45] См., например, Булатов А. О. Формы шаманско-магической практики у народов Дагестана в конце XIX-XX вв. М., 2004.

может вымереть из–за стремительно ускоряющейся вирулентности, из–за агрессивных процессов в невидимом царстве свиного гриппа.

Делез со своими клопами и клещами как бы предлагает перевернуть отношение человека к низкому и высокому, прислонить человека к плоскости, привить ему опыт ползания, который прерывается в глубоком детстве с торжеством постурального инстинкта: рожденный ходить, умей и ползать! — говорит Делез, провозглашая шизоидность единственной релевантной формой антропологической свободы, умением играть с феноменами высоты и глубины, оставаясь при этом на спасительной поверхности извращения. И тут довольно забавно, что, провозглашая плоскостную топику, как бы освобождая человека от репрессивных устремлений его существа, постструктуралисты продолжают вещать от имени той самой высокой, великой идеи прогресса, идеи освобождения человечества от рабства и неравенства, которая как раз родилась на пике «отлета» человеческого субъекта от действительности, то есть — от имени идеи, репрессивной по отношению к плоскости, идеи, смотрящей на жизнь свысока. От имени метанарратива они предлагают уничтожить все метанарративы, не доверять больше великим идеям во имя великой идеи (свободы и прав человека). Делез похож на заговаривающегося старика Руссо, на впавшего в детство Вольтера, который гениальным и комичным образом поправляет сам себя, причем исходя из собственных же посылов. Не стоит относиться к этому как к чему-то плохому (или как к чему-то хорошему), стоит «смотреть в бездну»: душе-птице пришла пора явиться душой-блохой, таков посыл Времени — Ребенка, который играет вечностью.

В «Алфавите Жиля Делеза» сообщается, что философ интересуется клещами и блохами в контексте общего интереса к животным, *«характерной чертой которых является существование собственного, уникального мира»*. И все–таки, животное Делеза — не орел и не кабанчик (эти твари, как можно предположить, приходили через четвертое измерение Времени к Мартину Хайдеггеру) и даже не насекомое в широком смысле; он равнодушен к бабочкам и богомолам, но трепетно относится именно к мелким, кусающим, неприятным созданиям: клещам, клопам и блохам. Душу обозначали бабочкой и до Делеза, но клопом — никогда прежде. Я думаю, для Делеза было крайне важно (настолько, что он об этом не говорил в широком кругу), что его «концептуальные персонажи» кусаются, вгрызаются под кожу и пьют кровь.

Они — не просто животные, передвигающиеся по поверхности (тем более что блохи очень высоко скачут, так высоко, что это не очень вписывается в делезовский пафос против высоты), но такие, которые активно с этой поверхностью взаимодействуют, питаются ею, а главное, оставляют на ней следы и ранки — frayage. Делеза не очень интересуют гельминты и аскариды, поскольку это животные глубины (которую при желании, конечно, можно рассмотреть как их собственную поверхность, но в рамках метафоры мы остаемся внутри антропоцентристского дискурса, от которого не отходит и постструктурализм). Его интересуют именно те животные, которые достаточно малы, просты, идеальны, которые живут стаями и взаимодействуют с поверхностью как со складкой (прокусывают хоботками кожу или уходят внутрь нее, но не слишком глубоко) — это блохи, клопы и клещи.

Русское слово «время», согласно словарю Фасмера, происходит от корня vrt — рытвина. Вероятно, имеется и связь со словом «вертеть», а рытвина — это след от колеса (чего-то вертящегося и режущего). Рытвина от колеса — это непрерывная разрубленность (складка-рана), та самая колея. Здесь нет никакого противоречия с немецким, хайдеггеровским словом Zeit, происходящим от da — рубить, отделять, разрывать (поэтому, конечно, говорить о «русском времени» и «немецком времени», как это спекулятивно делает А. Дугин, не приходится, а приходится говорить только о времени блох и времени вшей). Распахнутость разверстого есть бестелесность смысла, растягиваемое в Эоне событие, линия без толщины с удаляющимися в становлении экстремумами прошлого и будущего. В такой распахнутости нет места дуальности дискретного и не дискретного, дисконтинуального и континуального. Колесо — Настоящее, Вечное возвращение. Таков и нож (гвоздь, кол, меч), разрывающий ткань тела. Он телесен, но смысл разорванности, следа, ранения — это смысл некоего вот-вот, некоего Вот-вот-Бытия, близящейся близи, особого четвертого (а на самом деле первого в отношении прошлого, настоящего и будущего) измерения Времени, это смысл отвлеченного или скорее отвлекающегося Настоящего. Вечное возвращение — уже сейчас: радуйся, человече, возвращайся, блоха, ты, душа, мелкий паразит в складках вечности!

Максим Горюнов и Жюли Реше
Иди и смотри

Говоря о советских войсках, вступивших в Восточную Пруссию, военный корреспондент Наталья Гессе, вспоминала: «Русские солдаты насиловали всех немок в возрасте от 8 до 80. Это была армия насильников»[46]. Многие немки, не имея возможности спрятаться или сбежать, просили их убить или сами убивали себя и своих дочерей.

С приходом советских войск насилие ни на секунду не прекратилось. Изменился только список жертв: на месте евреев, цыган и славян оказались немцы и прибалты. Разница в насилии была сугубо инструментальная — советские войска, если верить Гессе, действовали архаичнее. Суть осталась той же.

Когда мы говорим об освобождении Европы от фашизма, мы упускаем из виду, что именно эта реальность и была предельным выражением освободительного наступления: победившая сторона обновляла список жертв, считая его более справедливым.

Вообще, любой победитель — это новый список жертв, оправданный списком жертв проигравшего. Советские войска преследовали немцев, ссылаясь на преследование немцами советских людей. Немцы, до того, как усилиями союзников Германия была обращена в пепел, ссылались на якобы имевшее место преследование со стороны евреев.

Признав это, нам не уйти от вопроса о том, что же такое на самом деле человек, если борьба против насилия оборачивается насилием, которое также оборачивается насилием и так до бесконечности?

***

Фашистский режим указывает нам на тёмную сторону человека, о которой он не желает знать. Нечто, ужасающее

[46] Энтони Бивор «Они изнасиловали всех немок в возрасте от 8 до 80 лет», The Guardian, 2002.

нас в самих себе; что мы упорно, наплевав на логику, отказываемся признавать своим.

Фашизм до сих пор остается популярной темой для интеллектуальных рефлексий. Его популярность говорит о том, что несмотря на покой и моральную негу нашего времени, мы ощущает острую потребность в том, чтобы придумывать себе новые и новые способы как нам не узнать себя в убийцах, марширующих с факелами.

Почти все без исключения интеллектуалы, анализирующие фашистский режим, представляли его как чуждое нам явление. Только эти ненормальные немцы способны на две мировые войны и лагеря уничтожения. К нам, таким чистым, это не имеет никакого отношения. Мы, такие чистые, имеем полное право кидать в них камни.

Основной мотив этих реверсивных камланий — не допустить повторения. Интеллектуалами и их аудиторией движет наивная вера в собственную моральность. Якобы, за исключением немцев, человечество прекрасно и при свете разума не отбрасывает тени фашизма.

Усилия интеллектуалов направлены на изоляцию источника страха. Они помогают нам еще раз убедить себя в том, что у нас нет ничего общего с теми людьми в чёрной форме. Благодаря стараниям интеллектуалов, человечество научилось на уровне теории изолировать фашизм, приписывая его чьей-то конкретной злой воле: “Боже, как же ужасны эти немцы!”

Мы готовы на что угодно, лишь бы сохранить наши иллюзии о нашей безгрешности. Даже самые смелые признания интеллектуалов в том, что фашизм живет в каждом из нас, оказывались повтором ритуальной фразы “фашизм — это не я”. Эти признания лишь усугубляют нашу наивную веру в то, что возможно человечество, излучающее нравственность.

Кроме того, эти признания — попытка делиниации внутри конкретного человека. Предполагается, что выявленное фашизмом измерение не является проявлением фундаментального свойства нашей природы. Ни в коем случае! Фашизм — лишь одна из ее составных частей, которую возможно уничтожить. Если постараться, в человеке не останется ничего злого и он навсегда избавится от угрозы оказаться в строю эсэсовцев.

Интеллектуалы убеждают нас в том, что само наше нежелание узнавать себя в фашизме и наш ужас перед реалиями фашистского государства являются гарантией нашего

иммунитета к пламенной речи Гитлера. Они говорят нам, что измерение человека, воплощенное в фашизме, можно вытравить. Трагедия человечества в том, что сама эта вера изобличает в нас фундаментальную мощь реальности, открытую фашизмом.

***

Человечество отворачивается от того, что указывает на условность границы между ним и фашизмом. Одна из самых успешных попыток такого изобличения — книга Ханны Арендт "Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме», где она анализирует события Холокоста, пытаясь дать им беспристрастную оценку.

За свой беспристрастный взгляд Арендт поплатилась сполна. По утверждению Сьюзен Нейман, книгу Арендт "ругали больше, чем любую другую работу по моральной философии, вышедшую в 20 веке"[47]. Как утверждает Михаэль Дорфман: "После выхода книги Арендт большинство израильских друзей порвали с ней отношения [...]. Арендт в Израиле бойкотировали более 30 лет"[48].

Реакция на книгу Арендт — это реакция защиты устоявшейся формы делиниации, гарантирующей, что фашизм — это не мы. В рамках этой формы единственными носителями зла оказались сторонники нацизма.

Арендт указывает на относительность такой делиниации. Ирония, выявленная Арендт, — в сходстве между нацистской идеологией и идеологией иудаизма. В их вере в свою исключительную ценность, обособленность, жесткое разделение на своих и чужих.

Арендт была достаточно смела, чтобы указать на массовое пособничество и вовлеченность евреев в события Холокоста. Больше того, она признает, что без их содействия случившееся было бы невозможно.

Суд над подполковником СС Адольфом Эйхманом, в сущности, повторяет преступление нацистов, так как заканчивается смертной казнью. То есть намеренным уничтожением человека человеком.

---

[47] "История и вина"/Aeon Magazine, Великобритания, 2013.
[48] «Евреи и жизнь. Холокост — это смешно?», АСТ, М, 2009.

Как бы смела не была Арендт и как бы далеко она не зашла в утверждении неприемлемого, ее анализ нельзя назвать окончательным.

Показывая условность делиниации на жертв и палачей, она сохраняет более общую делиниацию. Как и у других интеллектуалов, у Арендт сохраняется желание изъять себя из анализируемого контекста, показать свою непричастность к выявленным фашизмом реалиям. Занимаемая ею позиция — это позиция того, кто изобличает зло в других.

Ее анализ — это попытка выяснить, что не так с людьми, по вине которых произошел Холокост. Сама постановка такого вопроса предполагает разграничение между позицией аналитика и анализируемым объектом.

Анализ Арендт преследует терапевтические цели, являясь попыткой защитить наше сознание от ужасающей истины о человеке, изобличенной фашизмом. Проблема в том, что даже анализ, который предоставляет Арендт, основан на вере в не-злое человечество. Арендт предполагает что возможно удаление опасных частностей нашей природы. И это удаление не предполагает ликвидации человечества как такового.

Желание избавиться от страха, которым руководствуется Арендт и другие интеллектуалы вводит их в порочный круг. Желание удалить “плохую часть” нашей природы, ее же и изобличает. Нужно раз и навсегда усвоить, что фашизм — не раковая опухоль. Фашизм — здоровая клетка человека. Боязнь признать фашизм своей сущностью ведет к обнаружению его в других и служит основой для оправдания необходимости нового и нового насилия.

***

Возможно, выход из порочного круга не в попытках убежать от фашизма, а, наоборот, в тотальном погружении в ужас перед ним и нами, изобличаемыми им? В признании человеческого в предельно бесчеловечном и нигде кроме как в нем?

В контексте этих размышлений интерес представляет другой автор — Варлам Шаламов. Опираясь на собственный опыт, он написал серию коротких рассказов о жизни заключенных лагерей ГУЛага. Его способ повествования о насилии и человеке радикально отличается от способа Арендт и других интеллектуалов, анализирующих пограничные проявления человеческого.

Шаламов не предлагает читателю сложных философских рефлексий. Из-за того, что в текстах Шаламова отсутствуют длинные морализаторские рассуждения, предполагается, что целью Шаламова было простое описание увиденного им в лагерях. Якобы, рефлексией должны были заняться интеллектуалы, как более сведущими в вопросах философии и критике идеологии. Что, разумеется, ошибка.

Рефлексивная пустота Шаламова — это прямое указание на его мнение о морали и человечестве: она — иллюзия, которая кружит нам голову.

В этом смысле, конечно, Шаломов никакой не антисоветский автор. И не антифашист. Он мизантроп. Возможно, один из самых последовательных за всю историю человечества. В своей мизантропии он превзошел и Арендт, и других интеллектуалов: Шаламов смог преодолеть барьер, который мешает нам смириться с ужасающим нас в самих себе.

Описывая пограничные проявления человеческого — практики людоедства, изнасилований, скотоложства — Шаламов не говорит “это не я!”. Он говорит: “это мог быть и я, просто мне повезло не стать этим я”.

Анализ человеческого Шаламова не призван ослабить страх перед устрашающим в человеке. Наоборот, он призван его предельно усугубить, не оставляя шанса на не-узнавание.

***

Риторика фашизма не отличается от риторики его критики. И там, и там предполагается уничтожение одних во имя благополучия других. Ирония в том, что чем больше мы стараемся спасти себя от фашизма, тем больше мы в него погружаемся и тем отчетливее видна наша злая природа.

Отказываясь признавать себя фашистом, человек дробит себя и окружающую реальность, присваивая фашизм лишь части этой реальности и оправдывая таким образом ее уничтожение. Так человек спасает себя от самоуничтожения. Ведь если бы люди признали фашизм своим сущностным проявлением, чтобы избавиться от него, им пришлось бы уничтожить себя. Но человечество предпочитает выживать и уничтожать себя частями, растягивая во времени свою погибель.

Чтобы окончательно уничтожить фашизм в том смысле, в каком советские солдаты уничтожали фашизм в Кёнигсберге, насилуя немок, и американские летчики — в Мюнхе-

не, сбрасывая бомбы на жилые кварталы, человечеству придется уничтожить себя.

Собственно, мы и выживаем за счет того, что уничтожаем себя частями. Мы обманываем себя тем, что якобы уничтожает фашизм, подобно тому, как хирург удаляет зараженный орган. В действительности, мы заражены с ног до головы, ничего, кроме болезни, из себя не представляя. И в этом смысле не ясно, болезнь ли это или вариант нормы?

Содержание номера

За пределы внутренней бесконечности 4

микро

Екатерина Писарева. Мы — теряющие настоящее 6
Валерий Кислов и Вадим Климов. Эпистолярные приключения запятой 8

проза

Алекс Но. New Model 9
Николай Болошнев. Жатва 14
Вадим Климов. Помечтай со мной 23
Адам Ранджелович. Групповой портрет с петлей 47

сцена

Витольд Гомбрович. Ивонна, принцесса бургундская 83

juliusevola

Жан Парвулеско. Секрет Юлиуса Эволы 141
Эдуард Лимонов. Юлиус Эвола —
Маркс традиционализма 149
Юлиус Эвола. Пришествие “пятого сословия” 152

архив

Сальвадор Дали. Поэзия стандарта 157

['ɪntəvju:]

Миша Вербицкий. Sex, Drugs & Rock'n'roll
Александра Дугина 161
Вадим Климов. Фариза Муртазалиева:
Бессознательная математика механизма 179

школа трупов

Кладезь человеческого благоразумия.
От черепахи Зенона до патриарха Кирилла 188

камушек в ботинке

Вадим Климов. На пороге нового мира: антиУтопия.
Кинотриптих 198

polaroid

Егорий Простоспичкин. Total war 211

extremum

Кнут Гамсун. О духовной жизни
современной Америки 213
Бертран Рассел. Материалистическая теория истории 223
В.Ч. Мухо¨бы 228
Алексей Лапшин. Лента времени 235
Нестор Пилявский. Время блох 238
Максим Горюнов и Жюли Реше. Иди и смотри 247

Книги издательства «Опустошитель»

А. Бретон, Ф. Супо «Магнитные поля» / *В. Климов* «Бесплатное питание на вокзалах» [*мертвый текст / проза*]
Алексей Лапшин «Метафизика противостояния» [*extremum*]
Ролан Топор «Жилец» [*мертвый текст*]
Маруся Климова «Безумная мгла» [*polaroid*]
Юлиус Эвола «Языческий империализм» [*extremum*]
М.Вяткин «У Тани под мышкой был живой уголок» [*микро*]
Вадим Климов «Скорлупа» [*проза*]
Кобо Абэ «Совсем как человек» *[мертвый текст]*
«Михаэль Ханеке. Малый сборник режиссерских забав» [*камушек в ботинке*]
А. Витухновская «Мир как Воля и Преступление» [*микро*]
«Манифест. Современность глазами радикальных утопистов, Искусство, политика, девиация» [*инверсия культуры*]
Ги Дебор «Общество спектакля» [*extremum*]
Ролан Топор, Фернандо Аррабаль «100 уважительных причин незамедлительно покончить с собой» [*мертвый текст*]
Илья Данишевский «Нежность к мертвым» [*проза*]
«Бесчеловечный театр» [*сцена*]
Алексей Лапшин «Явление смыслов» [*extremum*]
Вадим Климов «Дубль реальности. Портреты и замечания» [*vice versa*]
Анатолий Рясов «Сырое слово» [*проза*]
Георгий Осипов «Конец января в Карфагене» [*проза*]
Юлиус Эвола «Фашизм: критика справа» [*extremum*]
Маруся Климова «Профиль Гельдерлина на ноге английского поэта» [*polaroid*]
Нестор Пилявский «Западное Ляо» [*микро*]
Памфлет. Преломления современности. Искусство, политика, девиация [*инверсия культуры*]
Рене Домаль «Святая война» [*мертвый текст*]
Бертран Рассел «Почему я не христианин» [*extremum*]
Безрадостное детство. Сборник лапидарной прозы [*мертвый текст*]
Евгений Маликов «Песни кастратов» [*сцена*]
Жюли Реше «Введение в философию: пластичность повседневно сти» / Вадим Климов «Прощание с ясностью» [*extremum*]
Луи-Фердинанд Селин «Банда гиньолей» [*мертвый текст*]
Александр Лурия «Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста)» [*misologia*]

Журнал «Опустошитель» и книги одноименного издательства можно приобрести в магазинах:

Москва:

Фаланстер | Малый Гнездниковский пер., 12/27
Циолковский | Пятницкий переулок, 8, стр. 1
Ходасевич | Покровка, 6
Гнозис | Турчанинов переулок, 4, стр.2
Москва | Тверская, 8, стр. 1
Библио-Глобус | Мясницкая ул., 6/3, стр. 1

Санкт-Петербург:

Все свободны | Набережная реки Мойки, 28
Свои книги | Кадетская линия, 25
Подписные издания | Литейный проспект, 57
Факел | Лиговский проспект, 74
Фаренгейт 451 | Улица Маяковского, 25
Марки и закладки | Наб. Фонтанки, 20, Голицын лофт

Екатеринбург :: Йозеф Кнехт | улица 8 марта, 7
Новосибирск :: Открой Рот. Книжный Водка Бар | Ленина, 8
Ставрополь :: князь МЫШКИН | улица Космонавтов, 8
Тель-Авив :: Бабель | Yona HaNavi, 46

Все издания можно также заказать
в редакции на сайте shop.pustoshit.com
и интернет-магазинах ozon.ru, librabook.com.ua (Украина),
bestbooks.by (Беларусь), и biblio-globus.us (США).